О.Е.Кошелева

"СВОЕ ДЕТСТВО" В ДРЕВНЕЙ РУСИ И В РОССИИ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVI – XVIII ВВ.)



"СВОЕ ДЕТСТВО" В ДРЕВНЕЙ РУСИ И В РОССИИ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVI – XVIII вв.)

Не стану хвалиться напрасно, у меня не было никакого стремления к учению. Я был и без книг непрестанно занят. Летом то в рощах гонялся за бабочками, то ходил за ягодами и за грибами, то спешил в орешник; зимою — то катанье на салазках, то в комнате волчки, веревочки и мячик. Словом, я был занят, мне было весело. Но людей все учит, даже и скука, и досуг.

С.Н.Глинка

THE UNIVERSITY
OF THE RUSSIA'S EDUCATIONAL
LEARNED SOCIETY, MOSCOW

Chair
of Educational
Anthropology

O.E. Kosheleva

"ONE'S OWN CHILDHOOD" IN OLD RUSSIA AND IN RUSSIA OF THE PERIOD OF ENLIGHTENMENT (XVI–XVIII centuries)

A Teaching Aid
in Educational Anthropology
and History of Childhood

Moscow
The University
Publishing House
2000

УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра
педагогической
антропологии

О.Е. Кошелева

"СВОЕ ДЕТСТВО" В ДРЕВНЕЙ РУСИ И В РОССИИ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVI–XVIII вв.)

Учебное пособие
по педагогической антропологии
и истории детства

Москва
Издательство
УРАО
2000

ББК 74.03
УДК 37(091)
К 76

Кошелева О.Е.
"Свое детство" в Древней Руси и в России эпохи Просвещения (XVI—XVIII вв.): Учебное пособие по педагогической антропологии и истории детства. — М.: Изд-во УРАО, 2000. — 320 с.
ISBN 5-204-00201-4

Рекомендовано в качестве учебного пособия по курсам "Педагогическая антропология", "История педагогики", "История детства" для студентов университетов и колледжей.

Ответственный редактор *В.Г. Безрогов*
Художник *Н.Ю. Спомиор*

Редактор *С.А. Шаренкова*
Корректор *Л.А. Ануфриева*
Оригинал-макет подготовила *Т.П. Кравцова*

Изд. лицензия № 021079 от 28.10.96.
Изд. № 1673. Сдано в набор 01.09.99. Подписано в печать 22.02.2000.
Формат 60×90/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура Antiqua.
Уч.-изд. л. 19,4. Усл. печ. л. 20,0. Тираж 3000 экз.

Издательство УРАО
Москва, Б. Полянка, 58. Тел (факс) 245-33-43
Отпечатано с оригинал-макета в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

ISBN 5-204-00201-4

© Кошелева О.Е., 2000
© Университет РАО, 2000
© Спомиор Н.Ю., худ. оформ., 2000

Введение

Проблемы ребенка, его воспитания и обучения, рассматриваемые в историческом аспекте и в свете дня сегодняшнего, — откуда мы черпаем знание о них? В первую очередь из сочинений педагогического характера, в которых даются рекомендации, основанные на разных взглядах и мнениях о сущности педагогического процесса. Существуют, как теперь принято говорить у социологов, "прецедентные тексты", т.е. тексты, значимые для формирования взглядов общества или его группы, известные предшественникам и современникам. Кроме того, они дают языковые клише, которыми люди широко пользуются. Подобные тексты в области педагогики, без сомнения, оказывают влияние на то, как понимают взрослые детство, как описывают его и как они действуют по отношению к детям. Однако реальное детство в ту или иную эпоху, состоящее из множества различных судеб, зачастую далеко не равнозначно тому, о чем говорят педагогические трактаты. Не только и не столько они определяют воспитание и организацию жизни детей в целом, которая не ограничена включением ребенка в педагогический процесс. Для того чтобы приблизиться к знанию о детстве не только в академических, но и бытовых проявлениях, увидеть его не в сухих схемах, а в живых и ярких красках, необходим подход более широкий, чем предлагает традиционная история педагогики. Осуществить этот подход позволяет педагогическая антропология, опирающаяся на круг источников, выходящих далеко за рамки чисто педагогических.

В этой книге мы обращаемся к текстам воспоминаний о детстве, чтобы прислушаться к голосам "очевидцев" детской поры ушедших эпох. Это далеко не простая задача, поскольку "очевидцы" не дают нам документального свидетельского отчета, они отбирают лишь определенные факты и темы, подвергая их своей интерпретации, облекая их в язык и понятия своей эпохи, следуя правилам жанрового этикета. Они пишут не так, как делают это наши современники, и мы не вправе предъявлять к ним мерки и требования сегодняшнего дня. Но мы должны к ним прислушаться и постараться их понять.

Лишь скудные сведения о детстве сохранились в текстах допетровской эпохи, но они представляют особую ценность для педагогической антропологии, а также дают возможность на их фоне более выпукло показать

дальнейшее развитие указанной темы. Поэтому книга начинается с них. Основная же ее часть посвящена детству XVIII в., детству эпохи Просвещения. Этот период заложил основы представлений о всесилии человеческого разума, о прогрессе в развитии человечества, о науке и просвещении как основах благоденствия народов, о могуществе воспитания в исправлении людских пороков. Идеи этой эпохи господствовали, развивались, детализировались и не подвергались сомнению вплоть до недавних времен. Постмодернизм сегодняшнего дня знаменует их кризис. Для многих стало очевидным, что "проект" освобождения человека через образование, разработанный Просвещением, принес человечеству гораздо меньше, чем от него ожидалось. Образование как часть государственной системы стали рассматривать и как фактор насилия власти и социального контроля, оно, оказывается, может вести не к свободе, а к подчинению и зависимости[1]. Постмодернизм еще весьма далек от того, чтобы стать массовой идеей, и тем не менее он отражает реальный поворот в европейском сознании постиндустриального общества. Поэтому для тех, кто хочет разобраться в этих сложных и актуальных сегодня проблемах, важно вернуться к истокам, вновь вслушаться в голоса эпохи Просвещения. Тогда наши соотечественники только-только открыли для себя и начали вербализировать проблемы детства, мы же стоим далеко от них на этом пути. И тем не менее задача у нас остается той, что сформулировал виднейший педагог XVIII в. И.И. Бецкой: "образовать детей счастливыми людьми и полезными гражданами".

Разделы 1 и 2 данной книги призваны помочь студентам в более углубленном чтении текстов. Они выделяют в них общую проблематику и комментируют их в общеисторическом контексте. Вопросы и задания помогут активизировать диалог с изучаемыми авторами, дадут навыки работы с текстами воспоминаний в русле педантропологического подхода. Книга тематически связана с учебным пособием "Природа ребенка в зеркале автобиографии" (М., 1998) и может быть рекомендована к совместному использованию.

Научное редактирование осуществлено В.Г. Безроговым при грантовой поддержки Research Support Scheme of the OSI (грант 176 1999 г.).

Автор выражает искреннюю благодарность за помощь, оказанную при подготовке данной книги, профессору Института исторических исследований Общества Макса Планка (Геттинген) доктору Ю. Шлюмбому, академику РАО Б.М. Бим-Баду, кандидату исторических наук В.Г. Безрогову, доктору философских наук С.А. Экштуту и сотрудникам издательства УРАО Т.П. Кравцовой и И.А. Пеннер.

[1] *Depaepe, Mark.* Introduction // Paedagogica Historica. 1996, XXXII, 2. P. 301—302.

Раздел 1
ТЕМА ДЕТСТВА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ДРЕВНЕРУССКИХ ТЕКСТАХ О СЕБЕ

"Я БЫЛ МАЛ И БЕСПРИЮТЕН"

Тот факт, что тема детства появилась в русской письменной традиции лишь в XVIII в., несомненен. Эта новая тема возникла в рамках столь же нового литературного жанра воспоминаний о своей жизни. Сколько бы историки ни критиковали положение Ф. Арьеса о том, что средневековье не знало понятия "детство", сколько бы ни приводили справедливых аргументов в пользу того, что детство осознавалось и в ту эпоху, но лишь иным образом, — источники определенно свидетельствуют о возникновении интереса к осмыслению детства в более позднее время.

Западная христианская традиция впитала в себя характеристики, данные детству, отрочеству, юности античными авторами в русле популярной темы "возрастов (или этапов) человеческой жизни" (к ранним периодам жизни относятся возрасты "infantia", "pueritia", "adolescentia", "juventa"). Она присутствует в поэзии Солона, в сочинениях Гиппократа, Пифагора, Птолемея, Аристотеля и др., их вариации известны во всех культурах европейского средневековья. Приведем пример из древнерусского Травника, вобравшего в себя многие положения, восходящие к Гиппократу (через Галена и Филона) и Птолемею: "Первая седмица — когда бывает человеку семь лет от рождения его: зубов испадение, незлобие, кротость и неразумение, шалости в играх и все мысли младенческие... Вторая седмица — когда бывает человеку два раза по семь от рождения его, то есть 14 лет, приходит он в распаление, свойственное юности, и обуреваем бывает похотью плотской, семени испущением и буйством нелепым... Третья седмица — когда бывает человеку три раза по семь, то есть 21 год, тогда он юноша буен и многомятежен, в уме его гнездятся помыслы лукавые на блуд да на пьянство, и на иныя многие нелепыя буйства. Но тогда же он начинает легонько смыслу внимать, в разум приходит и учению старших следует, во всем подражая и во всем преуспевая"[1].

[1] Цит. по: Книга о рождении младенческом и о том, как детей малых беречь, кормить и лечить. М., 1992. С. 57.

Иначе говоря, общим местом для средневековой "ученой литературы" было определение детства с точки зрения физиологической — как период роста, отмеченный незрелостью физической и умственной по сравнению со взрослым человеком, с точки зрения социальной — как период подчиненности и несамостоятельности.

Блаженный Августин впервые осмыслил детство через собственный личный опыт в исповедальном дискурсе, доказывая греховность человека с момента его рождения, греховность детства, включая и младенчество. Хотя последнее принималось далеко не всеми христианскими авторами, проблема грехов человека, особенно порождаемых в отрочестве периодом полового созревания, когда разум еще некрепок, была главной в оценке средневековых христианских авторов. Из нее исходили и педагогические действия и рекомендации — смирять дитя, не давать ему воли, держать его в страхе Божьем. Господь, пишет Августин, "одобрил смирение, символ которого — маленькая фигурка ребенка"[2].

В древнерусской православной традиции рассуждения Августина о младенцах были неизвестны, младенчество считали безгреховным и неразумным периодом, длящимся приблизительно до 6—7 лет, с этого возраста начинали учить, приводить к исповеди, также строго смирять и наказывать. В целом ребенку/подростку не находилось места в древнерусской литературе: тема возрастных особенностей детей и методов их воспитания сводилась к кратким и схематичным высказываниям (например в "Домострое"), сказывалось отсутствие педагогической и медицинской мысли, наиболее пристально вглядывавшихся в ребенка. Педагогических наставлений по воспитанию детей, которые хотя и нечасто, но все же появлялись в странах католической и протестантской традиции, на Руси практически не было. С педагогической христианской премудростью Запада русского читателя впервые во второй половине XVII в. основательно ознакомили Симеон Полоцкий — учитель царевича Федора Алексеевича — и другие выходцы из Белой и Малой России. Благодаря Симеону на русском языке впервые прозвучало знаменитое высказывание, начертанное на храме Аполлона в Дельфах: "Познай самого себя", которое в средневековье было не менее популярным, нежели в античности: "Не знаяй собе, ничего же знает", "Благо есть человеку самого ся знати".

Однако процесс самопознания, шедший в первую очередь через тайную исповедь и молитву, через обращение к Богу, никак не связывался с созданием авторских письменных текстов. И в целом, даже без этой задачи, в

[2] *Блаженный Августин.* Исповедь Блаженного Августина, епископа Иппонского // Богословские труды. Сб. 19. М., 1978. С. 81.

древнерусской письменности в гораздо большей степени, чем в средневековой западноевропейской, было не принято повествовать о себе самом. Лишь очень немногим случалось сообщать в той или иной связи сведения о событиях своей жизни. И все же "элементы автобиографизма", как выражаются исследователи, встречаются в различных древнерусских сочинениях[3]. Их появление в первую очередь возникает в текстах, написанных от первого лица и выполняющих практическую функцию, близких к деловой письменности: в письмах и посланиях, духовных завещаниях церковных иерархов, в поучениях, в предисловиях к книгам[4]. В исторические повествования автор мог вставить собственные свидетельства и рассказы очевидцев как подтверждающие их достоверность. При составлении житий святых иногда использовались записки, поведанные их учениками, приближавшиеся по функции к "воспоминаниям"[5]. Духовная исповедь была тайной, и влияние ее на рассказ о себе впервые ярко проявилось в сочинениях первых старообрядцев Епифания и Аввакума — фактических основоположников автобиографического жанра в России. Случаи, когда человек приходил к мысли так или иначе специально сделать себя главным героем текста, а не просто засвидетельствовать события, коих он являлся участником, были связаны с душевными потрясениями, когда приходилось доказывать свою правоту или отстаивать свое честное имя[6]. Подобные причины обращения к собственной биографии не вызывали потребностей углубляться в детские годы, поэтому детство, как правило, не присутствует в

[3] Об автобиографизме в древнерусской литературе см.: *Робинсон А.Н.* Житие Епифания как памятник дидактической автобиографии // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 15; *Он же.* Автобиография Епифания // Исследования и материалы по древнерусской литературе. М., 1961; *Он же.* Жизнеописания Аввакума и Епифания. Исследования и тексты. М., 1963; *Лихачев Д.С.* Человек в литературе Древней Руси. М.; Л., 1958; *Он же.* Зарождение и развитие жанров древнерусской литературы // Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986; *Демкова Н.С.* К вопросу об истоках автобиографического повествования в Житии Аввакума // ТОДРЛ. Л., 1969. Т. 24; *Гусев В.Е.* О жанре Жития протопопа Аввакума // ТОДРЛ. М.; Л., 1954. Т. 10; *Копреева Т.Н.* К вопросу о жанровой природе "Поучения" Владимира Мономаха // ТОДРЛ. Л., 1972. Т. 27; *Понырко Н.В.* Житие протопопа Аввакума как духовное завещание // ТОДРЛ. Л., 1985. Т. 39; *Плюханова М.Б.* Пустозерская проза. Предисловие // Пустозерская проза. М., 1989; *Крушельницкая Е.В.* Автобиография и житие в древнерусской литературе. М., 1996.

[4] Например, "Поучение" Владимира Мономаха (духовное завещание детям), "Моление" Даниила Заточника, Переписка Грозного с Курбским, Послесловие к львовскому "Апостолу" Ивана Федорова, "Ведомство желательным людям" А.Л. Ордина-Нащокина, Житие Епифания, Житие протопопа Аввакума и др.

[5] *Крушельницкая Е.В.* Автобиография и житие в древнерусской литературе. С. 169.

[6] *Копреева Т.Н.* К вопросу о жанровой природе "Поучения" Владимира Мономаха. С. 106—107.

древнерусских "автобиографических" текстах. Тем ценнее те редчайшие фрагменты, в которых так или иначе проскальзывает тема собственного детства, и мы не в праве их обойти молчанием.

Как указывалось выше, свидетельства о себе носят далеко не всегда литературный характер, но оказывают влияние на литературные тексты. Сведения о детстве, причем всегда детстве сиротском и трагическом, сохранились в достаточно большом количестве документальных "автобиографий" холопов. При поступлении человека в холопы, когда он давал на себя "кабалу", о нем с его же слов делалась запись и составлялся его словесный портрет (на случай поиска беглых). Такие записи, сохранившиеся в кабальных книгах конца XVI в., во множестве принадлежат детям, поэтому и их краткий рассказ о себе относится собственно к детству. Приведем лишь некоторые из них. "Игнатейко лет в четырнадцать, волосом рус, в лице смугл, очи серы. А в расспросе сказал: жил отец его в Обонежской пятине, Хутыня монастыря в вотчине на Волохове, на пашне, и отец его умер тому лет с десять, а мать умерла года ж с три, и он после их збрел в Новгород и приставал в Новгороде на Дослане улицы у торговки у вдовы у Феклы"; " Филипко, прозвище Жданко, ростом невелик, лет в пятнадцать, волосом светлорус, очи красносеры. А в роспросе сказал: наперед сего служивал ни у кого, а отец его де жил за Онегой в Шалском погосте на пашне во крестьянех, и отца деи и матери не стало, а он, Жданко, остался от отца пяти лет и кормился Христовым именем, а ныне бил челом в службу Павлу Олексееву волею"; "Ивашко ростом невелик, лет в двенадцать, волосом светлорус, очи чорны, на лице пестринки. А в роспросе сказал: отец его бывал в стрельцах на Москве, а того не упомнит, в чьем приказе и в чьей сотне, и отца деи и матери не стало тому четвертый год. А после отца служил у гостя у Коковцова добровольно з год и от гостя отшод, бил челом в службы Ефиму Коковцову"[7].

Сиротское детство приводило детей не только в холопство, но и в монастыри. Рассказ Филиппа Ирапского, чудотворца, родившегося около 1492 г.[8], весьма сходен с историями, зафиксированными кабальными записями. Этот рассказ оказался включенным в "Записку" монаха Германа, отразившую его личное знакомство и беседы с Филиппом. "Я это слышал из уст его и записал для памяти", — говорит в ней Герман[9]. Автобиографическое повествование Филиппа о своем детстве в записи сохранило свою устную природу[10]. Вот что поведал в нем Филипп: "Родителей своих не помню, остался мал и очень юн, и сирота. Соседи же мне поведали, что родители мои были христиане, жили в добре и преставились с миром в Господе, отец и мать моя погребены были с честью; и имя мое мне сообщили — Феофил. В те времена был большой голод, и я был мал и бесприютен, начал я скитаться и просить подаяние во имя Господа"[11]. "Непосредственность и простота короткого рассказа Филиппа, — пишет Е.В. Крушельницкая, — не оставляют сомнений в его подлинности. Фразы как бы исходят из точки зрения повествователя на самого себя, т.е. это рассказ-воспоминание, рассказ, обращенный не только к слушателю, но и к самому себе. Вопрос Германа о родителях порождает воспоминание о соседях, от которых Филипп узнал о своих родителях и собственное имя. Реальная фактическая подробность о бывшем в то время голоде заставляет Филиппа еще раз повторить о своем раннем сиротстве"[12].

Сиротством оказалось отмечено и детство царя Ивана IV (1530—1584). Сведения о его детских годах отражают сразу несколько древнерусских источников, интересных в сравнении. Среди них автобиографический характер носит отрывок из "Первого послания" Ивана Грозного от 5 июля 1564 г., адресованного князю Андрею Курбскому. Поводом обратиться к годам детства для Грозного явился не интерес к нему сам по себе, а желание доказать адресату, что бояре, к которым, по мнению Курбского, Грозный был несправедливо жесток, обижали его, сироту, с самых ранних лет.

Вот что пишет царь Иван: "Выше я обещал подробно рассказать, как жестоко я пострадал из-за вас в юности и страдаю доныне. Это известно всем (ты был еще молод в те годы, но, однако, можешь знать это): когда по Божьей воле, сменив порфиру на монашескую рясу, наш отец, великий государь Василий, оставил это бренное земное царство и вступил на вечные времена в царство небесное предстоять пред Царем царей и Господином государей, мы остались с родным братом, святопочившим Георгием. Мне было три года, брату же моему год, а мать наша, благочестивая царица Елена, осталась несчастнейшей вдовой, словно среди пламени находясь: со всех сторон на нас двинулись иноплеменные народы"[13].

Прервем здесь рассказ царя, чтобы услышать слова анонимного автора, повествующего о том же самом моменте смерти отца Ивана

---

[7] Новгородские кабальные книги 1599/1600 года. СПб, 1894. С. 9, 32, 77.

[8] *Крушельницкая Е.В.* Автобиография и житие в древнерусской литературе. С. 24.

[9] Там же. С. 197.

[10] Там же. С. 53.

[11] *Крушельницкая Е.В.* Автобиография и житие в древнерусской литературе. С. 197 (перевод на современный русский язык мой. — *О.К.*).

[12] Там же. С. 19.

[13] Первое послание Ивана Грозного Курбскому / Пер. Я.С. Лурье, О.В. Творогова // Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. М., 1985. С. 45.

Грозного — великого князя Василия Ивановича — и прощании его с сыном. «...И начал им (боярам. — *О.К.*) говорить князь великий: "Вижу сам, что смерть моя приближается, хочу послать за сыном моим Иваном: хочу благословить его крестом Петра Чудотворца; и хочу послать за женой своей великой княгиней Еленой: хочу проститься с нею". И вновь заговорил об этом великий князь: "Не хочу посылать за сыном своим, великим князем Иваном: мал мой сын, а я лежу в великой немощи, как бы не напугался сын мой, увидев меня". Князь Андрей и бояре начали говорить великому князю, уговаривать его: "Государь, князь великий, пошли за сыном своим, князем Иваном, благослови его. И пошли, государь, за великой княгиней".

Тогда князь великий послал за великой княгиней брата своего князя Андрея и князя Михаила Глинского, а сына своего князя Ивана велел принести до прихода великой княгини, опасаясь ее плача; а сам на груди держал крест Петра-Чудотворца... И принесли к великому князю сына его, князя Ивана, принес на руках шурин его князь Иван Глинский, а за ним пришла и няня его Аграфена, жена Василия Андреевича. Князь же великий снял с себя крест Петра-Чудотворца, и приложил крест к сыну своему, и благословил его крестом... И приказал затем князь великий Аграфене: "Чтобы ты, Аграфена, от сына моего Ивана ни на пядь не отходила!" И отпустил сына своего великого князя Ивана»[14].

Трехлетний Иван не запомнил этот момент прощания. "И уж не вспомню, как меня отец благословил на государство"[15], — замечает он во втором послании к Курбскому. Но смерть его матери Елены, случившуюся на восьмом году жизни Ивана, он уже должен был воспринимать сознательно. "...Остались мы, — пишет Иван Грозный, — со святопочившем в Боге братом Георгием круглыми сиротами — никто нам не помогал; оставалась нам надежда только на милосердие Божие, и на милость Пречистой Богородицы, и на всех святых молитвы и уповали лишь на благословение родителей наших. Было мне в это время восемь лет". Грозный предъявляет претензии к своим опекунам-боярам: "Нас же с единородным братом моим, святопочившим в Боге Георгием, начали содержать как чужих или как убогих родственников. Тогда натерпелись мы лишений и в одежде и в пище. Ни в чем нам воли не было, но все делали не по своей воле и не так, как поступают в юности. Припомню одно: бывало мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца

[14] Повесть о болезни и смерти Василия Третьего / Пер. Н.С. Демковой // Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. М., 1985. С. 37.

[15] Второе послание Ивана Грозного Курбскому / Пер. Я.С. Лурье, О.В. Творогова // Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. М., 1985. С. 81.

и положив ногу на стул, а на нас не взглянет — ни как родитель, ни как опекун и уж совсем ни как раб на господ. Кто же может перенести такую кичливость?" Эта картина из детства, как кажется, ясно предстала перед глазами царя, когда он обратился к воспоминаниям, хотя цель его рассказа состояла в изображении того, что к нему неподобающим образом относились не как к царствующей особе, а как к простому ребенку[16], и даже сидели в его присутствии развалясь. Себя-ребенка Грозный, будучи царем, ставил выше взрослых, которые, по его мнению, должны были ему безусловно подчиняться. "Но когда я стал подрастать, — пишет царь, — то не захотел быть под властью своих рабов".

Совершенно иначе на детство Ивана Грозного и на поведение его воспитателей смотрел князь Андрей Курбский. "Злое начало" положило в нем его сиротство. Если Грозный считал, что ему "ни в чем воли не было" от его опекунов, то Курбский, наоборот, полагал, что маленькому царю взрослые попустительствовали во всех его дурных наклонностях. «Воспитывали его потом важные и гордые паны — бояре... соревнуясь друг с другом, льстя и угождая ему в его сластолюбии и похоти, — себе и детям своим на беду. А когда начал он подрастать, лет в двенадцать, — что раньше вытворял, все опущу, сообщу лишь это: начал сначала проливать кровь животных, швыряя их с большой высоты — с крылец или теремов... вытворял также и многие другие негодные вещи, выявляя будущее свое немилосердное своеволие (как говорит Соломон: "Мудрый, дескать, жалеет души скотов своих, а глупый их бьет без пощады"), а воспитатели льстили ему, позволяли это, расхваливали его, на свою беду научая ребенка. Когда же стало ему лет пятнадцать и больше, начал он и людей бросать и, собрав вокруг себя толпы молодежи из детей и родственников названных сенаторов, стал разъезжать с ними на конях по улицам и площадям, скача повсюду и носясь неблагопристойно, бить и грабить простых людей, мужчин и женщин»[17].

История детства Ивана Грозного, пожалуй, наиболее полная из всех, представленных в древнерусской литературе. И сам Грозный, и Курбский объяснение его взрослому поведению находили в том числе и в его детском воспитании, только видели они его разными глазами.

О своем детстве кратко пишет младший современник Грозного Иона Соловецкий[18] — глава странствующего церковного хора, выдающийся

[16] В.О. Ключевский видит ситуацию иначе: "Его ласкали как государя и оскорбляли как ребенка" (*Ключевский В.О.* Исторические портреты. М., 1990. С. 96).

[17] *Андрей Курбский, кн.* История о великом князе Московском / Пер. А.А. Алексеева // Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. С. 223.

[18] Текст об Ионе Соловецком написан Б.Н. Морозовым.

книжник конца XVI—начала XVII в.[19] В сохранившейся части его энциклопедического рукописного наследия, составляющего особый сборник, на первом листе имеется специально записанная им в конце жизни (в начале 1620-х гг.) краткая автобиография, названная "Летописец". Подобная автобиография с точными датами всех событий жизни (составленная, очевидно, на основе личного дневника) — уникальное явление культуры Древней Руси. В ее начальной части имеются редчайшие для того времени сведения о дате рождения, крещения ("наименование"), о начале учения, о поступлении в двенадцатилетнем возрасте нотарием (секретарем) к новгородскому архиепископу Леониду, а затем о пострижении в Соловецком монастыре. Вот этот текст:

"Летописец [моей жизни][20].

В 7070 (1561) лете рождение плоти месяца ноября 20, наименованием в 27 [день].

Учение книжное в 7 лет, декабря от 1 числа [...].

[...] Нотарске вчинен в 12 лете месяца декабря первопристольником Леонидом в 2 лето настоятельства его.

В 19 лет [...] во иноческий образ ввел киновиарх[21] Соловецкий [в Великой киновии Соловецкой?] от создания миру в лето 7088 (1580) апреля 20 р(?) 3 недели по Пасхе.

В 7095 (1586) лето ноября 10 из обещания изшел[22].

Того же лета июня 8 во Александров Сверский[23] пришел..."[24].

Безусловно, отрок Иона (светского имени его мы, к сожалению, не знаем) обладал необыкновенными способностями. Его почерк не просто каллиграфический, а доведенный до особого совершенства с оригинальной системой украшений (это, видимо, и послужило основанием столь раннего начала службы у видного церковного иерарха). Уже в юные годы Иона переписывает для себя тексты, составлявшие основу средневековой мудрости — сложнейшие календарно-астрономические

[19] *Зиборов В.К., Романов А.А.* Иона Соловецкий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 2. И—О. СПб, 1993. С. 89—92; *Морозов Б.Н.* Первое послание Курбского Ивану Грозному в библиотеке странствующего монаха Ионы Соловецкого (к вопросу о распространении переписки в конце XVI—начале XVII в. // Московская Русь (1359—1584): культура и историческое самосознание. UGLA Slavic Studies. New Sereies. Vol. 3. Moscow, 1997.

[20] В квадратных скобках отмечены, видимо, имевшие место небольшие утраты текста по краям рукописи.

[21] Киновиарх — монах.

[22] Из обещания — из монастыря.

[23] Александров Свирский монастырь.

[24] Российская национальная библиотека. Q. XVII. 67. Л. 1.

и медико-астрологические трактаты (они сохранились в указанном сборнике)[25]. Получить он их мог у книжников, входивших в окружение царя Ивана Грозного в середине 1570-х гг., когда весь царский двор переместился на время в Новгород. После опалы архиепископа Леонида юноша принимает пострижение, но через несколько лет уходит с Соловков и начинает свои скитания по северным монастырям, пунктуальное описание которых и составляет основное содержание его автобиографии.

В XVII в. в старообрядческой среде появляются необычные для древнерусской традиции "Жития", написанные их авторами о самих себе, их уже однозначно можно отнести к автобиографическому жанру, в котором автор намеренно повествует читателям о своей жизни. Их авторы — монах Епифаний (ранее 1638—1682) и протопоп Аввакум (1620—1682) — осмысливали свое жизнеописание в качестве исповеди и связанного с ней духовного завещания[26]. Детство в их сочинениях также занимает место лишь начальной точки отсчета жизни. "Родился я в деревне, — пишет Епифаний. — И скончалися отец мой и мати моя, и аз, грешный, идох во град некий, зело велик и многолюден, а град благочестивой, христианской, и пребых в нем седмь лет. И приде ми помысел взыскати пути спасения. И идох ко Всемилостивому Спасу во святую обитель Соловецкую, ко преподобным отцем нашим Зосиме и Саватию"[27].

Также и протопоп Аввакум всего лишь в нескольких строках рассказывает о своем детстве, но тем не менее успевает четко охарактеризовать своих родителей и сообщает о единственном событии, произведшем на ребенка неизгладимое впечатление, — о впервые увиденной им смерти. "Рождение же мое, — пишет Аввакум, — в нижегородцких пределех, за Кудмою-рекою, в селе Григорове. Отец ми бысть священник Петр, мати Мария, инока Марфа. Отец мой прилежаше пития хмельнова, мати же моя постница и молитвеница бысть, всегда учаше ми страху Божию. Аз же, некогда видев у соседа скотину умершу, и в той нощи восставше, пред образом[28] плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть; и с тех мест обыкох по вся нощи

[25] *Морозов Б.Н., Симонов Р.А.* Календарные мотивы "Учения" Кирика (1136 г.) у Ионы Соловецкого (последняя четверь XVI в.) // Россия в X—XVIII вв. Проблемы истории и источниковедения. Тезисы докладов и сообщений Вторых чтений, посвященных памяти А.А. Зимина. Москва, 26—28 января 1995 г. М., 1995. С. 363—369.

[26] *Понырко Н.В.* Житие протопопа Аввакума как духовное завещание.

[27] Житие Епифания // Пустозерская проза. М., 1989. С. 174.

[28] Т.е. перед иконой.

молитися. Потом мати моя овдовела, а я осиротел молод[29] и от своих соплеменник во изгнании быхом. Изволила мати меня женить[30] „[31].

Таким образом, древнерусские авторы, не имея в фокусе своего особенного внимания проблем детства, все же в ряде случаев как бы бессознательно его касаются, отмечая в первую очередь место своего рождения и память о своих родителях, а также раннее сиротство, положившее начало жизненным трудностям.

[29] Аввакуму в это время — 15 лет.
[30] Аввакуму в это время — 17 лет.
[31] Житие Аввакума // Пустозерская проза. С. 42.

Раздел 2
АВТОПОРТРЕТ В ДЕТСТВЕ. ВЕК ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

"Я ХОЧУ ПИСАТЬ МОЮ ЖИЗНЬ И КАКИЕ МНЕ ПАМЯТНЫ ВАЖНЕЙШИЕ, СЛУЧИВШИЕСЯ В ТЕЧЕНИЕ ОНОЙ ПРОИСШЕСТВИЯ"

Итак, вернемся к уже сказанному: XVIII век впервые осознанно поднимает тему детства и делает это через новый для русской литературной традиции жанр воспоминаний. Человек, хорошо знакомый с литературой века Просвещения, не сможет припомнить хотя бы несколько строк — ни стихотворных, ни драматических, ни сатирических, ни эпистолярных, ни каких-либо иных, относящихся к детству. В целом маленькая фигурка ребенка для литературы классицизма совершенно неинтересна, она не для ее высокого масштаба. Произведения особого жанра — трактаты о воспитании, появляющиеся во множестве в эту эпоху, казалось бы, никак не могли не замечать ребенка, однако они целиком посвящены целям, методам, принципам воспитания, иначе говоря, рецептуре действий для взрослых, характеристики собственно детства, образы реальных детей в них отсутствуют. Детство оказалось в фокусе внимания лишь тех, кто решился писать о самом себе, активизированная автобиографическая память уводила их вглубь, к годам детства. И тем не менее формирование нового литературного жанра воспоминаний, становление "личностного" повествования первоначально происходило с трудом, преодолевая препоны средневекового литературного этикета. Рассказ о себе лишь постепенно становится средством самопознания и включает в это познание "себя-ребенка".

Если формированию автобиографического жанра западноевропейской литературы особенно ощутимый импульс дал жанр исповеди, которому положил начало Блаженный Августин и который расцвел в исповедальной практике пиетистов[1], то в русской традиции исповедь но-

[1] *Niggl, Günter.* Geschichte der deutschen Autobiographie im 18. Jahrhundert: Theoretische Grundlegung und literarische Entfaltung. Stuttgart, 1977. P. 6—14, 62—75; *Cf. Maier-Petersen, Magdalene.* Der "Fingerzeig Gottes" und die "Zeichen der Zeit": Pietistische Religiosität auf dem Weg zu bürgerlicher Identitätsfindung, untersucht an Selbstzeugnissen von Spener, Francke und Oetinger. Stuttgart, 1984.

сила тайный и сугубо личный характер. Даже автобиография Аввакума — произведение новаторское для древнерусской литературы — в своей жанровой основе имело духовное завещание пастве, а не исповедь перед Богом[2]. Главное влияние на русских авторов воспоминаний оказало знакомство с западноевропейской мемуарной литературой, но "чужая ветвь" прививалась на родном стволе. Издавна русское дворянство вело погодные записи своей государевой службы, необходимые при местническом счете, а также записи браков (для учета родственных связей) и смертей (для заупокойных поминаний), входившие в состав семейных родословно-разрядных сборников. Получалась своего рода домашняя летопись[3]. Отсюда ведет начало наиболее часто встречающееся название "Записки", которыми вплоть до середины XIX в. обозначались и мемуары, и автобиографии, и дневники[4]. У многих "летопись своей жизни" представляла собой погодный скупой перечень жизненных событий, в первую очередь связанных с государевой службой, и описание исторических персон и происшествий, оказавшихся связанными с нею. Это так называемые внешнесобытийные воспоминания (мемуары). Но существовал и другой тип авторов, которые придерживались нарративного повествования, рассказывали в нем о себе, отмечая незначительные с исторической точки зрения, но значимые для самого автора события жизни (автобиографии).

Мемуаристы и автобиографы XVIII в. представляют небольшую часть российского общества того времени, решившуюся посвятить свой досуг весьма необычному занятию — писанию воспоминаний. Преобладают среди них представители дворянства, хотя есть и авторы из других сословий. Впервые литературным творчеством в XVIII в. начали заниматься и женщины, и предоставил им такую возможность именно жанр воспоминаний.

Далеко не все рукописи воспоминаний, написанных в XVIII в., дошли до настоящего времени, их сохранилось около 100, но три четверти из этих воспоминаний относятся к последним четырем десятилетиям

[2] *Понырко Н.В.* Житие протопопа Аввакума как духовное завещание.

[3] Образцом подобных записей, сохранившихся в ничтожном количестве, являются погодные записки И.И. Бутурлина (XVII в.) // РГАДА. Ф. 1365. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 1. Аналогичные ежедневные записи, имеющие не семейное, а государственное значение, делались в царском дворце (так называемые Дворцовые разряды, или Поденный журнал Петра I). П.И. Рычков, начавший свои записки в 1761 г., жалел, что утрачены "некогда из книг родителя моего записки, рукою его писанные", со сведениями о его роде (Русский архив. 1905. 11. С. 289).

[4] *Елизаветина Г.Г.* Становление жанров автобиографии и мемуаров // Русский и западноевропейский классицизм. Проза. М., 1982. С. 236.

века[5]. Однако, рассматривая историю детства поколений второй половины XVIII в., мы вынуждены выйти за его пределы и обратиться также к автобиографическим текстам начала XIX в., написанным на склоне лет людьми, жизнь которых принадлежала ушедшему восемнадцатому столетию, именно его дух и воззрения они стремились отразить и сохранить. Конечно, к примеру, "старинный кадет, мечтатель отжившего XVIII в." С.Н. Глинка, взглянувший на свое детство из пушкинского времени, писал совершенно иначе, чем кн. Б.И. Куракин, питомец эпохи Петра. Но и в конце века некоторые из текстов воспоминаний несут на себе сильный налет "архаичности", а более ранние авторы как бы опережают свое время. Но в целом опыт, накопленный мемуаристикой к началу второй четверти XIX в., делал обращение к перу более свободным, а тему детства — более привлекательной. Немалую роль в этом сыграла популярность произведений Ж.-Ж. Руссо, поразивших русских читателей своей новизной и оригинальностью мысли. Его "Эмиль, или О воспитании", вышедший во Франции в 1762 г., в России был сразу же запрещен, что отнюдь не препятствовало знакомству с ним образованных россиян[6]. "Люди, будьте человечны, — писал Руссо, — это ваш первый долг: будьте такими для всех состояний, для всех возрастов, для всего, что не чуждо человеку... Любите детство; поощряйте его игры, его забавы, его милый инстинкт. Кто из вас не сожалел иногда об этом возрасте, когда на губах вечный смех, а на душе всегда мир?"[7] Такое отношение к детству и к воспитанию оказалось совершенно противоположно тому, которое было привычно доселе русскому обществу, воспитанному на домостроевских установлениях. И оно по большей части приняло в штыки педагогические советы Руссо, хотя известны и некоторые его последователи. Это неприятие "Эмиля" отчетливо выразилось в личном письме Екатерины Великой: "Особенно я не люблю емилевского воспитания, — писала она, — в наше доброе старое время думали иначе, а так как между нами есть, однако ж, удавшиеся люди, то я держусь этого результата"[8]. Тем не менее тема ребенка и его воспитания, ранее не обращавшая на себя широкого внимания, воспринимавшаяся как сама собой разумеющаяся, превратилась в спорную и заслуживающую обсуждения.

[5] *Тартаковский А.Г.* Русская мемуаристика XVIII—первой половины XIX веков. М., 1991. С. 26—27.

[6] *Лотман Ю.М.* Руссо и русская культура XVIII—начала XIX века // Избранные статьи. Таллинн, 1992. С. 56—57.

[7] *Руссо Ж.-Ж.* Эмиль, или О воспитании. СПб, 1913. С. 55.

[8] Сб. РИО. СПб, 1872. Т. 13. С. 37.

Не меньшее влияние оказала и "Исповедь" Руссо, вышедшая во Франции в 1782 г. В ней на всеобщее обсуждение автор представлял свой собственный интимный опыт детства. «"Эмиль" показывал ребенка в его *отличии* от взрослого; "Исповедь"показывала ребенка в его *продолжении* во взрослом»[9], — отмечал Р. Коу. Но более всего поразила русских читателей открытая форма исповеди "на публику", прямо заявленное в ее начале желание автора откровенно писать о самом себе как о человеке, не похожем на других. "Исповедь" помогла изжить, хотя далеко не окончательно, комплекс боязни быть обвиненным в тщеславии за желание в письменном тексте рассказывать о себе, который мучил всех без исключения мемуаристов XVIII в. Юный кн. Д.В. Голицын, прочитав "Исповедь" в 1785 г., писал матери о Руссо: "По всей вероятности, он первый имел отвагу посметь говорить таким образом, рискуя навлечь на себя обвинение в эгоизме и тщеславии"[10].

Действительно, писать сочинение о самом себе в то время для православного человека было делом психологически очень сложным, а для большинства — просто невозможным. Многие и сегодня полагают писание воспоминаний уделом людей либо знаменитых, либо тщеславных, что же говорить о тех временах, когда к письменному тексту, далеко не так часто встречавшемуся в повседневности, относились с благоговением и священным почтением. Открыто выставлять свое интимное "я" на публику считалось так же неприличным, как появляться на людях в исподней одежде, а запечатлевать свою жизнь в книге казалось явным проявлением мании величия.

Но тем не менее желание записать на бумаге свою биографию возникало у "детей XVIII в." по разным причинам, и они стремились его осуществить, ища для того различные оправдания и привычные, маскирующие формы выражения (житийные, летописные, завещательные и т.д.). Автор первой русской светской автобиографии, известнейший дипломат петровского времени кн. Б.И. Куракин (1676—1727) оправдывал себя перед соотечественниками в том, что решился начать "описание от самого меня и моего жития", сообщая им, что такой непривычный для русских литературный жанр широко распространен в европейских народах и не он сам его придумал, а лишь ему "последствовал".

[9] *Coe R.N.* When the Grass Was Taller. Autobiography and the Experience of Childhood. Yale Uni Press, New Haven and London, 1984. P. 26: "*Emile* saw the child as *distinct* from the adult; the *Confessions* saw the child as *continuous* with the adult".

[10] Цит. по: *Лотман Ю.М.* Руссо и русская культура XVIII—начала XIX в. С. 69.

Помимо обвинений в тщеславии, от которого мало кто из авторов не стремился откреститься во введении к своим мемуарам[11], существовали опасения в том, что читателям не может быть интересна жизнь обычного человека, а тем более ребенка. Даже в середине XIX в. гр. А.И. Рибопьер в ответ на уговоры написать мемуары отмечал: «Множество причин препятствует этому. Главное то, что мне постоянно приходилось бы говорить о себе. ...На каждом шагу в моих Записках встречались бы выражения: "я видел, я слышал, я был, я сказал". Спрашивается: кого может это интересовать?»[12]

Однако ответ на этот вопрос был найден уже в XVIII в.: потомкам своего рода, детям и близким, по словам самого известного мемуариста А.Т. Болотова, "мила и любопытна и самая малейшая черта из жизни наших предков". Помещение в литературный текст событий частной жизни, ее малых происшествий и переживаний, значимых и дорогих сердцу самого рассказчика, оправдывалось тем, что записки о себе пишутся для семейного использования, а не для широкой публики, ну и, конечно, для самого себя. Часто побуждением к записи событий собственной жизни являлась просьба о том детей и родственников автора; именно эта причина, а не тщеславные помыслы самостоятельно запечатлеть свой портрет на бумаге, сообщается читателям, дабы они не смогли упрекнуть автора в нескромности. Так, А.П. Березин, человек малограмотный и не способный самостоятельно заниматься литературной работой, склонившись на просьбу дочери, продиктовал для записи свои воспоминания. Но, вероятно, он, пройдя путь от нищего крестьянского ребенка до купца первой гильдии, считал свою жизнь вполне достойной запечатления для потомков.

Исследователи русской мемуаристики XVIII—начала XIX в. сходятся в том, что авторы воспоминаний и дневников никогда не предполагали писать их для печати, и вполне можно представить, что были бы в ужасе, узнав о публикации потомками их сокровенных записок. Сам А.Т. Болотов, как и другие его современники, считал, что "предосудительно не само писание автобиографии кем бы то ни было, а стремление сделать ее достоянием гласности"[13]. Этого не допускали нормы этики, которые в какой-то степени оставались свойственны русской

[11] Примеры тому см.: *Тартаковский А.Г.* Русская мемуаристика XVIII—первой половины XIX веков. С. 94—97.

[12] Записки графа Александра Ивановича Рибопьера. Предисловие // Русский архив. 1877. Кн. 2. Вып. 4. С. 461.

[13] *Тартаковский А.Г.* Русская мемуаристика XVIII—первой половины XIX веков. С. 96.

культуре вплоть до XX в.[14], а именно — сокрытие своей индивидуальности и личной, семейной жизни от посторонних глаз, ограничение круга возможных читателей самыми близкими. Лишь очень постепенно русская литература училась говорить о частной, личной и интимной жизни человека.

По мнению первого поколения русских мемуаристов и автобиографов, подробное описание собственной жизни, составленное для детей и потомков, сможет удовлетворить их любопытство к истории рода, сохранить для них образ пишущего и дать факты для размышлений на основе его жизненного опыта. Обращение к детям как к предполагаемым читателям автобиографии часто способствовало тому, что письменный текст приближался к устным рассказам, принятым в семейном кругу. "Я так вам пишу, будто я с вами говорю, и для тово вам с начала жизнь свою веду", — отмечает в "Своеручных записках" кн. Н.Б. Долгорукая. Прямо обращается к дочери в тексте М.А. Муравьев (например так: "не забуду и то тебе объявить..."). Он описывает различные происшествия своего юного возраста таким образом, чтобы и малым детям их было читать интересно и забавно. Поэтому его не заботит незначительность событий, им рассказываемых, например, он считает нелишним поместить в текст смешную присказку няньки: "Дети, а дети, я горяченко сварю, а за укус (вкус. — *О.К.*) не берусь". А.Т. Болотов тоже отмечает свое желание рассказывать о детстве не только поучительные, но и смешные истории[15].

Детскому периоду жизни в воспоминаниях отводится разная роль в зависимости от их жанрового характера. Детству не находится места в жизнеописаниях тех авторов, которые считали возможным запечатлевать под своим пером лишь социально значимые деяния и происшествия, отводя себе только роль их свидетеля. Но следование строгой летописной хронологии своей жизни, начиная от рождения, способствовало тому, что в нее, хотя и в скупой манере, помещались и детские годы.

[14] Достаточно вспомнить, например, что еще совсем недавно личная и семейная жизнь советских государственных и культурных деятелей никогда открыто не представлялась обществу, в отличие от того, как это было на Западе. Также и воспоминания советской эпохи уделяют мало внимания личной жизни.

[15] Интересно, что именно поэтому он облекает свое повествование в форму писем другу ("что принадлежит до расположения описания сего образом писем, то сие учинено для того, чтобы мне тем удобнее и вольнее было рассказывать иногда что-нибудь и смешное"). Странное это для сегодняшнего читателя замечание связано как раз с неустоявшимся еще жанровым каноном автобиографии, с тем, что в жизнеописаниях не было места смешному и автор хочет подменить их формой личных писем, в которых подобные истории о себе были допустимы.

Таким "внешнесобытийным" образом строят, например, свои записки И.И. Неплюев, В.А. Нащокин, С.И. Мордвинов, детство которых пришлось на петровское время. Однако детства как такового мы практически не видим. В них нет ни личных впечатлений, ни событий из жизни ребенка: личность рассказчика спрятана за констатацией внешних государственных и семейных событий. Главное, что авторы считают нужным сказать о себе, это подготовка к государственной службе (учеба) и вступление в нее. Даже сообщая, что старший брат утонул, "а при том несчастливом случае я сам случился быть", В.А. Нащокин избегает изображения собственных эмоций и подробностей случившегося. И только в рассказе о том, как мальчиком довелось близко увидеть приехавшего в Петербург царя Петра I, едва проскальзывает воспоминание о детском любопытстве: "И как мы, по детскости, не однажды заходя, смотрели в очи Его Величества".

Иным образом описывается детство у тех из авторов, кто решается обратиться к своей частной, семейной жизни, к формированию собственной личности. Хотя в воспоминаниях, как уже отмечалось, подчеркивается их составление для детей (которым по молодости зачастую было недосуг копаться в воспоминаниях стариков), в то же время они, безусловно, писались и для себя самого, для собственного удовольствия вновь обратиться к пережитому. И наибольшую радость, по многим свидетельствам, доставляют воспоминания о "летах невинности": "...напоминание и прочитывание происшествий, бывших во время младенчества и в нежные лета нашего возраста, причиняют и самим нам некоторое удовольствие", — признается А.Т. Болотов. Исповедуясь в грехах и преступлениях своей беспутной жизни, Г.С. Винский пишет о детских годах: " Как сладостно вспоминать и теперь, что я тогда не был еще виновен ни пред людьми, ни пред собою". И.М. Долгорукий знает, что память человека непрочна, и его детство исчезнет навсегда вместе с нею: "Прощай, юность драгоценная! Ты летишь от меня как сон, и одна память представляет еще тебя моему воображению. Скоро и та износится, — изгладятся в ней черты твои! — Буду еще говорить, что и я был ребенком, но уже не вспомню, не наслаждусь твоими забавами!" Через дневниковые записи, ставшие основой воспоминаний Долгорукого, он видит возможность победы над слабостью памяти и возвращения в собственное детство. Подобные желания вновь "с удовольствием" припомнить ранние годы жизни, "невинные" и "драгоценные", говорят об определенном отношении к детству как к некоей золотой поре, хотя в самих воспоминаниях отражаются многие далеко не "золотые" его стороны. Влияние сентиментализма — модного литературного направления конца XVIII в. — давало его последователям в жанре

воспоминаний и образец описания ранней поры жизни: безмятежное детство в лоне семьи, юношеские падения и благородные порывы.

Но рассказы о детстве не только приносят удовольствие автору и увеселяют читателя, им вольно или невольно придается и особая значимость для осмысления проблем воспитания и образования детей в целом, проблем, особенно остро поставленных веком Просвещения и неведомых в литературе Древней Руси.

"МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ, ЧЕМУ-НИБУДЬ И КАК-НИБУДЬ"

Сама идея Просвещения как основы для благоденствия человечества, владевшая умами интеллектуальной элиты XVIII в., формировала в общественном сознании соответствующее отношение к образованию. Педагогические проекты и сочинения о воспитании получают известность уже в елизаветинское время и становятся особенно популярны в правление Екатерины Великой в русле ее общей просветительной политики[16]. Императрица намеревалась исправить нравы страны с помощью создания воспитательно-образовательных учебных заведений, организованных по последнему слову европейской педагогической науки. Государство в ее лице путем создания закрытых воспитательных учреждений стремилось взять на себя ранее принадлежащую семье задачу воспитания детей и воспитывать их в новом гражданственном и просвещенном духе[17]. Образование европейского типа давало возможность гражданам России говорить на общем языке с Европой, помогало избавиться в ее глазах от образа варварской страны. Екатерина Великая поддерживала проекты главного педагогического реформатора И.И. Бецкого, советовалась по вопросам учебной реформы с Вольтером, Дидро, Гриммом. Недаром и заезжие иностранцы видели на педагогическом поприще возможность проявить себя перед императрицей и наперебой предлагали в этой области свои услуги[18]. Императрица сама посещала учебные заведения, лично знала чуть ли не каждую из воспитанниц Смольного монастыря. Образ Екатерины, первый и, может быть, единственный из русских царствующих особ, запечатлен в воспоминаниях как "чадолюбивой" женщины. Она обращает внимание на малых детей своих подданных, сажает их на колени, играет с ними (см., например, воспоминания С.Н. Глинки и А.И. Рибопьера).

[16] См.: Антология педагогической мысли России XVIII в. М., 1985.

[17] Подробнее см.: *Ключевский В.О.* Два воспитания // *Ключевский В.О.* Сочинения: В 9 т. М., 1990. Т. 9. С. 17—28.

[18] *Строев А.* "Те, кто поправляет фортуну". Авантюристы просвещения. М., 1998. С. 330—332.

Иначе говоря, воздух екатерининского времени был пропитан педагогикой. Вопросы образования оказываются животрепещущими и на уровне семейном, в частной жизни, и на уровне государственном. Воспоминания о детстве, создававшиеся в этой атмосфере обостренного восприятия просвещенческой проблематики, так или иначе отражают присущее их времени отношение к воспитанию и обучению. Рассказ о своем детстве многими понимался как рассказ "о том, как меня учили и воспитывали". А если сказать точнее, по большей части о том, "как раньше плохо умели учить и воспитывать", ибо лишь малая часть лиц сумела попасть в "идеальные" учебные заведения, для пересчета которых хватит пальцев одной руки, а идеи обновленной педагогики владели умами многих. М.В. Данилов (1722—ум. после 1790), Г.С. Винский (1752—1819), И.М. Долгорукий (1764—1823) и некоторые другие вводят в текст воспоминаний размышления и советы чисто педагогического свойства на основе критического анализа собственного детского опыта и под влиянием просвещенческой литературы. Они, по мнению авторов, могут быть небесполезны и поучительны для их потомков. В.С. Хвостов (1754—ум. после 1832) же, например, объясняет краткость описания своего детства именно тем, что с воспитательной точки зрения из него нельзя вынести ничего поучительного: "Описывать моего детства воспитание я не стану; оно было таково, что для ума ничего не было употреблено, и даже самой грамоте учителем был пономарь".

Воспоминания с полной очевидностью являют тот факт, что усилия Петра Великого заставить дворян и духовенство обучать своих детей не пропали даром. Среди мемуаристов-дворян не было такого, к обучению которого родители не проявляли бы заботы и внимания. И тем не менее большинство из них считали свое обучение в детстве крайне неудовлетворительным, его приходилось самостоятельно восполнять во взрослые годы ("если я что знаю, то подлинно самоучкою", — утверждал, например, сенатор И.В. Лопухин, получивший обычное домашнее дворянское обучение). Объяснялось такое положение отсутствием в России учителей-профессионалов и ничтожным количеством школ, что ставило перед родителями большие трудности в разрешении проблемы обучения своих детей. Оно требовало от родителей многих усилий и денежных средств, которые тем не менее изыскивались, поскольку образование для детей представлялось необходимым. Военная служба отцов, их перемещения с полками, участие в военных действиях приводили к тому, что или семья переезжала с ними с места на место, или дети с матерью отправлялись в дальние поместья. В таких условиях организовать для детей учебу было тем более затруднительно. Лишь постепенно складывалась в течение века новая парадигма обра-

зования, не имевшая традиции в прежний период. Отсутствие системы образования, наряду с неустоявшимися представлениями о том, чему и как следует учить дворянских детей, скудость учебной и детской литературы зачастую сводили предпринимаемые родителями усилия к малым результатам. Говоря о неудовлетворенности полученным в детстве образованием, Г.С. Винский справедливо отмечал: "Я не ропщу ни на мать свою, ни на моих наставников. Всему виною тогдашние времена". Улучшение положения со школами и учителями в целом в России наметилось лишь к концу века Просвещения.

Образование стало престижной ценностью в обществе XVIII в. Люди малообразованные попадали в категорию второго сорта. Поэтому не учить дворянского ребенка было невозможно, но практическая ценность образования для обыкновенного помещичьего дитяти, желающего жениться и спокойно жить в свое удовольствие, была большинству простых помещиков неясна. Побудительная причина к учебе была прекрасно сформулирована Д.И. Фонвизиным устами госпожи Простаковой: "Ребенок, не выучась, поезжай-ка в тот же Петербург — скажут, дурак. Умниц-то ныне завелось много; их-то я боюсь". Другая дама сетовала по поводу образования девиц: "Нынче, матушка, уж и замуж дочери не выдашь, коли по-французски она говорить не умеет; а постричь ее вить нельзя же"[19]. Учение, преследовавшее лишь престижную цель, проходило, как у Митрофана, формально и без всякого смысла. Герой книги Г.Ф. Квитко-Основьяненко (1778—1843) пан Халявский — тот же фонвизиновский Митрофан, но уже выросший и пишущий свои воспоминания, так рассуждал на склоне лет: «Какое зло принесло мне нежелание мое учиться? Совершенно ничего. Я также вырос как бы и ученый; аппетит у меня, как и у всякого ученого. Влюблялся в девушек и был ими любим так, что ученому и не удастся, причем они и не спрашивали меня о науках — и у нас творительное, родительное и всякое производилось без знания грамматики. В службе военной незнание наук послужило мне к пользе: меня, не удерживая, отпустили в отставку; иначе лежал бы до сих пор "на поле чести". Не потребовались науки и при вступлении моем в законный брак с нежно любящею меня супругою, Анисьею Ивановною, с которою — также без наук — прижито у нас пять сыновей и четыре дочери живьем да трое померших. И имение у брата отстояно, и новое приобретено — и все без наук, просто»[20]. И действительно, трудно поспорить с паном Халявским, что в его жизни требовалась латынь, которой его мучили в

[19] *Дашкова Е.Р.* О смысле слова "Воспитание" // Антология педагогической мысли России XVIII в. С. 284.

[20] *Квитко-Основьяненко Г.Ф.* Пан Халявский. М., 1978. С. 182.

училище. И тем не менее сыновья и внуки Халявского, несмотря на его убежденность в ненужности учения, получают его сполна и уже на новом уровне.

Конечно, мемуарист пан Халявский — литературный вымысел, реальные воспоминания принадлежат перу людей образованных[21] и, главное, иначе, чем он относящихся к образованию. Но их детские годы проходили на фоне этих двух умонастроений, тесно связанных между собой — просветительских и "простаково-халявских". Посмотрим, как разворачивается перед нами калейдоскоп фрагментов из различных воспоминаний о началах постижения премудрости в детстве. Несмотря на различие характеров, судеб и литературного замысла, складывается общая картина детства "ребенка обучаемого", начертанная пером поколений XVIII в.

"НАЧАЛИ МЕНЯ УЧИТЬ ГРАМОТЕ..."

Обучение детей грамоте начинали лет с шести, обычно им занимался кто-нибудь из церковного клира, а иногда и сами родители. "За неимением в тогдашнее время (40-е гг. — *О.К.*) в том краю (Оренбургском. — *О.К.*) учителей научен от церковников читать и писать" великий русский поэт Г.Р. Державин (1743—1816).

В.С. Хвостова обучал грамоте пономарь "в глуши деревенской жизни". У С.А. Тучкова "первый учитель был дьячок, а второй — солдат". В Малороссии издавна имелись церковноприходские школы для малых детей, где учительствовали дьяки. О такой школе вспоминает Г.С. Винский: "В сей школе жил дьяк, к которому меня водили, который, однако, чему и как учил меня не помню; но что он больно и часто секал меня по субботам, сие помню". В подобной же школе в городке Березани Илья Турчиновский (1695—?) учился "грамматике, часословцу и псалтыри". В Великороссии чаще обучались грамоте дома. У Ф.П. Печерина вклад в его начальное обучение внесла вся семья: "Грамоте учили меня дома мать, сестра старшая и малой Николашка, а писать — отец мой; потом — чтению Псалтыря — бабка Марфа Васильевна".

[21] Но есть и исключения. Автобиография А.П. Березина — редкий случай воспоминаний человека, в детстве не получившего даже начатков образования, так как происходил он из бедной крестьянской семьи и в двухлетнем возрасте остался без отца. С восьми лет он был отдан матерью в пастухи, а зимою просил милостыню. В одиннадцать лет дополнительно занявшись небольшой коммерцией — плетением лаптей, — Березин смог таким образом "довольствовать семейство свое", что поощрило его в жизни "к дальнейшему предприятию". В 15 лет он пошел в столицу "в люди", где нанялся в работники по дому и стал содержать себя и помогать матери.

Обучение "славянской" грамоте проходило в древнерусских традициях буквослагательным методом. Г. Добрынин (1752—1824) вспоминал свои первые шаги на стезе грамотности: «...велел мне дед положить три поклона в землю пред иконою, и начал мне вступление в науку азбуку, по которой доучил меня до "буки-аз-ба"»[22]. Освоившие азбуку переходили к Часослову и Псалтыри, учащий Псалтырь начинал учиться и писать. Таков, замечает Платон Левшин (1737—1812), "общий был тогда обучения порядок для всех всякого состояния отроков". Эти знания считались необходимыми в первую очередь для религиозного воспитания, для умения читать церковную литературу. Г.Р. Державина мать "старалась пристрастить к чтению книг духовных"; также и Г.С. Винский "по-российски же читал уже по вечерам для матери Четь-минею, а в церкви Апостолов и Паремии". Из своего первоначального учения, пишет А.Т. Болотов, «помню я в особливости то, что первое обрадование родителям моим произвел я выучением почти наизусть одного апостола из послания к коринфянам, начинающегося словами: "Облецытеся убо яко избрании Божия" и пр., и прочтением перед ними...»

Заучивание детьми малопонятных им текстов, в том числе и на латинском языке, было принято издревле. Такая система была рассчитана на высокую способность детской памяти, осмысление уже заложенных в нее текстов раскрывалось с возрастом постепенно. Ребенок должен был понимать лишь одно — что в тексте есть тайна, которая позднее раскроется ему. Но такая система была мучительна детям вообще, и особенно когда она сопровождалась наказаниями. Это учение вспоминают как омрачавшее ранние годы. К тому же образовывалась в начальном учении несостыковка — учили читать по церковнославянским текстам, далеко не схожим с литературным русским языком XVIII в., а в дальнейшем дворянину гораздо более требовалось знание последнего. Впрочем, русских книг гражданского шрифта в первой половине века было не так уж и много, в быту оставалась распространенной рукописная книга. На то, что принуждение к учебе малых детей, превышающее их физические возможности, дает дурной результат, указывал М.В. Данилов. Он вспоминает, как, будучи способным и трудолюбивым учеником, он ничего не мог ответить учителю в конце дня, так как уставал и впадал в состояние отупения. "Из сего, — пишет он, — ныне заключаю, что принужденное детям учение грамоте неполезно, потому что от телесного труда изнемогают душевныя силы и приходят в облепение и унылость". Основываясь на собственном отрицательном опыте, Данилов в качестве учителя применял иные методы: "Я учил своего пасынка, не доводя его никогда до малейшей скуки в учении, пускал его часто гулять и приучал самого по своей воле садиться за учение без всякого позыва и принуждения". Собственно говоря, педагогика в лице В.Н. Татищева еще в 30-е гг. пыталась изменить традиционные малопродуктивные методы начального обучения грамоте "младенцев". В инструкции "О порядке преподавания в школах при уральских казенных заводах" (1736) он предписывал учителям, "чтоб ученики охотнее и скорее обучались и меньше принуждения и надзирания требовали, давать им мерные уроки, и как скоро который урок свой выучит, так скоро с похвалою из школы выпустить, чрез что и ленивым подается лучшая охота". Татищев хотел также отменить обучение грамоте по церковным книгам и перейти на учебники, специально для детей написанные[23]. И многие другие сочинения XVIII в. о воспитании утверждали подобные же идеи. Однако воспоминания показывают, что традиция в обучении детей долго не уступала места подобным новаторствам, недоступным массе неумелых учителей. Просвещенные личности, такие как М.В. Данилов или дядя С.Н. Глинки Н.П. Лебедев, выступая в лице педагогов, стремились действовать методами ласки, соразмерности знаний детскому возрасту и заинтересованности в учебе.

Но так или иначе фундамент знаниям оказывался заложен, первоначальное знакомство ребенка с письменной культурой происходило, причем, как можно заметить, активную роль в обучении малыша брали на себя женщины — матери, сестры, бабушки.

"ПОЗНАЛ Я ПЕРВОЕ ОСНОВАНИЕ СЛОВЕСНОСТИ ИНОСТРАННОЙ И НАУК МАТЕМАТИЧЕСКИХ"

В допетровский период обучение детей обычно оканчивалось на этапе овладения ими чтением и письмом. Но новое время потребовало для дворянства и новых знаний: в первую очередь иностранных языков, как современных, так и древних, и математических навыков. Най-

[22] Истинное повествование, или жизнь Гавриила Добрынина, им самим написанная. 1752—1828. СПб, 1872. С. 5.

[23] Он писал: "...оный порядок оставить, а учить тако:

Как скоро младенец азбуку выучит, то ученику начать для читания и показания склада учить книжицу, сочиненную преосвященным архиереем новгородцким Феофаном Прокоповичем, именуемую "Первое учение отроком", и "Зерцало человеческого жития", сочиненную его превосходительством графом Бросом (Брюсом. — *О.К.*); которыми при чтении купно знанию закона Божия и честного жития обучаться будет. Но и при том, когда младенец каков-либо стих выучит, должен его учитель спрашивать, преж читая ему, знает ли он силу (смысл. — *О.К.*) того, что учил, чтоб простым наречием и хотя непредписанным порядком пересказал" (цит. по: Антология педагогической мысли России XVIII в. С. 85).

ти учителей по этим предметам было еще труднее: "Учителя немцы и французы не были еще тогда в нашем отечестве таковы многочисленны, как ныне, их было очень мало", — отмечает Г.С. Винский. Поэтому родителям приходилось приглашать людей и малознающих, и неспособных к учительству.

Приходит на ум "анекдот", имеющийся в "Письмовнике" Николая Курганова (1725—1796): «Некто насмеялся чужеземцу, что у них за морем нет хороших язычных учителей. Тот ему доказал: "Потому что у вас наши перукмахеры, кучеры и цирюльники часто бывают почетными учителями"»[24]. И сколько бы ни сокрушались педагоги и публицисты о том, что российских детей обучают заезжие "с парижских улиц без пропитания шатающиеся или от заслуженного в своем отечестве наказания укрывающиеся"[25] лица, сколько бы ни клеймило подобное обучение сатирическое перо, от такой практики на деле трудно было отказаться за неимением других учителей.

В воспоминаниях перед нами проходит серия портретов наставников, более мучивших детей, чем учивших их. А.М. Муравьев (1711—ум. после 1777) обучался "у пленников шведских по-немецки", а знаниям по математике был обязан "штурманскому ученику Рославлеву", который, впрочем, справлялся с обучением успешно. Г.Р. Державин "за неимением других учителей" учился немецкому языку у каторжника Розе, "у которого дети лучших благородных людей, в Оренбурге при должностях находящихся, мужска и женска полу учились". "Сей наставник, — вспоминает Державин, — кроме того, что нравов развращенных, жесток, наказывал своих учеников самыми мучительными штрафами... был сам невежда, не знал даже грамматических правил, а для того и упражнял только детей твержением наизусть вокабол (спряжением глаголов. — *О.К.*) и разговоров". Не более повезло Державину и с изучением математики: гарнизонный школьник Лебедев, а затем штык-юнкер Полетаев были в преподаваемых ими математических науках и сами малосведущи и учили им "без доказательств и правил" и "довольствовались в арифметике одними первыми пятью частями, а в геометрии черчением фигур, не имея понятия, что и для чего надлежит". Г.С. Винского на дому латинскому языку учил поляк, которого, пишет Винский, "гораздо более помню потому, что он был охотник стрелять, удить рыбу, ловить птичек и меня нередко с собою поживал, и что он был крайне зол и нас секал без милости". Отец В.С. Хвостова выписал для обучения детей учителя-немца из Петербурга "за

[24] *Курганов Н.* Краткие замысловатые повести. М., 1976. С. 71.
[25] *Дашкова Е.Р.* О смысле слова "Воспитание". С. 284.

300 рублей, что по тогдашнему небогатому состоянию не легко было". Но этого учителя отец употреблял и как старосту для надзора за работой крестьян, поэтому немец "брал нас на гумно и, пока хлеб молотили, задавал нам урок, страницы по две из немецкого Лексикона". Для обучения арифметике и немецкому языку отец А.Т. Болотова взял немецкого унтер-офицера из своего же полка, человека малосведущего в науках. "Со мною обходился он не так, как хорошему учителю должно, но так, как от неуча и грубого воспитания человека ожидать можно, и нередко принужден я был претерпевать от него лихо и проливать слезы". Болотов подробно описывает многие из своих конфликтов с учителем, который, видимо, имел садистские наклонности. Осознать еще в отрочестве всю неумелость своего учителя Болотову помогло его счастливое пребывание с отцом в Курляндии, где он смог приобщиться к европейским традициям образования и был отдан в руки учителя-профессионала: "ибо тут не только в полгода я гораздо множайшему, а немецкому языку столько научился, сколько не выучил во все время у прежнего учителя, но и вся моя натура, и все поведение совсем переменилось, и в меня впечатлелось столько начатков к хорошему, что плоды проистекли из того на всю жизнь мою".

И.М. Долгорукий, родители которого, жившие в Петербурге, имели возможности приглашать хороших учителей, лишь вскользь упоминает о своих первых учителях-иностранцах, которые "не могли заслужить доверенности родителей моих". Зато найденный наконец француз Совере "человек был умный, сведущий и крайне осторожный; сердце имел доброе и благородное". Ему посвящено много благодарных воспоминаний со стороны его ученика. В семье Долгоруких обучали одинаково сына и трех дочерей, за исключением того, что мальчик занимался еще и латинским языком (язык этот для обучения русского дворянского мальчика, в отличие от малороссов, был достаточно редок)[26]. В менее состоятельных семьях дочери обходились без учителей-иностранцев и обучались тому, чему могли их научить сами родители[27].

Нехватка учителей иностранных языков приводила к тому, что часто в домах состоятельных дворян к одному учителю брали для обучения детей родственников и друзей и образовывался таким образом пансион. Так, друг отца В.С. Хвостова предложил ему "поручить нас троих (братьев. — *О.К.*) с тем, что, имея уже способного и доброго учителя француза, составить у себя пансион, пригласив еще двух соседов, имевших также по одному сыну". В бедных и многодетных дворянских

[26] *Лотман Ю.М.* Беседы о русской культуре. СПб, 1994. С. 303.
[27] *Кошелева О.Е.* У истоков женского образования в России // Педагогика. 1993. № 2.

семьях подросших детей часто отправляли к более обеспеченным родственникам учиться вместе с их детьми. Такое постоянное скитание по родственникам описывает М.И. Данилов: сначала он жил у злобной вдовы, "делая компанию" ее племяннику, потом переехал к другому родственнику, где жил "более в гостях, нежели учился", потом — к третьему, у которого также "ничему не учился, да и родственник мой о сем нималого не имел попечения" .

Наиболее значимым в обучении оказывался французский язык, сменивший приблизительно к середине века немецкий. Общение на нем, а тем паче на жаргоне парижских светских салонов, служило знаком принадлежности к элите, а к ней хотел приобщиться всякий молодой человек. Д.И. Фонвизин вспоминает: "Стоя в партерах, свел я знакомство с сыном одного знатного господина, которому физиономия моя понравилась; но как скоро спросил он меня, знаю ли я по-французски, и услышал от меня, что не знаю, то он вдруг переменился и ко мне похолодел: он счел меня невеждою и худо воспитанным и начал было надо мною шпынять. ...Тут узнал я, сколь нужен молодому человеку французский язык"[28]. Обучение французскому ради того, чтобы быть принятым в обществе, в дальнейшем приводило многих и к знакомству с современной французской литературой. Фактически она и стала основным содержанием общего образования передового молодого человека второй половины XVIII в. «Сколько бы излиха не вопияли: "Распинайте французов!", но они одни гораздо более способствовали нашему научению, нежели совокупно вся Европа», — писал Г.С. Винский.

Выбирая науки для обучения сыновей, родители нимало не задумывались о желаниях и склонностях самих детей. В первую очередь речь шла о военной карьере, но именно те, кто оставил свои воспоминания, наряду с ней или помимо нее, стали заниматься литературной и культурной деятельностью. И.М. Долгорукий проговаривается, что уже с детства мечтал о театре, хотя отец готовил его к дипломатической службе. Сам он уже развивает мысль о том, что в обучении следует учитывать и склонности ребенка. Невозможно, пишет он, развить те умения, способности, которые не заложены природой: "К чему нас влечет природа, тем мы и будем". И подтверждает этот тезис собственным примером: он так и не мог выучиться тому, к чему не был склонен (к немецкому языку, математике, рисованию, музыке, верховой езде). Долгорукий отмечает, что успех ему сопутствовал лишь в том, к чему он имел природные наклонности: "Принимался за то и за другое: тщетно! — чего не дала природа, того не развернешь. Всякое существо имеет свои способности; их одних и возделать могут труды и воспитание".

[28] *Фонвизин Д.И.* Сочинения. М., 1959. С. 91.

С.А. Тучков (1766—1839) рассказывает о взглядах своего отца на образование. Он также "мало имел времени рассматривать склонности детей своих". Дети его учились у частных учителей европейским языкам, истории, географии, арифметике, геометрии, фортификации, артиллерии, рисованию и танцам. К некоторым из обычных дворянских уроков он относился отрицательно, не хотел учить детей фехтованию, чтобы они не дрались на поединках; верховой ездой, считал он, можно овладеть и без специальных занятий. "Словесность, а наипаче стихотворство почитал он совершенно пустым делом, равно как и музыку". О латинском языке отец говорил, "что он нужен только для попов и лекарей", теология и философия представлялись ему "совсем неприличными науками для военного человека". Однако его сын уже в 12 лет почувствовал сильное влечение к стихотворству, затем стал сам осваивать латынь и учиться играть на флейте. Все это происходило при неудовольствии и запретах отца. За этим достаточно сухим рассказом так и чувствуется постоянное противостояние между отцом и сыном, разность их склонностей и интересов. Тучков все время пишет о желании отца "чтоб я был в службе военной", таков был предначертанный путь дворянина, но сам нигде не говорит о собственном желании служить. Тем не менее Тучков стал блестящим артиллерийским офицером, героем многих войн и только на склоне дней снова смог взяться за перо и написать свои воспоминания.

"Я ПОСЛАН БЫЛ В УЧИЛИЩЕ ОДИН..."

Общее образование для большинства (и в целом для женщин) ограничивалось уроками домашних учителей, а для других оно продолжалось в казенных школах или за границей. Отъезд из дома на учебу воспринимался трагически и матерями, и детьми. О нем как о переломном моменте в жизни, отделившем беззаботное домашнее детство от начала одинокого хождения по мукам познания ученых премудростей, часто рассказывается в воспоминаниях. Так, на девятом году жизни отец Болотова "судил, что уж время отнять меня из рук женских и учить чему-нибудь дальнейшему, кроме грамоты русской", вслед за этим произошел отъезд с отцом из дома и первое расставание с матерью, которое "было мне как сущему еще ребенку, весьма горестно и чувствительно"; "не могу и поныне забыть того, в какой расстройке находился тогда дух мой, когда час разлуки нашей начал приближаться, и какою грустью и тоской переполнилось сердце мое... Колико слез пролито было в сей день!".

"Расставание мое с матерью и домом было самое плачевное; во всю дорогу я непрестанно плакал, и ничего не примечал и ничем не зани-

мался", — вспоминал Г.С. Винский. И Глинка изображает тот же сюжет первого серьезного детского горя: "На заре жизни узнал я и слезы разлуки, и горе душевное, и силу той чувствительности, которая так глубоко западает в сердце. ...Отец мой, сопровождавший нас в Петербург (в кадетский корпус. — *О.К.*), вынес меня на руках из-под благословения матери: я задыхался от слез и рыданий". Подобные же горестные эмоции, думается, обуревали и тех, кто описал свой отъезд из дома на учебу лаконично, не вдаваясь "в чувствительность".

Воспоминания оживляют для нас быт и нравы учебных заведений, о которых мы чаще имеем представление лишь на основе указов, повелений и сухой школьной документации. При Петре I недорослей присылали в Петербург на дворянские смотры, откуда часть их, умеющих грамоте, распределяли в специальные школы (о чем рассказывают В.А. Нащокин, С.И. Мордвинов, И.И. Неплюев и др.). А.М. Муравьев в 15 лет был отправлен в Инженерную школу, М.В. Данилов в том же возрасте — в Артиллерийскую (1737—1743), где обучали "без малейшего порядка". Отцу В.С. Хвостова в 1765 г. по протекции удалось устроить сыновей в гимназию при Академии наук и был "он первый дворянин, который отдает детей своих в гимназию, тогда как оная назначаема была для одних только разночинцев".

В Московский университет отдавать детей из дворян особенно не стремились, так как там готовили не к военной, а к статской службе. Им в первую очередь воспользовались малоимущие дворяне, затруднявшиеся дать своим детям хорошее домашнее образование, они увидели в гимназиях при университете отличное решение проблемы поисков для детей толковых учителей[29]. Д.И. Фонвизин (1744—1792) вспоминал, что его отец "не в состоянии будучи нанимать для меня учителей для иностранных языков, не мешкал, можно сказать, ни суток отдачею меня и брата моего в Университет, как скоро он учрежден стал". Но в первые годы существования университетской гимназии обучение, по свидетельству Фонвизина, шло чрезвычайно плохо: "В бытность мою в Университете учились мы весьма беспорядочно. Ибо, с одной стороны, причиною тому была ребяческая леность, а с другой — нерадение и пьянство учителей"[30].

В 70-е гг. в гимназию при университете был отдан привезенный отцом из деревни вместе с братьями И.А. Глухов (р. 1760), которому было тогда 10 лет от роду. Жили братья Глуховы в Москве у отцовского

[29] Университет для России. Взгляд на историю культуры XVIII столетия. М., 1997. С. 225—227.

[30] *Фонвизин Д.И.* Сочинения. С. 87, 90.

приятеля, а присматривать за ними был оставлен слуга. Приезжавший в Москву со службы дядя сам экзаменовал мальчиков, проверяя их знания, и, как отмечает Глухов, "хвалил, нашедши, что хорошо учимся"[31].

Ф.П. Печерин (р. 1773), начавший учиться в университетской гимназии с 12 лет, по его словам, "не был нисколько подготовлен к тем познаниям, которым начали меня там учить". Он подробно рассказывает не об университетских классах, а о жизни студента-пансионера, много раз менявшего квартиры и их хозяев — университетских женатых учителей, державших в своих домах пансион для студентов. Лишь один из этих наставников юношества — учитель немецкого синтаксического класса М.Г. Гаврилов — серьезно занимался со своими подопечными и добился того, что из последнего ученика, скучавшего в классах, Печерин стал одним из первых. "Ежели я имею некоторые познания, ежели нравственность моя предохранена от разврата, всем тем Матвею Гавриловичу обязан", — пишет Печерин.

Г.Р. Державин после неудачной попытки отца записать его в службу малолетним также попал в гимназию, открывшуюся при Московском университете в Казани (1758), однако и он отмечает там недостаток хороших учителей и формальное преподавание.

И.М. Долгорукий, которого отец готовил к дипломатической службе, в 13 лет был сразу принят в студенты Московского университета, минуя гимназические классы, чему способствовала его хорошая подготовка дома и знание латинского языка, на котором тогда велось преподавание. Однако ему по-прежнему помогал в учебе его домашний учитель, и домашнее обучение некоторым предметам продолжалось.

Много учебных заведений сменил Г.С. Винский. Его отношение к ним скептическое, но он объясняет и причину неудач своего школьного опыта: "Несправедливо было бы требовать от тогдашних школ и учителей полезнейшего научения юношества: они сами точно не имели ни малейших по сей части сведений". Винский посещал грамматическую школу в Чернигове, затем, переменив много пансионов и частных учителей, поступил в Киевскую духовную академию, но, не имея намерения стать священнослужителем, не представлял, к чему мог бы употребить получаемые там знания. Отлично изучив риторику, латинский и польский языки, "выехал из Киева настоящим, касательно необходимейших знаний, дурнем до того, что ежели бы добрый человек... штык-юнкер Паченко не показал мне первых правил арифметики, я бы принужден был считать по пальцам". Оставив Киев, Винский поступил

[31] *Глухов И.А.* Автобиография // Щукинский сборник. М., 1907. Вып. 6. С. 202—203.

в г. Стародубе в пансион, имея желание знать французский язык. В 16 лет следовало уже вступить в службу, и родители повезли сына в Петербург в Инженерное училище при Измайловском полку, где изучались науки весьма далекие от прежде полученных знаний, где ему пришлось из студента академии стать школьником и перенести много унижений и страданий. Меня, пишет Винский, "взрастили у монахов, а заставили служить в гвардии! Переведенный из мирной, скромной, подчиненной жизни в мятежную, наглую, своевольную, чем мог я сделаться как не самым несчастнейшим творением?"

Сын малороссийского иконописца Иван Тревогин (1761—1790), потеряв отца, был устроен в воспитательный дом при Харьковском училище, учрежденном Екатериной Великой. Он пишет, что пробыл в училище восемь лет и занимался в нем множеством предметов: живописью, математикой, русским языком, французским, историей, географией, архитектурой, немецким, артиллерией и фортификацией, отчасти танцами, музыкой и театральным искусством. В живописных классах Тревогин был первым учеником. Но "рачительного директора училища" сменил другой директор — "человек военный, ничего не знающий из наук", он так распустил вверенное ему заведение, что "с двух тысяч учеников не находили более во всех училищах ста человек". Учеников директор использовал в качестве бесплатной рабочей силы для своих нужд. Собственно, рассказ Тревогина о школе сводится в основном к его конфликту с этим директором, сделавшим "на век его нещастным".

Диссонансом звучат воспоминания С.Н. Глинки об обучении в сухопутном кадетском корпусе, куда он был определен шестилетним и из стен которого кадеты не выпускались вплоть до окончания учебы, продлившейся у Глинки тринадцать лет. В воспоминаниях предстает череда мудрых учителей и воспитателей, любивших детей, чутко относившихся к их нуждам, наставлявших их в нравственности и науках. "В XVIII в. уверяли, — пишет Глинка, — что воспитание не достигло своей цели оттого, что в училище надо забывать занятое в свете, а в свете отбрасывать приобретенное в училище. Но учение графа Ангальта (начальника кадетского корпуса. — *О.К.*) развивалось в понятиях его питомцев на всех путях жизни". Сухопутный кадетский корпус, основанный при императрице Анне Иоанновне и реорганизованный при Екатерине Великой, оценивался как лучшее учебное заведение и другими. С.А. Тучков, которого сначала родители хотели определить в него, но мать не решилась на долгую разлуку с сыном, писал, что в кадетском корпусе "больше идет наук, потребных в общественном воспитании и для военной службы, там же французский и немецкий языки довольно хорошо были тогда преподаваемы. А особливо потому, что

известные ученостью своею люди не только в России, но и во всей Европе находились тогда там в качестве учителей". О кадетском корпусе Тучков мог судить не понаслышке, там учился его родной брат.

Не только дворянское образование, но и образование духовенства претерпело большие изменения в XVIII в. Если в Древней Руси духовенство не имело специального образования и знание церковных служб передавалось по наследству от отца к сыну, то начиная с петровских времен (с 1721 г. — по Духовному регламенту) стали во множестве открываться в России семинарии при архиерейских домах[32], высшее образование получали в Славяно-греко-латинской академии. В Малороссии школы для духовенства существовали намного раньше, здесь же действовала Киево-Могилянская академия. Обучение проходило на латинском языке и преподавали богословские науки, ранее неведомые российскому духовенству. Священники были обязаны давать своим детям образование, иначе те не могли вступить в сан или поступить в гражданскую службу.

О своем обучении особенно подробно пишет виднейший церковный деятель XVIII в. митрополит московский Платон Левшин, законоучитель цесаревича Павла Петровича. В воспоминаниях он являет собой пример истинно просвещенного владыки. Большую роль в образовании Левшина сыграл его отец, в то время священник Коломенской епархии, приложивший огромные усилия, чтобы перевести сыновей из Коломенской семинарии в Славяно-греко-латинскую академию в Москве. Таким нетипичным для духовенства поведением он удивил чиновников Консистории, сказавших ему: "Ну! Ты прямо отец детям; здесь мы не можем обирать денег от священников, кои просят, чтобы их детей в школу не брали, а от тебя не можем отвязаться, чтобы детей твоих в школу определить". Автобиография Платона Левшина совсем не напоминает собою Житие, что, казалось бы, могло быть свойственно воспоминаниям духовного лица, такие черты мы скорее обнаруживаем в воспоминаниях купца А.П. Березина. Иначе говоря, митрополит Платон не уделяет особого внимания собственным добродетелям, любви к Богу и похвальному благочестию, в его жизни не было никаких проявлений богоизбранности. И в детстве в отличие от святых он был склонен к "отроческим играм и резвостям". Главное, что ставит себе в заслугу Платон Левшин, это страсть к учению и большие успехи в нем, которыми он явно гордится и представляет их как образец для духовного деятеля. Например, он пишет, что смог выучиться "в две недели

[32] См.: *Знаменский П.В.* Духовные школы в России до реформы 1808 г. Казань, 1881.

читать и писать по-латыни", "в прочих же во всех науках, в Академии преподаваемых, был Левшинов отлично успешен, и из всех товарищей почитался первым".

Совершенно иной путь до получения священнического сана прошел малороссийский священник и сын полкового сотника Илья Турчиновский, старший современник Левшина. Принадлежащее его перу одно из самых ранних автобиографических повествований отражает похождения школяра, переходящего из одного города в другой "для повидания более света и учения". В пути он претерпевает различные злоключения, меняет множество школ и учителей, учится и в православных монастырях, и у иезуитов, сам подрабатывает и учителем малолетних, и писарем, и церковным певчим. Подобное ученическое скитальчество было типичным для юго-западных областей России.

Г. Добрынин, сын священника, живя при своем деде в малороссийском монастыре под г. Севском, "выучился не только читать, но и писцом уже у монахов прослыл". Дед искал возможностей для дальнейшего обучения внука, но ближайшая семинария находилась в Москве, "а университеты и гимназии не для нас, — пишет Добрынин, — да правду сказать, мы с дедом ни о чем этаком, чего нет, и помышлять не могли"[33]. Пришлось пройти долгий путь практического обучения канцеляристом в различных конторах, но тем не менее Добрынин добился больших успехов на чиновничьем поприще, получил право личного дворянства и чин губернского прокурора и стал весьма начитанным и образованным человеком.

Многие авторы отмечают свою чрезвычайную охоту к учению, свое желание обучаться рисованию, географии, истории, удовлетворить которые за отсутствием учителей небогатым родителям было гораздо труднее, чем познания в иностранных языках, требовавшие лишь приглашения иностранца, или в математике, где мог быть использован мало-мальски умеющий считать солдат. Книг — первейших помощников в детском обучении — также было недостаточно. Мало кто из авторов вспоминает свое детское чтение, и нет ни единой строчки о детских книгах, которые в XVIII в. уже начали издаваться, но были доступны, видимо, очень малому кругу семей. Некоторые упоминают о том, что их горе-учителя не имели при обучении никаких учебных пособий и что вообще книги было достать трудно. Платон Левшин "превеликую охоту имел к чтению книг, но книг дома никаких не было, купить было не на что, из Академии книг никаких не давали". Поэтому он "читал все книги, какие в церкви могли найтись" и занимал книги у товарищей. Но, например, учебника греческого языка для собственного пользования ему не удалось достать и пришлось учебник переписывать от руки. А.Т. Болотов, найдя у отца ящик с книгами, "добрался до оного как до некоего сокровища, но, к несчастью, не нашел я в них для себя годных, кроме двух". Интересно, что и Левшин и Болотов вспоминают одну и ту же книгу, "Историю об Александре Македонском" Квинта Курция, и восхищаются ею.

[33] Истинное повествование, или жизнь Гавриила Добрынина, им самим написанная. С. 12—13.

Гораздо больше возможностей доступа к книгам имели учащиеся в школах, где были библиотеки. С.Н. Глинка, исполнявший должность библиотекаря в кадетском корпусе, рассказывает о своей губительной страсти к чтению: "читал, чтобы только читать". Он упоминает множество книжных изданий новых и древних авторов, перебывавших у него в руках во время годов учения.

Тяга к чтению, проявившаяся в детском возрасте, компенсировала недостатки образования, а знания языков позволяли обращаться к сокровищницам европейской литературы. Несмотря на то, что авторы воспоминаний жаловались на низкий уровень образования во времена их ученичества, они стали людьми знающими и хорошо образованными. Видимый парадокс сочетания убогости обучения в детстве с литературным мастерством и широкими познаниями авторов воспоминаний наводит на размышления о том, что не столько благоприятные условия для образования, сколько желание получить его имеет решающее значение. Нам также стоит поостеречься от прямолинейных выводов, что столь изобильное изображение непрофессиональных учителей и слабых школ есть признак времени, свидетельствующий о низком уровне образованности в начальный период становления Просвещения в России. Достаточно обратиться к воспоминаниям более поздних эпох и мы увидим не менее резкую критику и учителей дореволюционной гимназии, и советской школы. Просто хорошие учителя, как и хорошие школы, всегда в меньшинстве, их всегда не хватает.

"ТУТ ОТЕЦ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ВОСПИТАНИЕ МОЕ"

Младенчество, или первый возраст детства, заканчивающийся между 5—7 годами, в основном вспоминается как самый счастливый, беззаботный период жизни. Считалось, что в этом возрасте ребенок — существо неразумное и безгрешное, ему все позволяли и его баловали. Занимались в это время детьми исключительно женщины: матери, бабушки, сестры, няньки или гувернантки. Их любовь и ласки, кормление лакомствами, "потачки" во всем остаются одновременно сладост-

ным воспоминанием и подвергаются критике как "непедагогические". "Беспечные дни мои текли в лакомствах под крылом бабки моей... на меня, баловня, никому из домашних нельзя было ни прикрикнуть, ни пригрозиться, — вспоминал С.Н. Глинка. — ...Отчего при этом рассказе не хочется отстать ни перу, ни сердцу? Что приковывает их к нему? Память о любви сердечной". А.Т. Болотов пишет о таком периоде младенчества более критически: "Что касается до начала воспитания моего по отнятию от кормилицы, то было оно обыкновенное. Превеликая нега следует всегда за любовью, которую матери имеют к детям своим. Мать моя крайне меня любила и не оставляла всяким образом нежить, через что допустила вкорениться во мне многим худым привычкам. Упрямство было первое, которое тогда корень свой и пустило, умалчивая о прочих. Блаженны дети, о коих родители их в самом младенчестве так пекутся и о исправлении их нравов старание прилагают".

Но "золотой период" детства заканчивался с началом серьезного учения и воспитания, когда мальчики переходили под власть и попечение мужчин — отца или родственников мужского пола, учителей и дядек. Из женских покоев ребенка переселяли в мужские. С этого времени его начинали строго наказывать, полностью подчиняя воле воспитателей. Обычно этот резкий переход из одного состояния в другое был для детей очень болезненным. "Мне минуло 8 лет, — пишет И.М. Долгорукий, — и пора приходила уже вверить мое воспитание мужскому полу... ребячество мое, сие счастливейшее время жизни, пролетело как миг. Всякий возраст имеет свои печали; это — первая, которую я испытал, умея уже чувствовать различие между словами: *весело* и *грустно*". Как похоже это на воспоминания Льва Толстого, пережившего сходное состояние более чем на полвека позднее.

Момент принятия решения отдать сына в обучение под начало учителей действительно являлся для ребенка "грустным" и очень важным, определяющим дальнейшую судьбу. Переход от младенческих забав к учебе сопровождался и началом "мужского" воспитания детей: на смену материнскому "ласканию" приходила отцовская суровость. Она никем из авторов не осмысливается как жестокость, таков был принятый стереотип мужского воспитывающего поведения, выражавший отеческую заботу о детях.

Характерен в этом отношении рассказ И.М. Долгорукого. Повествуя о детских летах, он постоянно отмечал любовь и заботу о нем отца, его старания дать сыну хорошее образование. И только когда Долгорукий уже заканчивает повествование о детстве, выясняется, что отношения с отцом все это время были далеко не безоблачными и дань уважения к нему, отраженная в воспоминаниях, есть результат взрослого осмысления отцовского

поведения. Вот что пишет Долгорукий, рассказывая о том, что его близкие к 18 годам перестали относиться к нему как к недорослю: "Батюшка перестал обращаться ко мне с одними угрозами и управлять мною орудиями страха: он допускал уже меня до рассудительной беседы с собою, давал мне наставления и укорял с любовию, без вспыльчивости гневной. Матушка жаловала меня с нежностью, но без поблажек. Мамы (няньки. — *О.К.*) не прикармливали меня пряниками тихонько, а дядьки не дирали меня за уши за все про все. Совере (учитель Долгорукого. — *О.К.*) увещевал меня, но уже не стращал: все переменилось во мне и вкруг меня". Сам того не желая, именно здесь И.М. Долгорукий отражает отношение к воспитанию ребенка, существовавшее в его семье, весьма типичное для его времени. Мужская часть воспитателей действует на мальчика "орудиями" страха, не опускаясь до "доверительных бесед", не обращая внимания на его желания и склонности. Женская половина дома балует ребенка.

А.Т. Болотов, отмечая многочисленные старания отца о его обучении, также пишет, что держался он с сыном строго и отстраненно. "Любил он нас, — пишет Болотов, — потолику, сколько отцу детей своих любить должно, но без дальнего чадолюбия и неги. Он сохранил от всех детей своих к себе любовь, однако и страх и почтение". Подобен же и стиль поведения отца С.А. Тучкова: " Отец мой был всегда занят предприятиями по службе его, был несколько угрюм и не всегда приветлив; такова была большая часть военных людей того времени; притом и не любил заниматься своими детьми в малолетстве их. Но он был совсем иначе к ним расположен в другом нашем возрасте". Отцы определяли стратегию образования детей, намечали с детства их карьеру, подбирали учителей или устраивали в школу, следили за их успехами и поведением и, если те были неудовлетворительными, то наказывали, но они не были близки с детьми, особенно с сыновьями, внутренний мир их детей до времени был им чужд и неинтересен. Но отношения менялись и становились доверительными и дружественными, когда подросток превращался в юношу. Воспоминания побуждают нас реконструировать такой образ поведения с детьми отца как наиболее типичный, не давая нам других образцов. Впрочем, С.Н. Глинка вспоминает о своем дяде, который сам взялся за обучение грамоте малолетнего племянника и повел его к учению "стезею ласки и любви".

Образы заботливого, но сурового батюшки и любящей, ласковой матушки вообще типичны для русской традиции, они же возникают и в воспоминаниях[34]. Ломает этот стереотип, меняет местами роли отца и матери Надежда Дурова в "Записках кавалерист-девицы". В целом же о

[34] *Пушкарева Н.Л.* Мать и дитя в русской семье XVIII—начала XIX в. // Социальная история. Ежегодник. 1997. М., 1998.

родителях обычно пишется с уважением и благоговением к их памяти, мало кто осмеливается на какие-либо нелестные замечания в адрес родителей. Их образ жизни и поведение традиционно считались главным в воспитании ребенка, который склонен подражать наблюдаемым им в детстве примерам. "Пример наставления всякого сильнее: он и скотов следовать родителям учит", — писал поэт Антиох Кантемир в Сатире "О воспитании"[35]. Но сколь трудно осуществлять эту педагогическую заповедь на деле! Далеко не всякий родитель являлся образцом нравственности, хотя в воспоминаниях родители предстают в наилучшем свете. Собственно говоря, в детстве судить о родительском поведении было трудно, окончательно образ родителей складывался уже во взрослом возрасте, который и помещался в виде "парадного портрета" в воспоминания. Таково изображение нравов, характера и жизненных принципов отца в автобиографии А.Т. Болотова. Платон Левшин рассказывает об отце и матери с тем, чтобы "свойства родителей и в нравах рожденного от них некоторым образом были видимы". Всю жизнь образцом для подражания оставалась для А.Е. Лабзиной ее благочестивая и самоотверженная мать, которая воспитывала девочку в тяжелом труде, простоте быта, физической закалке и душевном милосердии. "Она ничего того меня не заставляла делать, чего сама не делала", — вспоминает Лабзина. Мать полагала, что если дочери выпадет трудная жизнь, то она при таком воспитании "всем будет довольна и все вытерпит... А ежели будет богата, то легко привыкнет к хорошему". Действительно, в дальнейшем дочь не боялась трудностей, но, однако, непросто осваивалась в "хорошей" жизни. В семье И.М. Долгорукого примером высокой нравственности являлась бабушка Наталья Борисовна Долгорукая: "она одарена была характером превосходным и приготовлена от юности к душевному героизму". Ее сын также ставится в пример для подражания потомкам: преследуемый неудачами, он, "твердый в религии, не унывал".

Родительская любовь, или "чадолюбие", — важнейшее обстоятельство для жизни ребенка, и авторы его не обходят молчанием, но в ряде случаев они отмечают, что кого-то из детей родители, бабушки и дедушки любили больше или меньше. Б.И. Куракин, например, писал: "...имел я отца бóльшую любовь пред другими детьми". Также и Н.Б. Долгорукая полагала, что "была очень любима у матери своей", гораздо более, чем ее сестры. Г.Р. Державин отмечал, что "мать любила более

[35] *Кантемир А.Д.* Сатира VII. О воспитании. К князю Никите Юрьевичу Трубецкому // Русская литература XVIII века (1700—1775): Хрестоматия / Сост. В.А. Западов. М., 1979. С. 79.

меньшего (сына. — *О.К.*), а отец — старшего". Н.Я. Трегубов пишет о матери, что она "имела пристрастие к некоторым из детей (которых родила 19 человек. — *О.К.*), из чего происходило два зла: тех, которых любила, баловала и через то делала их порочными и невеждами, а тех, коих не так любила, оставляла без призрения и в нужде и тоже порочными". С.Н. Глинка вспоминал: "Лелеяло меня и сердце матери моей, но по нежной ее заботливости о старшем моем брате я видел, что оно ближе было к нему. Не понимал я тогда, что это была зависть, а мне было досадно". И.М. Долгорукий утверждал, что "чадолюбие наших родителей простиралось на всех четверых в одной и той же мере". Почти во всех случаях такое разное отношение родителей к детям порождало напряженные отношения между братьями и сестрами, но эта тема остается слишком интимной, чтобы писать о ней особо, она лишь иногда прорывается между строк[36].

Любовь родителей ни в коей мере не противоречила получаемым от них суровым наказаниям. Не так уж прав оказывается Н.Я. Эйдельман, говоря о выросшем после 1762 г. "непоротом" поколении дворянства: в детстве через порку прошли многие его представители.Телесные наказания упоминаются как вещь сама собой разумеющаяся, не они обычно являются сюжетом рассказа, а различные шалости и проступки, часто опасные для здоровья, за которыми от родителей следовала заслуженная порка. Наказания воспринимались как горькое лекарство, необходимое для выздоровления больного. Побои, переносимые от учителей, тем более рассматривались как вполне естественное явление, и дети, и родители относились к ним как к должному и неизбежному. Квитко-Основьяненко в "Пане Халявском" изображает все попытки любящей матушки избавить своего сына от наказаний в школе подкупом и подарками учителю. Но ничего не получается, ибо таков "закон" учения. "Я не могу закона переменить, — в итоге говорит потерпевшая неудачу матушка. — Жалуйся на своего отца, что завербовал тебя в эту дурацкую школу. Там не только я, но и пан Кнышевский (учитель. — *О.К.*) не властен ничего отменить. Не от нас это установлено"[37]. Такое же отношение к наказаниям отражается и в реальных воспоминаниях. "Я мнил тогда, что необходимо при учении терпеть надлежит наказание", — пишет М.В. Данилов, рассказывая, как секли его в школе. А.Т. Болотов

[36] С.Н. Глинка писал: "Почтенный мой цензор... желал, чтобы я выпустил рассказ о брате. Нельзя, ведь мы не в патриархальные живем времена. Разрыв родства — история нашего времени" (Золотой век Екатерины Великой. Воспоминания. М., 1991. С. 135—136).

[37] *Квитко-Основьяненко Г.Ф.* Пан Халявский. М., 1978. С. 80.

описывает ужасные сцены, как его, ни в чем не повинного ученика, истязал учитель: "Немец мой сделался тогда сущим извергом: он не только иссек немилосерднейшим образом хворостинами по всему телу, без всякого разбора, но грыз почти меня зубами и терзал как лютый зверь, без всякого человечества и милосердия". Мать, прознав об этом, "дала за то превеликую гонку" учителю и поссорилась из-за этого с отцом. Отец же, "не узнав всей истины, не уважил сего дела по достоинству" и дал таким образом возможность "извергу" и впредь "предпринимать дела тому подобные".

Н.Я. Трегубов рассказывает, что он с братом был оставлен родителями на воспитание дядьке, "человеку умному, но суровому". Честно выполняя свой долг воспитателя, дядька сек их систематически по субботам, даже если они "ничего такого не сделали, чем заслуживали бы наказания". Производил порку он из лучших побуждений, "чтобы впредь не сшалили чего, думая тем содержать нас более в страхе". Причем дядька знал, что родители не одобряют таких наказаний, поэтому "всегда секал сквозь мокрую салфетку, дабы не было знаков". Однако родители все равно узнали и его бранили. "Вот, — пишет Трегубов, — что следует, когда родители не пекутся о своих детях, а отдают их на попечение слугам". Но собственно вред таких наказаний Трегубов видит в том, что они были систематическими и несправедливыми. Он считает, что его брат, которого наказывали чаще, стал "великим шалуном" оттого, что привык к наказаниям и уже не боялся их[38].

Подобные ноты осуждения наказаний звучали лишь тогда, когда они были несправедливыми или чрезмерно жестокими. Платон Левшин пишет, что "от отца был наказан, с большею, может быть, строгостию, нежели бы возраст лет и живость младенческого свойства дозволяли; однако и сию строгость матери ласковые увещевания приводили в умеренность". Но и матери при отсутствии отцов, следуя вышеупомянутому "закону", вынуждены были прибегать к наказаниям. Мать А.Е. Лабзиной "жестоко наказывала" старшего сына за его упрямый нрав, мать Г.С. Винского постоянно секла его "за шалости и непрестанные проказы". Несправедливое наказание за несовершенный проступок, в отличие от заслуженного, оставляет чувство жестокой обиды, которая выливается на страницы воспоминаний А.Т. Болотова, М.В. Данилова, И.И. Тревогина.

И.М. Долгорукий, анализируя свои детские проступки, особенно останавливается на размышлениях о том, что из них заслуживало наказаний, а что нет. К детским шалостям, к нечаянным проступкам лучше

[38] *Трегубов Н.Я.* Дела давно минувших лет (записки сенатора Н.Я. Трегубова) // Русская старина. 1908. № 11. С. 311.

относиться со снисхождением, проявление же ребенком "порочности" требует искоренения. В качестве примера последнего он рассказывает, как его чуть было не пристрастили к игре в карты, в которой по малолетству он не видел ничего плохого. Наставник за эту игру его строго наказал, но автор воспоминаний приносит ему свою, уже взрослую, за то благодарность, поскольку первая карточная игра "была только ребячеством, но могла укорениться и сделаться страстью подлой, низкой. Подобные покушения тушить должно с первой искры". Долгорукий искренне сожалеет, что другой его порочный проступок остался без наказания: мальчик брал с отца больше денег, чем отдавал своим учителям, и тратил их на лакомства, к которым имел большое пристрастие. Но тут наказанием стала проснувшаяся в нем с возрастом совесть: "Чем полнее была ко мне доверенность отца моего, который лучше обо мне думал, нежели сколько я стоил, тем чувствительнее я в поступке моем раскаивался, пришедши в возраст". Свои же долги кондитерам и прянишникам И.М. Долгорукий называет "только шалостью", поскольку тут не было обмана. За них совершенно справедливо по приказу батюшки его "секали свежими прутьями".

Дети воспитывались не только в страхе перед отцом и учителями, но в первую очередь в "страхе Божьем". Каждому ребенку внушали с измальства то, о чем пишет А.Е. Лабзина: "Мне было всегда твержено, что Бог везде присутствует и Он видит, знает и слышит, и никакое тайное дело сделанное не останется, чтоб не было обнаружено; то я очень боялась сделать что-либо дурное".

Воспитание в строгости делало детей особенно чувствительными к похвалам и поощрениям. Мать А.Е. Лабзиной, хотя дочь и очень любила, "но не показывала часто больших ласк; но уж за то сколько я ценила ее ласки, — пишет дочь, — когда она меня ласкала за сделанное какое-нибудь доброе дело". Мать Г.Р. Державина учила сыновей чтению, "поощряя к тому награждением игрушек и конфект". А.Т. Болотову удалось год прожить в немецком доме, где было принято не строгостью воспитывать, а "ласкою и благоприятством". Это время он почитал за лучшее в своей жизни и здесь "из прежнего презрезвого баловня сделался постоянным мальчиком, обещающим собою многое". Причиною "великой радости" для него было и получение от отца, который был "скуп на раздачу чинов", нового воинского чина. Подготовку к первой самостоятельной университетской речи 14-летнего И.М. Долгорукого переживали вместе с ним и все его домашние. Родители присутствовали при ее произнесении и "слезы их с избытком вознаграждали меня за все мои беспокойства".

Наказания и поощрения — две важные стороны процесса воспитания, уравновешивающие друг друга. "Ласковость больше в один час детей исправит, чем суровость в целый год", — писал Антиох Кантемир. Поощрения, как и наказания, действенны лишь тогда, когда они справедливы и не преступают разумной меры. В противном случае от излишних похвал происходит вред. "Не поддразнивайте ребяческого самолюбия неуместными похвалами", — пишет С.Н. Глинка, вспоминая, как бабушки задаривали его гостинцами за успехи в чтении и что из этого вышло: "...поднялись родные ссоры. ...брат косо на меня поглядывал..." Возникла зависть. Глинка отмечает, что дети имеют свои оценки происходящего и, видимо, брат тут занял свою позицию, отличную от бабушек: "У детей есть свой суд, свой смысл, своя расправа".

Особое место в воспоминаниях занимает сюжет борьбы отцов с детскими страхами. Если какие-либо добродетели и упускались в воспитании ребенка, то воспитание храбрости в дворянском сыне — будущем воине — было делом чести отца. И тут не допускалось никаких исключений или поблажек. Но у тех авторов, которые зарисовали в воспоминаниях сценки подобного воспитания, они оставили не только неприятные эмоции, но и сомнения в правильности применяемых методов борьбы со страхами. К этим авторам относятся И.М. Долгорукий и А.Т. Болотов. Возможно, что их воспоминания отчасти навеяли рассуждения Руссо об искоренении в детях обычной для них боязни темноты и проч. Руссо советовал применять метод игры, излечивать страхи медленно и постепенно, Долгорукий и Болотов столкнулись в детстве с иными методами, резкими и суровыми. Они, по их мнению, принесли обратный результат, закрепляя страх или отвращение на всю жизнь.

Долгорукий рассказывает, что его отец "хотел, чтобы я ничего не боялся, и строгие предпринимал средства". Например, он посылал мальчика одного ночью на кладбище "и сам, стоя на крыльце, смотрел вслед за мною". Результат был таков, что "никогда не возвращался я оттуда домой без трепета и нервической судороги". Долгорукий предлагает вниманию и следующий эпизод: "...однажды батюшка приказал мне взять жука в руки, я не послушался от страха; батюшка принудил и я взял, но затрясся и побледнел. И теперь не могу я видеть этого насекомого". К таким же воспитательным методам прибегал и отец А.Т. Болотова, борясь с паническим ужасом сына перед пушечными выстрелами, проявившимся вследствие внезапной стрельбы у него над головой. Отец высмеял мальчика за трусость и, вспоминает Болотов; "хотел было приказать продолжать стрелять и меня вести туда опять, чтоб приучить к стрельбе, однако гости упросили уже сего не делать". В следующий раз, когда производилась стрельба во время празднования Пасхи и малолетний Болотов сбежал от нее подальше, избежать отцовской воли ему уже не удалось: "Покойный родитель мой поставил меня уже пред собою на скамейке, и я во время стреляния из пушек... хотя со всяким выстрелом приседал, но принужден был выдержать все оное, не зажимая даже и уши". Но и в дальнейшем Болотов продолжал убегать, едва завидя столь милые сердцу его отца пушки. Выстрелами из ружья стращал мальчика и учитель, "ведая, что мне стрельба была всего страшнее"[39].

Еще одним испытанием храбрости для дворянских детей было приучение их в очень раннем возрасте ездить верхом. Конь, даже смирный, не чувствовал маленького седока и не подчинялся ему, многим пришлось пережить страх на несущейся без управления лошади и травмы от падения. Шестилетний кн. Б.И. Куракин верхом на коне сопровождал своего отца, едущего на воеводство: " И на выезде в тот поход из Москвы, у Креста, по Троицкой дороге[40] мне припало великое несчастье: упал на скаку с иноходца, который мне дан был с конюшни государевой. С которой спадчи, а одна нога в стремени завязла. И таскала, аж пока сама стала, и так всю спину ободрала, аж тот убой мне не пришел к самой смерти". А.Т. Болотов чуть не погиб от падения с ло-

[39] Приведем еще один яркий пример подобных воспоминаний о борьбе родителей с детскими страхами. Он принадлежит известному педагогу Е.Н. Водовозовой (1844—1923), детство которой пришлось на середину XIX в.: "Будучи для своего времени человеком передовым и сознавая весь вред предрассудков, господствовавших тогда в русском обществе, он (отец. — *О.К.*) всеми силами старался искоренить их в своих детях. Он строго запрещал стращать их мертвецами, оборотнями, вообще говорить что бы то ни было несообразное со здравым смыслом. К числу предрассудков он относил боязнь темной комнаты и грома, — страх перед тем и другим он старался уничтожать несвойственными его мягкой натуре суровыми мерами, от которых сам страдал и которые иной раз приносили его детям не менее вреда, чем самые предрассудки. Одна из моих сестер, десяти-одиннадцатилетняя девочка, особенно болезненно относилась к грому и грозе. Когда небо заволакивалось свинцовыми тучами, она бросалась в постель и накидывала на голову что попало под руку. Но отец насильно тянул ее на двор: девочка билась у него в руках, кричала, плакала... У отца при этом текли слезы из глаз, он нежно укутывал ее в платок, но крепко держал и оставлял под открытым небом. Однажды он вытащил ее во время сильной грозы. Сестра умоляла пустить ее в комнаты, кричала, тряслась, вдруг упала на землю, и с ней сделался припадок, вроде падучей. Отец был в отчаянии, но в первый же раз, когда снова разразилась гроза, опять начал уговаривать ее и тащить с собой, пока этой педагогической мере не положила конец матушка. Ее здравый смысл восторжествовал: она вырвала у мужа трепещущую девочку и резко накричала, что она ни за что более не позволит ему сводить с ума детей" (*Водовозова Е.Н.* На заре жизни. М., 1987. Т. 1. С. 64—65).

[40] Сейчас — Крестовский мост через железнодорожные пути на проспекте Мира.

шади в 9 лет, а несколько позже был взят отцом на охоту ("как и в тогдашнее время, — замечает при этом Болотов, — была такая же у многих глупость, какою заражены многие и ныне, то есть чтоб брать с собою на охоту маленьких детей") и здесь, скача на лошади, упал с нее и "повис одною ногою в стреме". Лишь благодаря случайности дело кончилось благополучно.

Вообще отцы и другие родственники-мужчины, судя по воспоминаниям, часто не хотели учитывать детский возраст своих сыновей, заставляя их исполнять дела, приемлемые лишь для взрослых. Поведение же матерей подтверждает справедливость поговорки XVIII в.: "О породе детей лучше знают матери, нежели отцы"[41]. Например, отец Ильи Турчиновского, уйдя в военный поход, оставил хозяйствовать за себя малолетнего сына, а вернувшись и обнаружив непорядок, жестоко наказал его, "чего я, — замечает Турчиновский, — в младых летах не мог разуметь". Дядя М.А. Муравьева отправил детей с малолетним же слугою одних на телеге из Петербурга в новгородское имение к матери, им было страшно ехать через ночной лес и они чуть не заблудились. Мать явно не одобрила такой поездки и "вскричала", увидев детей, "хто де вас отправил таких малых?" Родственники М.В. Данилова во время длительной зимней поездки в Москву поставили его на задок кибитки, где мальчик чуть насмерть не замерз: "забыли они тогда, что мне не было больше десяти от роду лет". Рассказы подобных эпизодов для многих авторов не случайны, сами они осознают, хотя прямо и не формулируют, необходимость для старших учитывать незрелость и "нежность" детского возраста и не спешить равнять детей со взрослыми в их поведении.

Несмотря на строгость воспитания и многие муки от него перенесенные, несмотря на трудность и поверхностность обучения, лишь в единичных случаях авторы воспоминаний в чем-то упрекают своих родителей. Жизнь в семье вспоминается с удовольствием, нежностью и любовью, родителям воздается дань благодарности, их образы стараются запечатлеть для потомков. Родительское благословение, сделанное перед смертью, свято поминается, как и последние наставления, обычно при этом произносимые. Во многих вариантах, записанных в воспоминаниях, главным всегда остается одно — надейтесь на Бога и он вас не оставит.

Иное отношение у многих к учителям и учебным заведениям. Следует сказать, что в школах, гимназиях и университете занимались только обучением детей, но никак не их нравственным воспитанием.

[41] *Курганов Н.* Краткие замысловатые повести. С. 9.

Воспитание оставалось как бы делом домашним, а для тех, кто жил не дома, а на пансионе у родственников или просто чужих людей, все зависело от того, в какую семью попадал школьник. Но иначе обстояло дело в закрытых учебных заведениях, кадетских корпусах и Смольном институте — они заменяли ребенку дом, и стараниями И.И. Бецкого и Екатерины Великой воспитание здесь старались дать по европейским образцам. "Счастливый выбор Бецкого, — пишет С.Н. Глинка, — дал нам в надзирательницах вторых матерей, ...с каким умным рачением выбирал он людей для нашего воспитания".

"ЛЮДСКОСТЬ", ИЛИ СВЕТСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Образование дворянства предполагало получение не столько научных знаний, малозначимых для военной службы, сколько практических навыков (инженерных, артиллерийских, навигационных и пр.) и умение вести себя в светском обществе. Это была совершенно новая сфера обучения дворянина, появившаяся вместе с реформами Петра Великого. Традиционные навыки общественного поведения, типичные для средневековой Руси, с этого времени претерпели разительные изменения, они становились по-европейски цивилизованными. «Русское дворянство, — писал Ю. Лотман, — после Петра I пережило изменение, значительно более глубокое, чем простая смена бытового уклада: та область, которая обычно отводится бессознательному, "естественному" поведению, сделалась сферой обучения. Возникли постановления, касающиеся норм бытового поведения, поскольку весь сложившийся в этой области уклад был отвергнут как неправильный и заменен "правильным" — "европейским"»[42]. Особенно старательные родители уже из младенца стремились сделать галантного кавалера. В трехлетнем возрасте, вспоминает С.А. Тучков, "не упускали из вида учить меня делать учтивые поклоны, приучали к французской одежде, из маленьких моих волос делали большой тупей, несколько буколь и привязывали кошелек".

Вхождение в светское общество требовало от дворянина не столько учености, сколько умения соответственно себя вести, определявшегося тогда словом "людскость". Танцы, фехтование, навыки езды верхом и знание того, как быть "обходительным" и "галантным" становились необходимыми в обучении дворянских детей. Этому, по рассказу Г.Р. Державина, придавали большое значение в Казанской гимназии, "что сде-

[42] *Лотман Ю.М.* Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Учен. зап. Тарт. ун-та. № 411. Труды по знаковым системам. № 8. Тарту, 1977. С. 66.

лало питомцев хотя в науках неискусными, однако же доставило людскость и некоторую розвязь в обращении". Светское поведение не ограничивалось знанием норм этикета, оно должно было быть естественным и непринужденным, жестко контролирующим собственные эмоции, уверенным и одновременно мягким[43]. "Очевидно, что умение держать себя — из тех умений, что передается только из рук в руки, путем наблюдения и непроизвольного подражания, впитывания в себя атмосферы той среды, где это умение было развито до уровня искусства"[44].

Особого труда стоила выработка новых норм женского поведения в обществе, в которых стремились сочетать традиционные смирение и благонравие с любезностью и обходительностью, умением поддерживать беседу, танцевать и музицировать. Кн. Черкасская сватавшим в 1724 г. ее дочь Куракиным отвечала, что дочери "еще не пришло время, молода, не обуч[ена] всякой политике (т.е. поведению в обществе. — *О.К.*)"[45]. Даже в патриархальных семьях родители вынуждены были обучать дочерей танцам, музыке, светскому поведению, иначе они не могли войти в общество. А.Е. Лабзину мать воспитывала православно-традиционно в благочестии, смирении, милосердии, и когда она, выйдя замуж, приехала из провинции в Петербург, то оказалась неподготовленной к светской жизни. Лабзина вспоминает, что чета Херасковых, у которой она поселилась, "увидя мою детскую невинность и во всем большое незнание, особливо что принадлежит к светскому обхождению, начали меня удалять, когда у них бывало много гостей... В гости никуды не брали, ни в театры, ни на гулянья"[46]. Здесь она впервые узнала, что "не все надо говорить, что думаешь", не принимать всерьез мужские комплименты, не выбирать знакомства, исходя только из своего вкуса, и многое другое. Мать В.Н. Головиной (в девичестве кн. Голицыной) не могла дать дочери "блестящего образования", но воспитывала ее в строгих правилах нравственности ("мне строго запрещалось лгать, клеветать на кого бы то ни было, невнимательно относиться к несчастным, презирать наших соседей"), а также учила ее любезному обхождению: "едва мне минуло восемь лет, матушка стала нарочно оставлять меня с ними (соседями. — *О.К.*) одну, чтобы я приучилась их занимать". Однако в десять лет простое воспитание в деревне сказывалось на ее поведении: "у меня не было тех изящных манер, которыми

[43] См.: *Муравьева О.С.* Как воспитывали русского дворянина. М., 1998.
[44] Там же. С. 170.
[45] Памятники московской деловой письменности XVIII века. М., 1981. С. 49.
[46] *Лабзина А.Е.* Воспоминания. Описание жизни одной благородной женщины // Россия в мемуарах. История жизни благородной женщины. М., 1996. С. 46.

обыкновенно обладают молоденькие барышни: я любила прыгать, скакать, болтать, что придет в голову".

Светское поведение благородного человека, умеющего быть приятным другим и уважающего себя, взращенное дворянской культурой, ею же оберегалось от того, чтобы быть выхолощенной внешней формой, не имеющей содержания. Отсюда — столь обильная критика тех, для кого понятие "воспитание" оказалось равнозначным только следованию определенным "манерам" и стилю поведения, т.е. "внешнему" воспитанию. Против такого ограниченного понимания воспитания, не принимавшего во внимание мораль и нравственность, звучали голоса во многих сочинениях просветительской направленности. Они находят отклик и в воспоминаниях. Однако эту критику могли себе позволить люди, владеющие искусством поведения человека "дворянской чести", ныне полностью утраченного. Наше общество "простецкого поведения", без изысканных манер, осуждающее даже традиционную американскую улыбку как проявление фальши и предпочитающее ей искреннюю грубость, с удовольствием присоединяется к этой критике "внешнего" воспитания. Не стоит ли нам осмотрительнее отнестись к тому, что ушло навсегда?

"ДОЛЖНО ЧРЕЗ ВОСПИТАНИЕ ДОБРЫЕ СКЛОННОСТИ В ЮНОШЕ ПОСЕЯТЬ"

Автобиография демонстрирует в первую очередь историю воспитания: "как было", а не то, как "должно быть". Рассуждать о последнем не является делом автобиографов, тем не менее некоторые из них забредают "не в свою епархию". Взгляд в прошлое заставляет многих автобиографов предаваться размышлениям о воспитании и обучении своего времени вообще и своем личном опыте в частности. Сосредоточенность воспитания на внешнем поведении, которому придавалось повышенное значение, и сведение образования к знанию иностранных языков многим представлялось уже недостаточным. "Что было сделано для того, чтобы облагородить сердце и развить наш ум?" — вопрошала княгиня Екатерина Дашкова[47], дядя которой ничего не жалел для ее образования. Она специально рассматривала смысл понятия "воспитание" и писала, что "воспитание не в одних внешних талантах состоит: украшенная наружность вкусом и действиями, коими от танцмейстера, от фейхтмейстера и пр. получаются, без приобретения красот ума и сердца есть только кукольство..."[48]

[47] *Дашкова Е.Р.* Записки княгини Дашковой / Под ред. Н.Д. Чечулина. СПб, 1907. С. 5.
[48] *Дашкова Е.Р.* О смысле слова "Воспитание". С. 286.

Образцом сочинений о воспитании, идеи которого широко заимствовались, стал в России трактат "Мысли о воспитании" английского философа Джона Локка (1632—1704), изданный в России в 1759 г. В нем была представлена стройная воспитательная система юношества, направленная на совершенствование умственного, физического и психического в человеке, на развитие умений в практической жизни и добродетельности. Во французских сочинениях подчеркивалась необходимость воспитания полезного обществу гражданина. Так, у Дюкло возможно было прочесть: "У нас много выучки, но мало воспитания; из нас образуют ученых, всевозможных художников; но еще не надумались образовать людей, т.е. воспитывать друг для друга, полагать общее воспитание в основу всякого частного обучения"[49]. И в российском обществе под влиянием французских просветителей стала ощущаться потребность в воспитании нравственно-гражданском, отличном от того, которое в течение веков практиковалось только на основе христианской морали, и к тому же в вертикальном срезе подчинения "старшему" — государю, отцу, начальнику и проч. Г.С. Винский отразил эту внутреннюю потребность следующим образом: «Существенные и необходимейшие для моего благоденствия знания, как святая нравственность и состав людских обществ, или яснее: "чем каждый человек обязан обществу, и наоборот, общество — человеку", до того мне были неизвестны, что я их и в числе наук, до 40 лет моей жизни, не считал».

Н.Я. Трегубов называл "дурным воспитанием" такое, при котором ребенок не получает "никаких правил", и делает критический разбор того типичного для его времени поверхностного воспитания, которое испытал сам: "Воспитание наше состояло в том, что нанимали нам учителей французского языка, и стоим мы нашим родителям довольно дорого. Хотя оный язык способствовал много к просвещению из нас того, кто хотел воспользоваться, и мы должны благодарить родителей, что не жалели денег; но со стороны образования сердца и правил, всякий из нас, если их имеет, то уже сам их себе сделал на свой манер, а при воспитании оное было позабыто. В России много таких, которые и не знают, в чем состоит настоящее воспитание, а особливо по незнанию языков чужеземных им и прочесть о том не случалось. Следственно, понаслышке, что в общежитии называют хорошо воспитанным того, кто говорит чужим языком и знает обращение, тому все и следовали, упуская самое важное, чтобы примером своим образовать сердце своих детей, т.е. кротостию, скромностью, чистосердечием, разными добродетелями, исполняя христианский закон не молением и постом,

[49] Цит. по: *Ключевский В.О.* Два воспитания. С. 17.

но на деле, ибо пример все производит, а не слова, и никакое доказательство без примера сего не подействует. Однако же дети иногда являются с такими пороками, каких родители их не имели, но родители не старались в начале искоренить их, внушая к ним омерзение и стыд, оттого проистекающий, чему натурально воспитанники легко должны бы поверить, не находя таковых пороков в своих родителях"[50]. О каких "правилах" в воспитании пишет Трегубов? О кротости, скромности, чистосердечии и других добродетелях, совершенно очевидных для православного воспитания, которым, например, следовала мать Лабзиной, да и многие другие, верные древнерусским традициям. И предлагаемый им метод воспитания — родительский пример — издревле считался основным в русском воспитании. Об этом можно было узнать из православных книг церковно-учительного содержания, но они, написанные на церковнославянском, как-то ушли из дворянского обихода. И вот Трегубов сетует, что о настоящем воспитании можно узнать лишь из иностранных книг. Действительно, в кадетском корпусе при объяснении священником кадетам катехизиса, гувернер просил его подкреплять свои разъяснения чтением Вольтера, что и было сделано[51]. Какое знаменательное противоречие, свидетельствующее об утрате доверия к собственно русской традиции, опороченной в петровское время, сведенной к посту и молитве, и в то же время — бессознательное следование ей! Трегубов упускает то действительно новое, что содержали сочинения иностранных авторов и на что обращает внимание Г.С. Винский — воспитание на благо общества, служения ему.

Винский вообще весьма чувствителен к проблемам воспитания и образования. Причины, видимо, две: стремление объяснить несчастья своей жизни неправильным воспитанием и учительская деятельность, которой он занимался на склоне лет. Он помещает в воспоминания несколько главок, прямо посвященных проблемам воспитания, которые обращены к родителям вообще и даже "к правительству". Записки Винского выходят за рамки чтения для семейного круга и приобретают публицистическое звучание. Собственный опыт и знакомство в поздние годы с сочинениями французских просветителей дают ему основу для взывания к обществу об исправлении детского воспитания. "О, отцы и матери, и все вы, от коих зависят дети! Войдите в подробнейшее розыскание разности между воспитанием и научением; пекитесь ваших чад прежде воспитывать, потом научать. Знайте, что болтание чуже-

[50] *Трегубов Н.Я.* Дела давно минувших лет (записки сенатора Н.Я. Трегубова) // Русская старина. 1908. № 10. С. 106.

[51] *Глинка С.Н.* Записки // Золотой век Екатерины Великой. М., 1996. С. 56—57.

земными языками, балансирование, прыганье, бряцанье на фортепиано и на гитаре не есть воспитание, но одно научение", — пишет Винский.

"О сколько нужно трудов около ребенка!" — восклицает и И.М. Долгорукий. Сама по себе мысль о том, что воспитывать ребенка *трудно*, говорит о кризисе прежней традиции воспитания и поисках новых путей, которые пробуют освоить воспитатели XVIII в. Ибо для остававшихся верными древнерусским традициям, которые еще были живы, особенно в простых сословиях, не было ничего проще, как назидать ребенка — следовало всего лишь придерживаться правил, существовавших испокон веку, в которых воспитывались и отцы, и деды, а именно — держать ребенка в страхе Божьем, не давать ему ни в чем своевольничать, примерно наказывать за каждый проступок и сообщить ему основные заповеди христианской морали[52]. Суть воспитания традиционно продолжали видеть в борьбе с пороками ребенка. Откуда они берутся? Одни считали, что пороки бывают врожденными от изначальной греховности человека, другие — благоприобретенными от подражания дурным примерам, поскольку новорожденный — "чистая доска".

Многие разделяли взгляд на природу детей как на порочную, например, такую точку зрения можно встретить у Долгорукова, который тем не менее высказывает и понимание особенностей детского возраста, свойственных ему и не являющихся порочными как таковыми. Он пишет, что решил, рассказывая о своем детстве для своих потомков, "откровенно беседовать с ними о шалостях моих, дабы они, когда со временем будут воспитывать детей своих, умели в поступках их различать порочное с умыслу от шалости, свойственной каждому ребенку". Разумная строгость в воспитании, по мнению И.М. Долгорукого, необходима для искоренения пороков в ребенке. "Вечная благодарность родителю моему и наставнику Совере! — без их строгого надзора я мог бы сделаться самым развратным человеком, — пишет он. — Нет ничего труднее, как назидать ребенка". Ни разу не упоминает Долгорукий имени Руссо, но те сюжеты, на которых он останавливается — характеристика детских страхов, детское воровство (у него — сладости, у Руссо в "Исповеди" — вино) и другие — указывают на явное влияние "Исповеди". Долгорукий стремится выделить черты, свойственные детской природе ребенка (страхи, шалости, особые радости и печали), которые не стоит смирять и за которые не следует наказывать. В то же время он отдает дань уважения и старинным методам воспитания, рассказывая о своей бабушке кн. Н.Б. Долгорукой, женщине мужественного и героического характера: "Вот как воспитывали женщин в старинной России!" — заключает Долгорукий.

[52] См.: *Кошелева О.Е.* "Душевное строение" в Древней Руси // Свободное воспитание. Педагогический альманах. Вып.1. Владимир, 1992.

Рисует он и свой детский психологический портрет, дабы показать, какие имел врожденные черты, а чему обязан воспитанием. К своим умственным данным Долгорукий относится критически: "Я был туп, уроки понимал с трудом, лучшее сокровище мое была память". Но запоминание проходило автоматически, поэтому "все забывал назавтра". О своем темпераменте Долгорукий пишет, что он был холерик, по характеру — "открыт, сердоболен, но горяч и страстен, а более всего упрям". От последнего его "жестоко унимали". Долгорукий также сообщает о некоторых своих "натуральных недостатках": он боялся находиться на широком и открытом пространстве, имел физическое отвращение к насекомым и некоторым другим объектам. Родители, как мы уже видели выше, принимали эти его врожденные особенности за капризы и соответственно наказывали за них, что только травмировало ребенка. Даже если бы их пытались не наказаниями, а "исподволь и с мягкостью истребить", все равно не было бы толку, считает Долгорукий. Подо всеми этими рассуждениями о себе скрывается неприятие отцовского воспитания, которое не учитывало индивидуальных особенностей сына и действовало по старинке. Видимо, отцу и в голову не приходило видеть в сыне индивидуальную личность и к ней приспосабливаться.

Рассматривая ту же проблему собственных врожденных свойств и влияния на них воспитания, Г.С. Винский расставляет иные, чем Долгорукий, акценты. Свой детский опыт он представляет в качестве доказательства того, "что человек ничего не имеет врожденного и что все он приобретает, перенимая от тех, с кем живет в теснейшем сообщении". Он пишет о себе, что не имел худых свойств, но и не обладал "отличительно добрыми", "сострадание, благотворение и все сладостные ощущения человеколюбивого сердца, кажется, в сем времятечении моей жизни едва ли были мне известны. Я совершенно не склонен был обижать, себе чужое присваивать, еще меньше хищничать; но вступиться за обижаемого, плакать о несчастии другого, пособить нуждающемуся я точно не умел".

В рассуждениях Г.С. Винского о воспитании прямо проглядывает желание самооправдаться. Он, в отличие от И.М. Долгорукого, который благодарен старшим за свое воспитание, открыто упрекает родителей в том, что, занимаясь по мере сил образованием сына, они не уделяли внимания его воспитанию, и это привело к развитию в нем порочных склонностей и загубило его жизнь.

"Дитя, — пишет Винский, — к десяти годам своего существования являет уже начатки страстей, имеющих некогда образовать его свойство. Сие время есть важнейшее в жизни, потому что тут должно через воспитание добрые склонности в юноше посеять, взрастить, усилить, как дурные возникающие выполоть, по меньшей мере ослабить. Но увы, сии важнейшие дни моей весны протекли без малейшего обработания! Говорили вообще мне быть добрым, тихим, искательным, услужливым; но сделаться таковым предоставляли случаю". Иначе говоря, его натура осталась необработанной резцом воспитания.

Однако проницательно критикуя современное воспитание, Винский, как и другие автобиографы, мало что может предложить нового помимо общих соображений о том, что родители должны уделять воспитанию детей особое внимание и что правительство должно учредить для детей "общественные воспитательные домы" и привлечь к этому добрых священников.

Платон Левшин в изображении своей "натуры" опускает какое-либо воздействие на нее воспитания, хотя "свойства родителей" в его нравах "видимы". Но автор отмечает некую противоречивость своего характера. Он страстно любил уединение и ученые занятия, не отрывался от книг, был застенчив и чуждался каких-либо развлечений, поэтому "мог бы иной и подумать, что был он нрава меланхолического, дикого и грубого и несловоохотливого". Но на самом деле он был веселым и разговорчивым, любил шутки, лицом был красив, а нравом откровенен, искренен и непорочен, поэтому "всем всегда нравился". Но противоречие это в тексте никак психологически не объясняется, ни к каким умозаключениям не подводит. Видимо, создаваемый идеальный образ усердного и благонамеренного ученика показался автору в какой-то момент слишком однозначным, реальные воспоминания вынудили его скорректировать. Однако склонность к духовной деятельности, заставившая отказаться от поступления в Московский университет и от светской карьеры, остается главной чертой характера Левшина.

Еще прозорливый Антиох Кантемир писал:

Не одни те ростят нас, коим наше детство
Вверено; со всех сторон находит посредство
Поскользнуться в сердце нрав: все, что окружает
Младенца, произвести в нем нрав помогает[53].

Если перевести эти вирши на язык современности, то мы скажем, что речь идет о процессе социализации, о непреднамеренных воздействиях окружающего на развитие ребенка. Но большинство из тех, кто

[53] *Кантемир А.Д.* Сатира VII. О воспитании. С. 80.

пишет о своем воспитании, воспринимают его только как целенаправленный процесс, осуществляемый родителями и наставниками. Пороки ими искоренялись или, наоборот, оставлялись без внимания, добродетели внушались или не внушались через примеры и образцы. Все то воспитательное воздействие, которое оказывала среда, слуги, книги, сверстники и проч., не было замечено и не было отражено на страницах записок.

Но вот С.Н. Глинка показывает на собственном примере, что его пороки были искоренены помимо какого-либо целенаправленного воспитательного воздействия. В пять лет он не хотел приниматься за учебу, хотя его повели к учению "стезею ласки и любви". И вдруг, пережив минуты опасности для жизни, под влиянием проявившейся к нему из-за этого повышенной заботливости взрослых, мальчик как бы в ответ на нее заявляет, что хочет учиться. Мерзкие пороки проявились в нем чуть позже, в кадетском корпусе. Глинка описывает себя как жадного и хитрого мальчишку, обманом обкрадывавшего своих товарищей. Узнав, что Бог карает за дурные дела, он "затеял... бороться с мыслью о существовании Бога". Пожалуй, столь откровенно себя не изображал никто из его сверстников. Вся эта порочность, по его мнению, возникла сама по себе, никто на него не оказывал дурного влияния. Избавиться от нее помогла музыка — неожиданно услышанный церковный хор: «Раздалось "Иже херувимы" Бортнянского. Восторг необычный объял и облетел, так сказать, все существо мое. Слезы градом полились из глаз моих. Мне казалось, что душа моя переродилась и устремилась выше земли. Сочетавшись сердцем с этой мыслью, я бросил свои проказы и промыслы, возвратил товарищам отнятую у них движимость и стал переучивать катехизис не памятью, а душою". Вдобавок сыграла свою роль и "милая сверстница, ангел невинности", которая "взглянула печально и сказала: "Я слышала, что вы любите обманывать?"».

Рассказы о собственных порочных наклонностях в детстве сродни исповеди, но она обращена не к Богу, а к своим потомкам и, более, к себе самому с целью показа собственного характера. Пробуждающееся плотское вожделение в христианской традиции относили к главным порокам подросткового возраста. Вспомним характеристику подростка, приведенную выше: "приходит он в распаление, свойственное юности, и обуреваем бывает похотью плотской, семени испущением и буйством нелепым..." Об интимных переживаниях сексуального характера в подростковом возрасте не было принято высказываться в русском письменном слове, как это сделал Ж.-Ж. Руссо, и все же подобные места встречаются и в отечественных воспоминаниях. Для Г.С. Винского, подробно описавшего свои первые любовные опыты, — это

трудная "исповедь" в своих грехах, для Платона Левшина — это гордость за грех преодоленный, за собственное целомудрие.

"К четырнадцатому году, — пишет Винский, — нельзя было не ощутить в сердце чувствования, нудящего всех — искать любезных, глядеть на них, любоваться ими и желать от них чего-то неисповедимого. Первый позыв на сие познал я в Киеве, но без малейшего удовлетворения". Далее следует рассказ об амурных отношениях со священнической дочкой, о первом сексуальном опыте с девками из прислуги ("наслаждение скотское, которым я тогда же мерзил"), флиртом с некоей паночкой С. и другими. Трудность в отношении с женщинами для Винского лежала в том, что он был с детства изуродован оспой и ему внушали, что его "женский пол" не будет любить.

Иначе о том же пишет Платон Левшин: "На 15-м или 16-м году начал он (т.е. Платон. — *О.К.*) впервые чувствовать борение похоти плотской; но Бог от падения сего его сохранил, и все проходило в одних мгновениях и воображениях мысленных. ...К женитьбе не только никогда склонности не имел, но даже о том, когда было напоминаемо, и слышать стыдился, неизвестно почему, по расположению ли какому от природы, или по особенному какому Божьему устроению". А.Т. Болотов в качестве курьеза вспоминает "издевку" над ним своего отца, который пошутил в бане, сказав: "Ты у меня уже жених", чем вызвал у одиннадцатилетнего мальчика "превеликие слезы". Объясняет их Болотов так: "...природная застенчивость моя против женского пола была так велика, что я не мог рассудить, что это была одна шутка".

Тема воспитания воплощалась до сих пор в трактатах о воспитании, в формах наставлений, поучений, рекомендаций. В автобиографиях она получает иное звучание, дается ненавязчиво и невнимательному глазу вообще незаметно, растворяется в жизненных историях и субъективных оценках. Происходит некое взаимодействие пережитого автором опыта, его размышлений над ним, впитанных из традиционной и новой культуры представлений.

"СКУКУ ЗАМЕНЯЛ Я В ПРАЗДНОЕ ВРЕМЯ ПРИЯТНЕЙШИМИ ДЛЯ МЕНЯ УПРАЖНЕНИЯМИ"

Воспоминания более приятного свойства, чем учение и воспитание, воспоминания о свободном детском времяпрепровождении авторы не выводят в особую тему, не считают ее важной, поэтому она лишь иногда возникает как бы невзначай.

Почти не приводятся в текстах воспоминания об игрушках, казалось бы, так тесно связанных с образом детства. Видимо, им не придавалось

серьезного значения. Покупные игрушки и в дворянских домах были редки, для малышей они делались кустарным образом. Описание дорогих игрушек встречается только у гр. А.И. Рибопьера, но тут речь идет о игрушках, находившихся в царском дворце — подарках мальчику Екатерины Великой. Его воспоминания и написаны не столько о себе, сколько об Екатерине, любившей с ним играть в детстве. Императрица, вспоминает Рибопьер, "игрывала со мною, вырезывала для меня из бумаги разные фигуры. Так, помню, что раз она мне вырезала сани с лошадьми и кучером... Государыня даривала мне богатые игрушки, между прочим помню охоту за оленями. Это была механическая игрушка; когда ее заводили, то олень бегал, собаки лаяли и гнались за ним, егеря скакали на лошадях, а один трубил в рог. Помню также великолепную качающуюся большую лошадь". Об играх Екатерины с детьми из кадетского корпуса, которых она приглашала для компании своему сыну, вспоминает и С.Н. Глинка: играли "в веревочку" и императрица "веселилась весельем детей своих".

Мужчины вспоминают не без удовольствия военные игры, подчеркивая свою склонность к военной деятельности, проявившуюся с детства. А.Т. Болотов пишет, что на десятом году жизни "начал помышлять уже о военном и в праздное время утешать себя такими забавами, которые к тому были приличны". Забавы эти состояли в играх в "войну" с другими сверстниками, проходившими в заброшенной крепости, где оставалось много поломанного оружия и снарядов. "Наилучшее наше утешение состояло в том, чтобы собирать и выкапывать из мусора сии ядры и картечи и ими швыряться при делаемых нами приступах и оборонах, — и сам Бог нас охранял, что мы никому из нас не проломили ими голову. Из сих детских игрушек явствует, что я с малолетства имел великую склонность к военному делу", — заключает свой рассказ Болотов. И.В. Лопухин — в детстве болезненный мальчик — не мог играть в войну активно, но реализовывал свою к ней "страсть" иным образом: "Я страстен был к военной (службе. — *О.К.*): и сидя дома, водил строи и давал баталии по Пвизегюру и Фоларду". У обоих этих авторов, однако, военная карьера так и не состоялась.

По большей части детские игры проходили на природе. С.Н. Глинка так вспоминает свое праздное время пятилетнего возраста: "Летом то в рощах гонялся за бабочками, то ходил за ягодами и за грибами, то спешил в орешник; зимою — то катанье на салазках, то в комнате волчки, веревочки и мячик. Словом, я был занят, мне было весело". Товарищами его игр были дворовые ребятишки. Девочки, о которых мы знаем по воспоминаниям, также проводили свободное время в лесах и полях имения. В.Н. Головина писала, что мать позволяла ей

"свободно бегать повсюду одной, стрелять из лука, спускаться с холма, перебегать через равнину до речки, гулять по опушке леса... влезать на старый дуб возле самого дома и срывать с него желуди..." Мать Лабзиной не так благосклонно смотрела на подобные же занятия дочери: "У меня любимое занятие было беганье и лазить по деревьям, и как бы высоко дерево ни было, — то непременно влезу. А как меня за это наказывали, то я уходила тихонько в лес и там делала свое удовольствие".

За дворянскими детьми обычно приследживали нянька или дядька, и тем не менее детям часто удавалось, как и Лабзиной, "делать свое удовольствие", усыпив бдительность старших. В результате такой детской "резвости" часто случались тяжелые травмы. Наряду с другими опасностями и несчастными случаями многими описываются проказы и игры, лишь чудом не закончившиеся смертельным исходом: дети падали с деревьев, тонули в воде, баловались с оружием, оказывались под копытами коней, подвергались в лесу нападениям диких зверей и даже разбойников.

Читая рассказы о детских играх и шалостях, между делом узнаем, что они бывали и жестокого свойства: играя в солдаты, Болотов с друзьями устроил избиение батогами своему товарищу, одноклассники Данилова назло учителю мучили его кота, Муравьев шутки ради подкидывал прохожим раскаленную подкову.

Как видим, взрослые в описываемые времена не стремились специально организовывать детский досуг и подростки играли сами как могли. Чтобы уменьшить риск от "резвого" детского поведения, взрослые оставляли детям как можно меньше времени для досуга. Собственно, возраст игр и забав относили только к возрасту младенческому. Лет с 8—10 ребенок уже должен был забыть об играх и заниматься делом — учебой или помощью родителям. "Праздного времени оставалось у меня немного", — пишет И.М. Долгорукий, весь день был расписан учебными занятиями. М.В. Данилов рассказывает, что учитель, кроме обеда, из класса никуда детей не отпускал и они целый день сидели "на скамейках безсходно".

В учебных заведениях закрытого типа, таких как кадетский или пажеский корпус, все свободное время детей находилось под контролем надзирателей. Кадетский корпус имел обширный двор для летних игр и сад, но выйти за окружавший их забор ученики не могли. Гимназисты университета вели более свободную школярскую жизнь. Ее описывает Ф.П. Печерин. Классы, пишет он, мы посещали редко, "некогда было". Зимой с приятелями катались по льду на московских реках или с гор, ходили в гости к товарищам и в театр, просто болтались по москов-

ским улицам, стали заглядывать и в игорные дома. Летом на тех же реках катались на лодках, ходили к Пушечному двору смотреть "сражения героев университетских с силачами заиконоспасской (Славяно-греко-латинской. — *О.К.*) академии". Дома пытались ставить пьесы. Играли "мячом, в свайку, ломали пряники". "Но всего теперь и не вспомнишь", — пишет Печерин. А то, что происходило в университетских классах, он вообще не удостаивает воспоминанием.

"ОСВОБОДИЛСЯ Я ОТ СВИРЕПСТВА БОЛЕЗНИ, КОТОРАЯ МНОЖЕСТВО ДЕТЕЙ ПОЖИРАЕТ"

От досуга и учебы много времени детства похищали болезни. Среди них в логике описания важнейших событий жизни всегда отмечаются те, которые чуть не привели к смертельному исходу. В XVIII в. плохо справлялись с детскими недугами и детская смертность была чрезвычайно высокой[54]. Поэтому выздоровление воспринималось как свидетельство об особой Божественной милости. Однако уже в последней четверти XVII в. кн. Б.И. Куракин в преодолении болезней помимо Божьей помощи отмечал и врачебную. В три и четыре года мальчику сделали две операции — вырезали грыжу и "дикое мясо" на ноге. Подростком его постоянно мучила лихорадка и ею "он кровь всю испортил и был гораздо толст", а затем в 15 лет приключилась с ним "чечюйная болезнь" (фурункулы), которую лечили "сажаючи на кадку паров".

Особенно часто упоминается смертельная оспа, напоминавшая о себе перенесшему ее человеку остатками следов на лице. Именно это уродство от оспы тяжело переживалось. Печерин пишет: "...принуждены были остричь мне волосы очень плотно, о чем я не мало сожалел, потому, что тогда обыкновение требовало косы и пуколь. Пятна с лица долго не сходили и это меня беспокоило".

Оспой переболели почти все из авторов воспоминаний: А.П. Березин, И.М. Долгорукий, Г.С. Винский, А.Т. Болотов. С.Н. Глинка и др. Не случайно поэтому кн. И.М. Долгорукий воздает хвалу императрице Екатерине за то, что она подала пример своим подданным, сделав прививку от оспы себе и своему сыну Павлу. "Какой необыкновенный пример всем отцам и матерям! — пишет Долгорукий, — все стали ему подражать наперерыв, и младенцы в России почувствовали над собою спасительное действие сего изобретения". С.Н. Глинка тоже описывает прививку оспы кадетам и как для одного из них она закончилась смертельным исходом.

---

[54] *Пушкарева Н.Л.* Мать и дитя в русской семье XVIII—начала XIX в. С. 235—236.

"НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ Я, СКОЛЬ ДЕТСКИЕ МОИ ЧУВСТВА ПОРАЖЕНЫ БЫЛИ..."

Автобиографическая память человека опирается на ключевые события биографии, которые распределяются по двум категориям, составляют две линии жизни — внешнюю и внутреннюю. Иначе говоря, первая фиксирует важные события жизненного пути социального или физиологического (болезнь) плана, вторая — этапы духовного, эмоционального, умственного развития. Все то, о чем говорилось выше, в основном связано с построением внешней линии автобиографии на ее детском отрезке: рождение и родители (соотнесение себя с определенной социальной средой), учеба и учебная среда, включение в службу или трудовую деятельность, перемена места жительства, смерть родных, "чрезвычайные" (по характеристике А.Т. Болотова) происшествия (опасные для жизни, смешные, нарушившие обычный порядок жизни), изменения в благосостоянии и проч. Все эти события многими, конечно, описываются в эмоциональном сопровождении и поучительном осмыслении, хотя некоторые, особенно принадлежащие первой половине XVIII в. (например кн. Б.И. Куракин), обходятся и без этого. Самостоятельная жизнь внутреннего мира ребенка, данная в развитии, не находит еще своего воплощения в автобиографических текстах рассматриваемого периода.

Тем не менее анализ развития собственного душевного опыта стал практиковаться с екатерининских времен в наиболее интимном жанре — дневниках. Дневники легли в основу многих воспоминаний (А.Т. Болотова, И.М. Долгорукого и др.). В 1783 г. появился перевод на русский язык книги Иоанна Масона "Познание самого себя", получивший большое распространение в масонских кругах. В ней говорилось о необыкновенной важности изучения собственной внутренней жизни, своего характера, своих желаний, поступков, побуждений и проч. и давались определенные советы и технологии по самонаблюдению. В том числе давался такой совет: "Ввечеру обязаны мы проходить и испытывать разные деяния протекшего дня, разнообразные мнения и мыслей состояние, в коих мы находились, и разыскивать произведшие их причины"[55]. Опыт прожитого дня анализировался в дневниках[56], в том числе к такой практике приучали и детей. Девятилетний мальчик Николенька Второв (р. 1818) по настоянию отца ежедневно записывал в дневник все свои шалости и проступки, чтобы "день ото дня понемножку исправляться". Такой педагогический прием заменил прежде следовавшую за шалости порку, физически маленького автора дневника никогда не наказывали[57].

[55] *Иоанн Масон.* Познание самого себя / Пер. И.П. Тургенева. М., 1783. Ч. 3. С. 13.

[56] См. о дневнике молодого В.А. Жуковского: *Гинзбург Л.* О психологической прозе. Л., 1971. С. 40—41.

В автобиографиях уход от раскрытия внутреннего мира ребенка приводил к тому, что его образ в целом еще не складывался в изображение личности, отмечались лишь отдельные "свойства", пороки и добродетели, данные в статике. Отсутствует и показ развития отношений между автором/ребенком и окружающими его близкими, они просто маркируются (любовь к матери, уважение к отцу, страх перед учителем, зависть к брату и т.д.). Примечательно, что отсутствует тема дружбы, хотя упоминания соучеников и товарищей по играм встречаются часто.

Детские эмоциональные реакции и впечатления, оставившие по себе долгую память, описываются немногими. Это в первую очередь горе при утрате близких, страх, обиды от несправедливости, стыд, радость встреч и горечь разлук, впечатления от новых мест. Характеристика собственных переживаний, сопровождавших различные "чрезвычайные происшествия", свойственна воспоминаниям А.Т. Болотова. Например, он так описывает восторг при первой встрече с Петербургом: "Я при самом въезде уже глаза растерял на прекрасные дома и раскрашенные повсюду заборы и решетки и только что, сидючи с покойной матерью в коляске, восклицал:

— Ну, Петербург! Прямо Петербург!

Когда же увидел дворец и прочие огромные здания, то не знал, как и изобразить свое удивление". Иное впечатление Петербург производит на С.Н. Глинку, что и естественно, так как Болотов въезжает туда с матерью, а Глинка едет от матери: "Вид Петербурга нисколько не поразил меня. Огромные здания были для меня груды камней. Сердце мое было на родине". Петербург не произвел ожидаемого впечатления и на повидавшего уже много городов Г.С. Винского: "С.-Петербургские тогдашние строения ни малого не возбуждали во мне удивления; поелику, зная Киевские, я об них воображал несравненно выше".

Тем не менее иногда под пером авторов возникают выбивающиеся из общего стиля фрагменты, наполненные внутренним психологизмом и прозревающие будущее увлечение автобиографов бессознательным в душе человека. Так, Г.С. Винский удивительно описывает возникшее в пятилетнем возрасте мимолетное интимное настроение, не связанное ни с какими определенными событиями, которое по необъяснимой и

[57] *Николай Иванович Второв.* [Автобиография]. Публ. М.Ф. де Пуле // Русский архив. 1877. № 6. С. 142—143.

таинственной причине производит в душе повторяющийся отзвук в течение всей его жизни. Это легкое и красивое прикосновение к тайнам человеческой психики, отражающее связь детских эмоций со взрослыми настроениями. "На пятом или шестом году моего века, — пишет Винский, — едучи осенью из Почепа в Баклан, при захождении солнца, спускалася наша повозка с небольшого бугорка к реке Судости. От солнечных лучей, скользящих, что теперь знаю, по гладкой поверхности воды, казалась она огненною; через нее летело несколько сорок в лес ночевать. Глядя на все сие, я не знаю отчего, стало мне очень грустно. Сия картина и теперь еще так жива в моей памяти, что я, кажется, мог бы ее нарисовать. С того времени воззрение на заходящее осеннее солнце всегда в душе моей производит уныние".

Впрочем, изображению эмоционального мира человека служил другой литературный жанр — поэтический, который еще дольше, чем автобиографический, не замечал ребенка. Впервые оба жанра встретились, раскрыв тему детства в романтически-эмоциональном духе, в поэзии В. Вордсворта. Российские автобиографы до времени разграничивали территории, подведомственные разным жанрам, оставляя мир душевных эмоций поэзии и роману, себя же осознавая скорее историками, летописцами своей внешней жизни. Это, однако, совсем не означает, что до внимания к своей внутренней жизни люди XVIII в. еще "не доросли", они просто ограничивали ее публичное обозрение. Современная нам эпоха такие ограничения сняла, однако сама идея самопознания и ее "технология" фиксации своих чувств и действий в дневниках владела умами несравнимо сильнее в эпоху сентиментализма и романтизма. Тот, кто сегодня находит время ежедневно заниматься самоанализом и приучает детей размышлять над своими чувствами и поступками систематически, пусть бросит в меня камень.

"ВОТ ЧЕМ ХОТЕЛОСЬ БЫ МНЕ ЗАВЕРШИТЬ ПОВЕСТВОВАНИЕ МОЕ..."

Автобиографическая память — сущностное свойство человека, она присутствовала в нем во все времена. Человек не просто помнит свое прошлое, он не может без этой памяти осознавать себя как личность. Однако варианты, в которых происходит перенесение автобиографической памяти на бумагу, неисчислимы. Закладывающий основу человеческой индивидуальной судьбы фундамент — его детство — остался в русской древности в воспоминаниях чисто личного, интимного характера, которым не была придана письменная, литературная форма. Детство людей XVIII в. выходит на свет, ложится на бумагу, прописывается, осмысляется. Письменные тексты о собственном детстве, собранные и выстроенные в единый ряд, дают его обобщенный образ, выделяют те черты, которые представлялись важными при его описании. Мы постарались их выделить и обозначить — это семья, обучение и воспитание, здоровье и телесный образ, особенности времяпрепровождения, отдельные чрезвычайные происшествия. История собственного воспитания и обучения оказывается в этих текстах на первом плане, она является предметом особого внимания и размышлений. Собственно, речь идет о "внешнем" воздействии взрослых на маленького человека, и оттого, сколь правильно и умело оно было произведено, зависела его дальнейшая жизнь. Судьба каждого ребенка — определенный педагогический эксперимент, о результате которого может лучше всех судить сам возросший подопытный. Важно сохранить этот опыт, его зафиксировать, чтобы дать пищу для размышлений будущим экспериментаторам над детскими душами. Такова, как кажется, "генеральная линия" описаний детства XVIII в., осознанно или неосознанно, в большей или меньшей степени воплощавшаяся в воспоминаниях. Иные времена избирали иные "линии", мир детства осваивался постепенно во всем его многообразии, думается, далеко еще не исчерпаном. Однако та проблематика, о которой идет речь, продолжает оставаться важнейшей, интересной и поучительной, ибо ребенок всегда остается в фокусе образования и воспитания.

Возвращаясь памятью в детство, давно ушедшее и принадлежащее уже другой эпохе, наши автобиографы все же уходят от того, чтобы на образце своего детства открыто "сравнить и посмотреть век нынешний и век минувший": видимо, слишком дороги воспоминания детства, чтоб подвергать его критике, и слишком несовершенен его опыт, чтоб восхвалять его. Подобными философическими сравнениями занимался лишь пан Халявский[58], но ему — что, он всего лишь литературный персонаж.

Собрав воедино различные голоса эпохи, мы постарались заставить их звучать как хор, ведь многие авторы ведут свои темы в унисон. Но в хоре не слышно индивидуального голоса. Публикация текстов воспоминаний, помещенных далее, дает возможность услышать каждого автора, выделить его из хора, увидеть его индивидуальность, оценить его собственную манеру письма.

---

[58] "Приводя себе на память все случившееся со мною в жизни, невольно рождается во мне — не знаю какое, философическое или пиитическое — рассуждение, — пусть господа ученые разберут: сравнить теперешних молодых людей с нами, прошедшего века панычами. Какая разница!" (*Квитко-Основьяненко Г.Ф.* Пан Халявский. С. 216).

Тексты расположены в книге в порядке хронологии дат рождения авторов. Иначе говоря, хронологически располагаются годы их детства, а не время написания текстов. Все вместе тексты охватывают более чем столетний период, поскольку свой отсчет российский жанр воспоминаний ведет от кн. Б.И. Куракина, детство которого пришлось на последнюю четверть XVII в. От начала и до конца охваченного воспоминаниями периода менялись общественные идеи, вкусы, мнения, литературные стили и многое другое, влиявшее на повествование авторов. Тем не менее можно заметить, что нет прямой и единой дороги в развитии жанра воспоминаний: есть авторы, опережающие свое время, а есть — отстающие от него.

К сожалению, читателя этой книги ждет и разочарование — каждое из представленных в ней воспоминаний оборвется "на самом интересном месте", на моменте вступления автора во взрослость. Он, читатель, ничего не узнает о дальнейшей судьбе героя воспоминаний более того, что сообщит ему краткий биографический комментарий. Но для особ любознательных это дело поправимо: ссылка на полное издание текста воспоминаний поможет их отыскать и прочесть до конца. Сделайте это, и, надеюсь, вы согласитесь со мной, что чтение воспоминаний является полезным и приятным (какое редкое сочетание!) времяпрепровождением.

Раздел 3
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК ВСПОМИНАЕТ О ДЕТСТВЕ. ТЕКСТЫ И КОММЕНТАРИИ

КУРАКИН Борис Иванович, кн. (1676—1727)

Представитель знатного рода князей Куракиных, имевших в XVII в. боярские чины. С детских лет был знаком с царем Петром I, а сочетавшись браком с К.Ф. Лопухиной, стал его родственником по линии жены. С ранней молодости участвовал во многих военных походах, в сражениях под Нарвой и Полтавой, где командовал Семеновским полком. Затем стал виднейшим и образованнейшим дипломатом правительства Петра I, большую часть жизни провел в различных странах Европы. Куракин писал мемуарно-исторические произведения (о начале Северной войны, о дипломатической службе за границей и др.). Им написана неоконченная "Гистория о царе Петре Алексеевиче". Куракин тщательно хранил свой архив, включавший переписку, дневники, наброски различных сочинений.

Куракин — первый русский мемуарист, и его текст весьма своеобразен. Новое содержание — рассказ о собственной жизни — он приспосабливает к старым литературным формам: события им распределяются в летописной манере "по годам". Его автобиография "Vita del Principe Boris Kourakin" охватывает период от рождения до 1709 г. Начата она осенью 1705 г., окончена в 1710 г., опубликована через 180 лет после написания.

"ЖИЗНЬ КНЯЗЯ БОРИСА КУРАКИНА"

Июля 20 числа 184 года[1], 1676 года от Рождества, в начале 6 часу дня родился (по науке астрономии в квадрах фигуры о планетах долженствую объявить[2]), в царство царя Федора Алексеевича, которой был мне восприемником[3], также и сестра его царевна Екатерина Алексеевна. И по рождении мать моя скончалась в пяти неделех, которую

[1] Т.е. 7184 года от сотворения мира (подробнее см. сн. 6).

[2] Автор, видимо, хотел рассказать о том, как во время часа его рождения располагались планеты и что они предвещали его жизни, но он так этого и не сделал.

[3] Крестный отец; тот, кто принял (восприял — старосл.) младенца от крестильной купели.

болезть получила от самаго моего рождения. При том случае по крещению имел счастие не малое, как бы сподевалися быть фаворитом[4], токмо не допустила его смерть, понеже царя Федора Алексеевича 90 году[5] не стало. И от того времени в возрасте младенчества всегда имел счастие от всех людей, сподеваючись во мне некоторого впредь состояния доброго; токмо всегда заставал в болезнях. Первая, имел великую грыжу, и от того в паху трех лет от Симона дохтура резан был, и потом, на четвертом году, на плюсне левой ноги также резан был, где наростало мясо дикое, от того ж доктора.

И первой год по календарю начинается 185-й, а от Рождества 1677[6]. И будет так, считаючи годы от 20 июля каждого года, остаток от создания света — один месяц, а от Рождества 5 месяцев; а принять грядущаго года от создания 11 месяцев, а от Рождества — 7 месяцев.

И так будет от создания 184-го году месяц август и июля 12 дней, а от грядущаго году 185 — принять 10 месяцев и июля 19 дней, и будет целый год. Так и в других годех покажет. А от Рождества 1676 году месяц август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь — по генварь месяц, всего 5 месяцев, и июля 12 дней и грядущаго году 1677 — придать 6 месяцев по июль, июля 19 дней, и будет целой год.

И для того буду так годы объявлять, яко тут покажу:

Жития моего год первый.

От создания 184 июля с 20 — 185 — по 20 июля.

От рождества 1676 июля с 20 — 1677 июль 20.

Год второй.

От создания 185 — 20 июль — 186 июль по 20 число.

[4] Надеялся быть фаворитом, любимцем царя.

[5] Царь Федор Алексеевич Романов умер в 1682 г. в возрасте 21 года.

[6] В 1700 г. в России Петром I было изменено летосчисление: ранее годы считали от сотворения мира, а теперь, как и в Западной Европе, стали считать от Рождества Христова. Разница между этими двумя датами от сентября до сентября составляла 5508 лет. К тому же новый год ранее начинался 1 сентября, а реформа Петра перенесла его на 1 января, поэтому для месяцев сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, чтобы перевести старое летосчисление в новое, нужно было от первого отнять не 5508, а 5509 лет. В петровское время русские люди еще с трудом привыкали к новому летосчислению и считали годы и по старому, и по новому стилю. Куракин хочет быть предельно точным и каждый год своей жизни дает в переводе на оба летосчисления, при этом когда он дает дату "по календарю" (или от сотворения мира), то, как это было принято, сокращает цифру 7, обозначающую семь тысяч, т.е. 184 г. — это 7184 г. от сотворения мира.

Для своей автобиографии Куракин использует привычную для русской литературы форму летописи, поэтому считает нужным отмечать каждый год, не пропуская и тех лет, в которые, по его мнению, ничего интересного не происходило.

От Рождества 1677 — 20 июль — 1678 июль по 20 число.

Год третий.

От создания 186 — 20 июль — 187 июль по 20 число.

От Рождества 1678 — 20 июль — 1679 июль по 20 число.

Год четвертый.

От создания 187 — 20 июль — 188 июль по 20 число.

От Рождества 1679 — 20 июль — 1680 июль по 20 число.

Год пятый.

От создания 188 — 20 июль — 189 июль по 20 число.

От Рождества 1680 — 20 июль — 1681 июль по 20 число.

Год шестой.

От создания 189 — 20 июль — 190 июль по 20 число.

От Рождества 1681 — 20 июль — 1682 июль по 20 число.

Того года не стало царя Федора Алексеевича после святой недели, и был бунт от стрельцов[7]. А преже того бунта, в великой пост, не стало деда князь Григория Семеновича. Того ж года, в бунт, были в великом страховании[8], и некоторые дни были в похоронках[9], для того что отца князь Ивана Григорьевича те бунтовщики хотели убить. Того ж года отцу князь Ивану Григорьевичу сказано на воеводство в Смоленеск. И на выезде в тот поход из Москвы, у Креста, по Троицкой дороге[10] мне припало великое несчастие: упал на скаку с иноходца, которой мне дан был с конюшни государевой. С которой спадчи, а одна нога в стремени завязла. И таскала, аж пока сама стала, и так всю спину ободрала, аж тот убой мне не пришел к самой смерти.

И того года на царство выбрали царя Петра Алексеевича; и потом некоторое малое время спустя, того ж года выбрали на царство же большого брата царя Ивана Алексеевича. И с того года, за малолетством их, начала в управлении государства царевна Софья Алексеевна. Во все те годы великую тягость имел [кн. Иван Григорьевич Куракин] от каменной болезни.

Год седьмой.

От создания 190 — 20 июль — 191 июль по 20 число.

От Рождества 1682 — 20 июль — 1683 июль по 20 число.

Того года отца князя Ивана Григорьевича не стало в Смоленске каменною болезнью. Имел я отца бóльшую любовь пред другими детьми.

[7] Стрелецкий бунт в Москве 1682 г., во время которого стрельцы убили многих видных бояр.

[8] Страхе.

[9] Хоронились, прятались.

[10] Сейчас — Крестовский мост на проспекте Мира — начало дороги в Троице-Сергиев монастырь.

И на память той милости, при конце живота, благословил образ Спасителев Нерукотвореннаго[11], которым его благословил также отец, а мой дед. Того ж года, по возвращении из Смоленска с телом его и [он] погребен в Чудове монастыре. И мачеха, княгиня Марья Петровна, с полгода спустя родила сына, брата — князь Ивана Ивановича, которому день тезоименитства его[12] ноября 13-го дня — Иоанна Златоустаго. А по смерти отца нашего засталися: брат, князь Михайло Иванович и сестра, княжна Марья Ивановна и я — князь Борис.

И с того года в нашем том всем сиротстве не оставила нас и дом наш бабка наша, княгиня Ульяна Ивановна Одоевская, супруга князя Алексея Никитича — сына князь Никиты Ивановича Одоевского, а мать — нашей матери, княгини Федосьи Алексеевны. Могу об ней описать, что оная жена была великого ума и набожная, и в остиме[13] от всех.

И того ж года пожалован я в спальники[14] к царю Петру Алексеевичу, и начал того года учиться грамоте по славянски.

Год восьмой.

От создания 191 — 20 июль — 192 июль по 20 число.

От Рождества 1683 — 20 июль — 1684 июль по 20 число.

Год девятый.

От создания 192 — 20 июль — 193 июль по 20 число.

От Рождества 1684 — 20 июль — 1685 июль по 20 число.

Того года не стало мачехи нашей; а погребена в Чудове ж монастыре. А брат, князь Иван Иванович, в сиротстве том остался в той же опеке бабки, княгини Ульяны Ивановны. И того года окончал грамоте учиться. Того года, в лете, ходил у палат своих по подвезям[15], и с тех подвязей упал с самаго верху, и так расшибся, что с два часа замертво лежал, и от тех побой знак имел, на исподней губе шишку.

Год десятый.

От создания 193 — 20 июль — 194 июль по 20 число.

От Рождества 1685 — 20 июль — 1686 июль по 20 число.

Того года царь Петр Алексеевич женился на царице Авдотье Федоровне, фамилии Лопухиных.

Год одиннадцатый.

От создания 194 — 20 июль — 195 июль по 20 число.

От Рождества 1686 — 20 июль — 1687 июль по 20 число.

[11] Благословил иконой (образом) Спаса Нерукотворного.

[12] День именин.

[13] Estime — уважение.

[14] Спальник — придворный чин, жаловавшийся представителям знатных родов. Куракин стал комнатным спальником царя Петра I, которому тогда было 12 лет.

[15] Подвязи — леса, скрепленные между собой для постройки зданий.

Того года первой крымской поход, и гетмана переменили Ивана Самойловича.

Год двенадцатый.

От создания 195 — 20 июль — 196 июль по 20 число.

От Рождества 1687 — 20 июль — 1688 июль по 20 число.

Год тринадцатый.

От создания 196 — 20 июль — 197 июль по 20 число.

От Рождества 1688 — 20 июль — 1689 июль по 20 число.

Того года другой крымской поход. Того года весь наш дом погорел той ночи, что было перешли на новоселье, и просили всех кушать. И в том пожаре великой убыток был. И так велик пожар был, что наших 3 двора сгорело, тот двор, где мы жили, другой — Сицкий, третей — загородный Сицкий.

В том году царь Петр Алексеевич тайно из Преображенского и со всем двором пошел к Троице от ребеллионов-стрельцов[16], и был тамо аж до осени, для того покамест Щагловитова привезли и голову отсекли[17]. А царевна Софья Алексеевна пошла жить в Девичей монастырь[18]. И того времени имели страх великой от бунтов. Сия гистория требует большого ведения особою книгою.

Год четырнадцатый.

От создания 197 — 20 июль — 198 июль по 20 число.

От Рождества 1689 — 20 июль — 1690 июль по 20 число.

Того года родился царевич Алексей Петрович, перед масляницею или в Великой пост. Тезоименитство его, Алексея человека Божия.

Год пятнадцатый.

От создания 198 — 20 июль — 199 июль по 20 число.

От Рождества 1690 — 20 июль — 1691 июль по 20 число.

Того года царевич Александро Петрович родился и жил с полгода или с год и не стало.

Того года была потеха под Семеновским[19]. И все те годы от девятого или от десятого году и по сей год имел великое несчастие: по вся

[16] Rebellion — восстание, т.е. восставших, бунтовавших.

[17] В 1689 г. начался новый стрелецкий бунт, сопровождавшийся борьбой за власть между регентшей царевной Софьей и ее братом царем Петром. Петр бежал в Троице-Сергиев монастырь, куда к нему подошли поддерживавшие его члены Боярской думы и войска. Дьяк Шакловитый, стоявший во главе Стрелецкого приказа и поддерживавший царевну Софью, был обвинен в заводе бунта и казнен.

[18] Новодевичий монастырь явился местом заточения царевны Софьи.

[19] Молодой царь Петр для развлечения (для потехи) устраивал так называемые потешные смотры и потешные бои, в которых участвовали специально им созданные полки из приближенных к нему молодых дворян. Они проходили в дворцовых

годы лежал огневою и лихорадкою многое время. Также уже и в людех заставал в таком слове: come quasi matto (как дурака). И неприемен был от всех, а наипаче всего a unto gran satisfazione di bere[20] отчего получил великие болезни, кровь всю испортил и был гораздо толст. Того ж года пришла ко мне болезнь в осень самую — месяца ноября или октября — чечюйная, которую лечил Евдоким поляк, сажаючи на кадку паров, которая болезнь мне была вельми трудна.

И того года перед масляницею сговорил я жениться на дочери Федора Абрамовича Лопухина. Уже мне была супругою княгиня Ксения Федоровна. И перед масляницею был сговор публичный, на котором сговоре все бояре были, и другие персоны, и дарили. И въезд был осьмью саньми: первые — брат князь Михайло Иванович, да из Одоевских князь Юрья; другие — князь Петр Голицын, да князь Дмитрий Голицын; третьи — князь Петр Долгорукой, да Матвей Пушкин; пятые — князь Борис Голицын, да Петр Салтыков; шестые — князь Петр Прозоровской, да Василей Салтыков; седьмые — князь Михайло Яковлевич Черкаской, да Одоевской князь Михайло; осьмые — князь Яков Никитич Одоевской со мною; на которой церемонии многие дары были от всех.

И того ж года сестра Марья Ивановна сговорена за Ивана Степановича Салтыкова. Того года Иоакима патриарха не стало; а на его место поставили Адриана патриарха.

И того года я женился летом, после Петрова дни, и помнится мне, 6-го июля, а венчали в Преображенском.

И того лета, после Петрова дни, Его Величество пошел в Переславль со всем двором. И сентября из Переславля возвратился, и была потеха под Семеновским. А я был в ту пору в рейтарах в роте генерала Гордона. [...]

Публ. по: "Vita del Principe Boris Kourakin" (жизнь князя Бориса Куракина) // Архив кн. Ф.А. Куракина. Саратов, 1890. Т. 1.

ТУРЧИНОВСКИЙ Илья Михайлович (1695—?)

Родился на левобережной Украине в семье сотника в местечке Березани недалеко от г. Переяславля. Он не пошел по пути военной службы, как его отец, а стал священнослужителем. Видимо, с детства Турчиновский имел склонность к получению научных познаний и желание посмотреть мир, а также певческие способности. В

подмосковных селах Преображенском и Семеновском. На основе этих потешных полков позднее были сформированы Преображенский и Семеновский лейб-гвардейские полки.

[20] "От большого пристрастия к питью" (ит.).

15 лет он тайно покинул родительский дом для ученического скитальчества. Учился в Киеве, Могилеве, Шклове, Гомеле и многих других местах Украины, княжества Литовского и Польши, где в то время, в отличие от России, существовало множество небольших школ при церквях, как православных, так и католических (так называемые латинские школы). Ученический путь Турчиновского схож с судьбами западноевропейских средневековых школяров и нетипичен для российского юношества.

Закончив учение, Турчиновский стал регентом хора в Переяславле, затем получил священнический сан в родной Березани, где не ладил с прихожанами, был обвинен ими в вымогательствах и неподобающем священнику поведении, угодил под суд. Был осужден на трехмесячное заточение в монастырь в оковах. На этом месте повествование обрывается и о дальнейшей судьбе Турчиновского известно только из устного предания, говорившего, что он был освобожден и умер в глубокой старости священником уже другого прихода.

Самоназвание сочинения Турчиновского: "Списася мною многогрешным, Илиею Турчиновским, священником и наместником Березанским, житие и страдание свое в память детям своим, и внукам, и всему потомству". Оно дошло до наших дней не полностью, заключительная часть рукописи утрачена. Язык Турчиновского своеобразен, он в большом количестве использует и украинизмы, и церковнославянские обороты, свойственные ему как священнику. Понимать его читателю, не имеющему специальной подготовки, затруднительно, поэтому в данном издании текст Турчиновского дается в переводе на современный русский язык.

"ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СВОЕ В ПАМЯТЬ ДЕТЯМ СВОИМ, И ВНУКАМ, И ВСЕМУ ПОТОМСТВУ"

Я, многогрешный Илия, рожден от благочестивых родителей в городке Березани[21] в 1695 году, июля в 20 день, от отца Михаила, сотника[22] березанского и от матки Анны Садковсковной. Воспитан был в благочестии. Когда подошел мой возраст, отдали меня мои родители обучаться книжному чтению при березанской церкви Святоуспенской, у священника и наместника той церкви Павла и у дьяка Иоанна Кудинского, здесь я обучился грамматике, Часословцу и Псалтыри. И когда подрос, отец мой, уходя в военный поход, в 1699 г., в Польшу (где в Ляховичах полк весь переяславский вместе с полковником Мировичем из-за измены гетмана Мазепы шведами был взят в плен), мне приказал управлять хозяйством. Когда же отец мой из похода под Ляховичи, от шведских рук невредим, один (а сотня там вся с полком погибла) при-

[21] Березань находилась на левом берегу Днепра, недалеко от Переяславля (Южного), в Полтавской губернии.

[22] Начальник над казачьей сотней.

шел в дом, много мне упреков, с нанесением немалых ран, за непорядок в доме нанес; а я этого еще по молодости лет не мог знать.

С этого времени стал я сожалеть об учении своем, которое за ведением домашнего хозяйства позабыл, и, оставя отца и матку, ушел в 1710 г. из Березани скитаться по школам. И пройдя недолгий путь, достиг города Чернигова и там при церкви Воздвиженья Господня, пожив немного времени, ушел в сотню в село Синявку, где, прожив год, при церкви Покровской обучился книжному чтению и пению. Хотя и до того уже трудился три года в богоспасаемом городе Киеве, в монастыре Святомихайловском, при игумене Иоаникие Сенютовиче и при наместнике Варсонофии и уставнике Гедеоне, был канархистом[23] левого клироса, и на средства того игумена начал было посещать латинские школы, где ректором был Прокопович, а подпрофессором Загурский. Однако от этого обучения из-за отсутствия отца моего, ушедшего с войском воевать против шведов под Стародуб, где в 1708 году в Стародубе король шведский и вся армия его зимовала, матерью моею из Киева был взят и за домашнею суетою все позабыл. И в той Синявке обучившись, у сотника тамошнего Мандрики был писарем дворовым и сына его Петра Псалтыри обучал. И оттуда для того, чтобы свет посмотреть и продолжить обучение свое, пошел с двумя молодыми парнями, Семеном и Иваном, в Литовское княжество, в королевский город Могилев. И шли долгим путем, через густые леса, дня два людей не встречали; и эти парни, увидя у меня деньги и новую одежду, ближе к вечеру накинулись на меня, не как люди, а как звери, хотя меня убить. Один из них незаметно большой палкой хотел мне голову разбить, но Божьей защитой и Матери его Святой оказалась невредима голова моя, но по книгам, которые я нес на правом плече, пришелся удар, от которого я упал на землю. И там меня, лежащего, раздели и деньги, при мне бывшие, вместе с одеждою забрали. И, стоя надо мной, затеяли они ссору: один, Иоанн, хочет меня убить до смерти и оттащить от дороги в чащу, а другой, Симеон, якобы жалея меня, советует отвести меня подальше от дороги и нагого к дереву привязать на съедение комарам или зверям. Но Божьею милостию и заступничеством моей помощницы Матери Божьей, как бы очнувшись ото сна и не чувствуя совсем боли, схватился я бежать в одной рубахе, обратно тем путем, по которому мы пришли. И бежал с сильными рыданиями, молил Матерь Божию, да избавит меня от сих лютых Диоклетианов[24], и кричал во весь

[23] Канархист — чтец во время церковного богослужения.

[24] Диоклетиан — римский император, прославившийся жестокими гонениями на христиан.

голос о помощи. И те убийцы бежали за мною, как звери за ягненком, довольно долго. Но поскольку они были толсты и к тому же пьяны, не могли догнать и во весь голос кричали, чтобы я остановился, и клялись крестным знамением, что не убьют меня, но пойдут со мною вместе в Могилев и все платье мне возвратят. Я их клятве поверил, осенил себя крестом и, прочитав молитву *Богородице Дево радуйся* и положась на помощь и заступничество Матери Божией, вернулся к ним. Они схватили меня в руки и кинули на землю, скрежетали на меня зубами, связали мне руки и ноги, задумав нести меня внутрь пустынного леса и там смерти предать. Видя свой скорый конец и лютою смерть, лежа говорил им: "Если ваша клятва и крестное знамение остаются в силе, усомнитесь и побойтесь Бога. За что вы хотите меня убить? И сами вы за убийство не избежите страшнейшей муки, и здесь, и во втором пришествии. А если желаете денег и одежду мою, я вам все это дарю и никому о том не расскажу". Тут они, польстившись на деньги и угрожая мне убийством, ежели я кому-нибудь расскажу, развязали мне руки и ноги и отдали мне одежду и сумку с книжками, у которых от сильного удара деревянные переплеты раскололись, а деньги, рублей десять, себе взяли. И так с этими злодеями отправился в путь свой. И дошли ночью до села на границе польской, владения Печерского монастыря, называемого Попова Гора. В ней жил городничий, иеромонах Феодосий, который, увидев меня искусна в пении и чтении церковном, сказал дьячку того села, чтобы меня взял к дьяку (для учения. — *О.К.*). И я был принят, чему и рад был, так как мог избыть своих врагов. Но они почувствовали мое от них отлучение, очень опечалились и, скрежеща на меня зубами, пожелали тоже там быть. Но дьяк той школы не допустил, а пошел к городничему и ему рассказал, а я с ними (парнями. — *О.К.*) много препирался, и в тот час служители пришли, отняли меня от них и их из школы выгнали. Но они, умысля на меня коварство, пошли к сотнику конпанейскому[25], который в то время в том селе Поповой Горе стоял на квартирах, в полк Чаусников, и объявили, что я с ними в селе Синявке договорился, что, если они доведут меня до Могилева, я там куплю им по паре сукна. Да еще сказали неправду, что, де он, идя с нами, много обид нанес дьячкам по разным школам, и который дьяк ему придется не по нраву, того ночью беспощадно побьет и пойдет, а у других де — книжки поотнимал. И так нам с ним дальше идти невозможно, а деньги и книжки и ныне у него имеются. Тогда тот сотник, который в то время был в корчме со своими казаками, прислал пять конпанейцев, и те, взяв меня насильно из школы и приведя к сотнику,

[25] Конпанейцы — рядовые полка.

одежду и книжки забрали. Этот же сотник, не спросив меня, откуда я и какого роду, повелел снять с меня кунтуш и кафтан и отдать моим злоумышленникам, а книжки — кабатчице отдал за бочонок меду, поскольку неплохие книжки те были. И оставшиеся деньги, что от тех десяти рублей еще оставались, которые я злодеям отдал, еще два рубля, они у меня отобрали, и я только в одной рубашке, стоя перед ними, с немалыми рыданиями слезы испускал; и прочие мои вещи, рубахи, пояса — на пропой кабатчице отдали. Но я, стоя, сердцем ко Господу Богу и Матери Божьей, возводя очи свои, молился тайно, прося избавления от такой напасти и разорения, и вспоминал свой тайный уход от отца и матери. И уже сотник, и казаки, и мои враги Семен и Иван меду, накупленного за мои книжки и прочее, напившись, приказали петь перед ними вместе с моими врагами; они и меня принуждали, однако я, хотя и пытался петь, но из-за обильных слез не мог и голоса подать. Тогда тот сотник приказал мои ноги в деревянные колодки забить. Этот крик и шум один атаман конпанейский, лежавший пьян за печью, услышал и встал, сказав: "Что это тут у вас за шум и пение?" Тот сотник ему отвечал: "Иди за стол да пей мед, нам злодея эти парни привели". Этот атаман, немолодой человек, сев рядом с сотником, сказал: "Где тот злодей?" И сотник повелел привести меня из-под караула из сеней в двух колодках и одной рубахе. И представили меня перед атаманом, который долго смотрел мне в глаза и спросил: "Из каких ты мест? вроде бы ты мне знаком". И я ему с немалыми слезами отвечал: "Я полку переяславского, из городка Березани". И тот атаман сказал: "Не ты ли Михайла Турчина, сотника, сын?" Тут я от той радости чуть от плача не захлебнулся и попросил воды напиться. И тот атаман стал сотнику и казакам говорить: "Вы и сами все в доме отца его были, и пили, и ели, когда поход был государя первого Петра Алексеевича в 710 г. под Прут, и он нас по повелению отца своего чествовал и провиант, который нам из сотни полагался, выдавал и записывал", почему он и приметил меня, каков я есть. И начал я подробно этому сотнику и атаману рассказывать, что эти мои злодеи из села Синявки добровольно за мною пошли и что в пути мне от них приключилось, все подробно рассказал. И тогда он, сотник, и атаман повелели колодки на моих ногах разбить, да на моих супостатов, Семена и Ивана, наложить, и до следующего дня в строгом заключении их содержать. И сняв с них мою одежду, мне отдали, и все имущество мое бедное и деньги от них отобрали, что они было взяли — возвратили, а что бочонок меду выпили, из моих денег заплатили. Меня же сотник взял на свою квартиру. По утру же, на рассвете, он, сотник, вместе со всеми сошедшимися атаманами, судил моих клеветников, и когда велели их бить без пощады, они во всех своих злых делах повинились; их еще побивши, повелели казакам из села за границу, за речку Сновку, в польскую землю выгнать, и там, на границе немалые раны нанести и, раздев до рубах, отпустить. Что и было сделано.

Меня же он, сотник, по совету атаманов и казаков, взял писарем (ибо их писарь был в отъезде в Польше), и в квартиру меня определили. Побыл же я немногое время в писарском правлении и побудило меня мое первоначальное желание уйти в Польшу, в Могилев, для обучения латинскому языку и для знания людского обхождения, существующего в других странах. И упросил я сотника и конпанейских атаманов, чтобы меня отпустили, и был ими отпущен. Благодаря Божьей помощи и помощи Божьей Матери случился в то время из города Могилева купец Иоанн Роне, который из Стародуба вез железо; и по просьбе моей к этому купцу, был им взят с собою и с его возами дошел до города Могилева, который стоит над рекою Днепром, и с его, Иоанна Роне, помощью зачислен в школу при церкви Святопокровской, в которой и провел зиму. По весне, по просьбе того же Иоанна Роне, принят в иезуитскую латинскую школу. И там случалось мне ходить к церкви благочестивой Преображения Господня, при которой был и дом архиерейский. И когда я пел на клиросе, услышал мое пение покойный ныне архиерей Сильвестр Четвертинский и позвал меня к себе. Этот епископ меня расспросил: "Какой ты веры, и из какой ты страны, и где проживал, и где живешь сейчас?" Этому епископу рассказал я о своей вере и из какой я страны и где проживал, о чем выше сего написано, и где живу сейчас. Этот же епископ стал меня упрашивать, чтоб я занял у него певческую должность и обещал за это вознаграждение, на что я охотно согласился. И когда я должности певческой стал обучаться, то ксендзы[26] уже в школу меня не пускали, сказав, что, ты де схизматик[27], раз у схизматиков живешь. И когда через год обучился и освоил искусство партесное[28], то однажды на Светлое Воскресенье на всенощной пел канон на хорах, и регент[29], по его на меня гонениям за то, что его за пьянство отстранили от капеллы, а меня взяли на его место, толкнул меня с хоров через железную ограду, якобы за то, что не достигало пение концерта высоких нот. И я с хоров летел на пол с высоты, равной росту пяти человек, и если бы не упал на женские головы, то бы о камень мраморный разбился. И у многих женщин повреждены были го-

[26] Католические польские священники.
[27] Так католики называли православных.
[28] Пение по нотам хоровых произведений.
[29] Руководитель церковного хора.

ловы, а у одной старухи и полностью голова оказалась сломлена и она в три дня умерла. Меня же Господь и Матерь Божья сохранили невредимым. Он же, регент, испугавшись, убежал из хора и подался к католическим певчим, и с большим коварством с католическими певчими старался как-нибудь меня изувечить, к тому же еще сговорился с теми моими врагами, Семеном и Иваном, которые до того меня хотели убить, но их из села Поповая Гора, бив плетьми, выгнали за границу, а далее они в Могилеве в драгунский полк при замке записались, а потом вскоре православную церковь ограбили и их повесили. [...]

И дойдя до городка Седнева[30], был там задержан по просьбе господина обозного начальника Якова Лизогуба остаться при его церкви в качестве дьячка вместе с певчими. Поскольку после кораблекрушения я и певчие лишились всех своих вещей, то принуждены были остаться. В этом Седневе жил я еще с год и, немного приодевшись, ушел оттуда, поблагодарив, и оставил у господина еще двух певчих, а со мною ушел лишь один парень — Иоанн. И идя много дней, я достиг отчего своего дома и застал еще в живых отца и мать, и всех братьев и сестер, и деда своего Стефана (который уже жил вместе с нами и, достигнув ста тридцати лет, умер). Пожил немного дома и был принят в певчие регентом на кафедру переяславскую к преосвященному Кириллу Шумлянскому. И так прожив год, изволением Божьим и по благословению своих родителей, в 1718 г., в последних числах февраля, женился на дочери бывшего сотника березанского Михаила Пилипенка, Анастасии. [...]

Перевод О.Е. Кошелевой. По публ.: Автобиография южнорусского священника первой половины XVIII века // Киевская старина. 1885. Т. 11. № 2.

НАЩОКИН Василий Александрович (1707—1761)

Родился в дворянской семье. Получил домашнее образование, затем учился в Петербурге. Вся жизнь Нащокина была отдана воинской службе. В 12 лет он был распределен солдатом в Белгородский гренадерский полк, затем сменил его на Углицкий полк. В 1728 г. получил чин подпоручика в Лефортовском полку, затем стал адъютантом в лейб-гвардии Измайловском полку. Участвовал в русско-турецкой войне с 1737 по 1740 г., в 1738 г. получил капитанский чин. С 1740 г. в основном нес службу при царском дворе, командовал подразделениями, стоявшими в Петергофе. Имел постоянное повышение в чинах: в 1748 г. — секунд-майор, в 1753 г. — генерал-майор, затем — генерал-поручик, в 1761 г. — генерал-лейтенант.

Записки В.А. Нащокин писал в 1759—1760 гг. Рукопись хранил у себя его старший сын Воин Васильевич, она была передана для публикации внуками в 1842 г.

ЗАПИСКИ

Родился Василий Нащокин от Александра Федоровича, матери Ульяны Васильевны в 1707 г., генваря 7 числа, на первом часу дня, в четверток, в Москве.

Был я по шестому году от рождения своего, однако, очень помню, как в Москве был большой пожар и подорвало гранатной двор, в 1712 г., маия 13 дня.

В том же году, вскоре после пожара, большая сестра, Дарья Александровна, замуж шла, за подполковника Федора Климонтовича Чихачева.

В 1713 г., в генваре месяце, родилась меньшая сестра, Анна Александровна, и тогда, после пожара, одна светличка была построена. А тезоименитство ея февраля 3 числа.

В 1714 г. брат большой Петр Александрович поехал в Малороссию и там записан в драгуны, в корпус Петра Матвеевича Апраксина.

В 1715 г. осенью не стало Крон-Принцессы, супруги царевича Алексея Петровича, и погребена в Петербургской крепости[31], под соборною колокольнею Петра и Павла.

В исходе того ж года братьи мои большие, Федор, Григорий, Иван, повезены батюшкою в Петербург на смотр[32] и определены в Академию.

В 1716 году и я приехал в Петербург и был в школе.

Оного ж года, в Петербурге весьма было малолюдно, и полков, кроме гарнизона, ничего не было, а были все с Государем в немецких краях, а прочего знатного в Петербурге ничего не происходило.

В начале 1717 г. Государь изволил быть в немецких краях и во Франции.

Того ж года в марте месяце из Академии выбраны в гардемарины знатное шляхетство, в том числе взят брат мой Федор Александрович, и того ж марта месяца определен в Ревельскую эскадру, а поехал в Ревель с князь Михайлом Белосельским, и служил на лице[33] кампанию на корабле Перле, и были при Готланде и взяли на море шведскую шняву[34].

[30] Турчиновский до этого рассказывает, как из Могилева ушел в Шклов, где тоже попал в драку с католическими церковными служителями, был тяжело ранен и бежал из города вместе с несколькими певчими на речном судне по Днепру. Судно потерпело крушение, но его пассажиры спаслись, и дальше они двинулись в путь пешком.

[31] Петропавловская крепость.

[32] Дворянские смотры недорослей, во время которых они распределялись по службам, в том числе и в школы.

[33] Т.е. лично.

[34] Шанява — вид морского судна.

Того ж года октября 21 дня, Государь изволил, и с Государынею, изо Франции возвратиться в Петербург. А при первом Его Величества приезде на яхте из Кронштата, как приблизился рекою Невою, тогда из пушек пальба была с города и адмиралтейской крепости. И по приезде изволил, не много мешкав во Дворце, пойти в Адмиралтейство, где довольно по работам изволил ходить, а за ним мастера корабельные, тако ж и Иван Михайлович Головин.

И я тогда имел счастие видеть своего Государя Монарха впервые, и хотя и молод был, однако с несказанным порадованием остался, увидев своего Государя и слыша довольно славного Монарха великие дела. И зело нас много было тогда малолетных дворян, и как мы, по детскости, не однажды заходя смотрели в очи Его Величества, и Его Величество спросил полковника Герасима Ивановича Кошелева, увидя нас немалым числом, который доносил о нас, что дворяне приехали к смотру, а другие определены в Академию.

А из Адмиралтейства при самой ночи Его Величество изволил идти во дворец, и за ним поехал Иван Михайлович Головин.

Государь тогда был в платье синем, покроем шведским, и в картузе; волосы имел маленькие и зачесаны маленькою косою гребенкою и, как сперва увидели, дивились той первой моде, что гребешок у Государя в волосах.

По прибытии Государя из Франции, 13 декабря, публикован указ, чтоб золота и серебра не носить, что всеми и было прекращено.

Того ж месяца лейб-гвардии Семеновского полка майор Князь Волконской расстрелян близ церкви Живоначальныя Троицы, за некоторое преступление, что тогда было указом объявлено.

В 1718 г. Государь изволил быть в Москве, и привезен был царевич Алексей Петрович из немецких краев, и тогда производились не малые розыски, а в апреле месяце казнены за преступление: Степан Глебов и Александр Кикин, который прежде был в великой милости у Государя[35].

Из Академии другой выбор был во флот в гардемарины; взят тогда брат Иван Александрович, и того ж году пошел в первую кампанию на лице.

В 1719 г., марта 10 дня, я Василий Нащокин написан в солдаты, в дивизию генерала и кавалера барона фон Галларта, в Белогородской пехотной полк.

[35] Царевич Алексей Петрович обвинялся отцом Петром I в государственной измене, в процессе расследования арестовывались и казнились многие подозреваемые в сговоре с царевичем лица.

В том же году весною было погребение, с великим церемониалом, покойному первому Российскому генерал-фельдмаршалу, Св. Апостола Андрея и Мальтийскаго орденов кавалеру, Борису Петровичу Шереметеву, и тело его для погребения с Москвы привезено, и от двора его, в препровождении до Александр-Невскаго монастыря, Его Императорское Величество, всемилостивейший Государь, сам трудиться изволил итить пеш, со всеми министры. А пред гробом шли два полка лейб-гвардии, Преображенский и Семеновский. И при погребении все убрано было глубоким трауром, и погребен во оном монастыре при отправлении церковной процессии. Окончилось то погребение троекратною пальбою из мелкого ружья.

В том же монастыре, по Высочайшему указу, погребен генерал-аншеф и кавалер Андреевскаго ордена Адам Адамович Вейд.

И при гробах оных персон портреты на знаменах.

В том же году маия 29 дня, по полудни, в Петербурге на Фонтальной речке, близ дома генерала-адмирала и кавалера Федора Матвеевича Апраксина утонул брат мой большой Григорий Александрович, купаючись во оной речке, а при том несчастливом случае я сам случился быть. Найдено тело его на другой день, по полуночи в 9 часу. От рождения ему было 18 лет. Погребен на Выборгской стороне, у церкви Сампсония Странноприимца. После погребения на другой день брат Федор Александрович от батюшки наследником учинен во всем недвижимом имении, по указу 1714[36]. [...]

Публ. по: Записки Василья Александровича Нащокина. СПб, 1842.

МУРАВЬЕВ Матвей Артамонович (1711—ум. после 1777)

Дворянского происхождения. Учился в Инженерной школе Петербурга. После успешных чертежных работ в Риге был пожалован инженером-прапорщиком в чертежную гр. Мухина. В 1737 г. имел чин подпоручика, в 1744 г. — чин капитана-поручика. В качестве военного инженера исполнял множество работ по укреплению и снятию планов каналов и крепостей. В 1755 г. — инженер-майор, участвовал в русско-прусской войне. Покинув инженерный корпус, стал комендантом опорного пункта в Заднепровском крае-крепости Святой Елисаветы (на южной границе г. Елисаветграда). В 1763 г. определен начальником канцелярии "Боровицкие пороги", управлявшей водными коммуникациями. Получил чин генерал-майора. В 1777 г. был разбит параличом. М.А. Муравьев — отец известного диплома-

[36] Указ о единонаследии, по которому менялся принятый прежде порядок передачи недвижимого наследства всем сыновьям в равных долях. Согласно этому указу наследником недвижимости мог стать лишь один из сыновей.

та И.М. Муравьева и дед декабристов Сергея, Матвея, Ипполита Муравьевых-Апостолов.

Воспоминания написаны в 1770-е гг., когда Муравьев вышел в отставку и поселился в имении. Рукопись сохранилась в Гамбургской миссии, где служил сын автора И.М. Муравьев. Видимо, он готовил ее к публикации.

"ЖУРНАЛ ОТ НАЧАЛА РОЖДЕНИЯ МОЕГО..."

1711. Родился я 1711 году ноября 12-го дня в отчизне родителя моего[37]. *Родитель наш был в Кронштате в Кронштатском гарнизоне в Островском полку. Тогда называли полки по фамили<и> полковника. Родительница наша дочь того полковника Петра Ивановича Островского*[38]. И по рождении моем, дожидая родителя, крещен шести недель[39]. Восприемником был майор Петр Иванович Неелов.

Но как родитель продолжал службу в Кронштате, то и я воспитываем был там же, и болшою частию у своего деда Островскаго. Тогда наша бабка еще жива была, родом из Смоленска, а о фамилии позабыл. *Чрез родительския напоминания чуть помню как во сне, когда государь Великий Петр приезжал в Кронштат, всегда квартиру имел у деда нашего. И я удостоился быть носим на его руках. И так думаю, что мне был 4-й или 5-й год. Тогда заводился Кронштот, то есть гавень Великого Петра, канал и доки, и оборонительные крепости, шанцы, и редуты.* А как переставилась[40], то взят был я к родителю и тут с покойным братом Федором Артамоновичем[41] обучались грамоте и у пленников шведских по-немецки, но, по заключении мира со шведом[42] и за отлучкою родителя нашего для переписи душ[43], не окончили языков. Тогда мы остались на воспитании родительницы нашей. Имущества за малоимением чем себя содержать в городе, а особливо в Кронштате, а более и для деревенской экономии, поехала в деревню. А нас оставила в своем доме и отдала учиться математике одному штурманскому ученику Раславлеву. *При нас была старуха за мамку оставлена Ульяна, которая говаривала: "Дети, а дети, я горяченко сварю, а за*

[37] Муравьев Артамон Захарьевич (ум. 1745), полковник.

[38] Курсивом выделен текст, помещенный в рукописи в графу "примечания".

[39] Т.е. намного позже обычного, так как детей крестили через неделю после их рождения.

[40] Умерла.

[41] Муравьев Федор Артамонович (1710—ум. не ранее 1764), полковник.

[42] Русско-шведская Северная война окончилась заключением Ништадтского мира в 1721 г.

[43] Речь идет о первой ревизской переписи населения, проходившей в 1719—1727 гг.

укус[44] *не берусь"*. Мы начали учиться; то не может быть никому вероятно, что мы с братом Федором Артамоновичем выучили в три месяца арифметику, геометрию, штир-геометрию, план-геометрию, тригонометрию, плоскую навигацию и часть меркаторской исверики. Тогда учитель, наш увидя успех, а третий был брат двоюродный[45] весьма туп, и хотелось нашему учителю, чтоб мы ему показывали в науках. Притом же видя сотоварища нашего тупо обучающагося, просил нас показывать ему. "А я напротив тово, — говорил он, — покажу вам без часов знать время часы и минуты". И так мы пристали к нему: "Пожалуй, научи нас! А мы будем старатца показывать". То он по нашему обязательству показал пулсовую жилу: "Вот минуты и часы". Мы, продолжав нашу науку до июня месяца, вздумали ехать в деревню к родительнице, а болшою частию для ягод и огородных фруктов.

Тогда у нас была лошадь одна с телегою. Нас было трое. Слуга немного старее нас, так велик толко, что мог запрячь лошадь. И по нашему желанию отправил дядя наш. Доколе мы ехали Ингермоландиею[46], веселились для того, что были поля с хлебом посеянным, также и трава цветами украшена, дорога же широкая и сухая. Но когда въехали в границы Новгородскаго уезду, пришли леса. В то время нашол на нас ужас, особливо пришло в голову медведь или другой какой зверь нападет на нас и всех переломает, и когда в лесу што-нибудь хряснет, то все кричим со слезами. А притом вздумали, что не туда едем, по щастию нашему увидели огонь, обрадовались и побежали пешком. Нам не препятствовала ни грязь, ни вода и ничто. А то самое было в полночь. Как же приближились к огню, то увидели, что около огня спят мужики, которые от крику нашего в то время и проснулись. Увидя ж, что мы все ребята, спрашивали оне: "Откуда и куда идете или едете?" Когда ж мы о себе начали сказывать, то они знают наш и дом, и положили нас около огня. Тут как же мы заснули спокойно, что и все наши труды, и слезы были забыты. Сие происходило при урочище, называемых Свиных Гор, и служило пристанью разбойническою, и тут спали мы часу до десятого. Когда ж проснулись, то нам мужики наварили рыбы, а рыба была все окуни болшие и весма жирные, коих ловят те мужики в Глу-

[44] Вкус.

[45] Муравьев Аврам Филиппович. Убит во время русско-турецкой войны 1736—1739 гг.

[46] Ингерманландия, или Ижорская земля, местность по берегам Невы и побережью Финского залива, некогда населенная финскими народностями и входившая в состав Вотской пятины Великого Новгорода. Присоединена к России в результате русско-шведской войны (1702—1704) Петром I и превращена сначала в Ингерманландскую, а с 1719 г. — в Петербургскую губернию.

хом озере. И после нашего стола показали нам путь, и мы поехали благополучно. Как же выехали из лесов, тогда нам весело стало. Забывая весь свой страх, доехали в деревню двоюроднаго брата, который с нами ж компанию имел. Звали его Аврам Филипович. Тут начевать и приехали к родительнице. Она, увидя нас, и испужась, вскричала: "Откуда взялись и хто де вас отправил, таких малых?" На что мы объявили: "Матушка, нам нетерпеливо стало, что вас давно не видали". И тогда начала цаловать со слезами. И так тут мы жили все лето и всю зиму.

По исходе же зимы поехали в Петербург. А наука у нас почти забыта. А из Петербурга опять-таки поехали в Кронштат, и матушка наша записала нас в службу, когда мы имели лета: брат Федор Артамонович тринадцать, а я — двенадцать. Родитель же наш не бывал, а пожалован в майоры в Санкт-Петербургской гарнизон и полк Санкт-Петербургской. И как мы приехали в Кронштат к делу своему, у меня ж охота была к наукам, хотелось очень мне зачатое учение окончить. Ходил в Штурманскую школу, которую тогда обучал штурман Бурлак (он был апрабован[47] государем, когда изволил ходить в Низовой корпус), тогда я болше понял.

1728. И как исполнилось пятнадцать лет по записке ж нас в службу 728-го г. в марте месяце[48], брат пожелал в полк к деду, а я в школу Инженерную. Но как я доволно уже знал математики, то время не прошло дву месяцов, представлен был в контору инженерную. Тогда командующий был Любрас, который свидетельствовал[49] сам меня и по свидетельству пожаловал кандуктором[50] в первой клас, и присвоил меня в свою команду. Тогда он командовал в Риге, куда и я того ж году в июне месяце отправился. Еще со мною командированы были втораго класа кандукторов двое. Тогда моя родительница при своем благословении пожаловав мне в дорогу спутницу, образ Пречистыя девы Мари[и] Богородицы именуемые Тихфинския, которым я и тебя[51] благословил; да для дороги денег тридцать рублей, лошадь и двух человек (а более своими слезами обливала нескудно). Вот с каким богатым награждением поехал с сотоварищами, которые небогатее меня были.

Приехав же мы в Ригу, поставлены были в квартиру генерала Любраса в дом каменной, где заведена была чертежная. В небытность[52] Любраса командовал инженер подполковник Лемхин. Он присмотрел,

[47] От лат. approbare — 1) принять, утвердить; 2) испытать.

[48] В 1728 г. автору было 17, а его брату — 18 лет. Записаны в службу в 1723 г.

[49] Экзаменовал.

[50] Помощником военного инженера.

[51] Обращение к старшему сыну Ивану.

[52] Отсутствие.

что я против других брал преимущество. А притом, как казался ему я дитятею, дразнил меня, как я разстался с матушкою, отчего я часто и плакивал. Раз ему случилось поставить и положить на меня два ружья за мою шалость. *Я в моих летах очень был резов*. А вот за что. Квартира наша была на болшой улице. Вздумалось мне пошутить: раскаля болшой подков, бросил против своей каморы[53]. Тогда шол один езел, полстился на этот подков, хотел взять его в белых лайковых перчатках — обжог персты[54]. Тогда мне было смешно. Но он, не хотя ево бросить, взял на палку, обмоча в воду в канале, и хотел положить в карман. То увидя, мои люди бросились отнимать, отчего зделалась драка. Вот моя вина. Не забуду тебе и то объявить, как выше сказано, с чем я отправлен, будучи в Риге, денги и лошадь прожил за кушанье за каждой месяц по три рубли, а болше на лакомство. Рига доволно имеет аптек, в которых продают сахарныя макароны, то никогда не выходили из кармана. Тут по щастию моему были два человека моих людей, которые меня кормили от работ своих. [...]

Публ. по: Журнал от начала рождения моего и как во все текущее время я до совершенного лета возраста воспитываем был и потом, вступя в службу, каковую отечеству оказал, находясь во оной, ревность о том обстоятельно значит ниже сего // Российский архив. История отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв. Т. 5. М., 1994 (Публ. Т.Г. Дмитриевой, М.М. Якушкиной и Г.Р. Якушкина).

ДОЛГОРУКАЯ Наталья Борисовна, кн. (1717—1771)

Была дочерью знаменитого петровского фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, командовавшего более десяти лет русской армией, участника Крымского и Азовского походов, Северной войны. Наталья Борисовна рано потеряла родителей и жила перед замужеством под опекой старшего брата. Будучи самой богатой невестой России, она привлекла внимание фаворита царя Петра II, Ивана Долгорукого, о котором французский посланник Де Лира писал: "Ума в нем было мало... но зато много спеси и высокомерия...". Однако Наталья Борисовна искренне полюбила своего жениха и вышла за него замуж несмотря на то, что неожиданная смерть Петра II накануне свадьбы превратила Ивана Алексеевича Долгорукого из фаворита в опального преступника. Долгорукая поехала с мужем и его семьей в ссылку в Сибирь, в Березов. После трагических событий — казни ее мужа по вновь открывшимся обстоятельствам как государственного преступника — Наталье Борисовне в 1740 г. разрешили вернуться в Москву с двумя малолетними

[53] Комната, помещение.

[54] Пальцы (старослав.).

сыновьями Иваном и Михаилом, родившимися в Березове. В 1758 г. она приняла монашеский сан во Фроловском женском монастыре в Киеве.

Ее "Своеручные записки" написаны в монастырской келье в 1767 г. по просьбе сына Михаила и невестки, часто навещавших Наталью Борисовну. Записки хранились в семье как бесценная реликвия. Внук Н.Б. Долгорукой Иван Михайлович (его воспоминания, в том числе и о бабушке, вы можете прочесть в настоящем издании) впервые опубликовал отрывки из них в 1810 г. в журнале "Друг юношества". В дальнейшем рукопись публиковалась неоднократно, в настоящее время оригинал ее утрачен.

Записки Долгорукой охватывают один год ее жизни — 1730-й, начавшийся ее помолвкой и окончившийся жизнью в Березове. Они являются первыми русскими воспоминаниями, написанными женщиной, и своим глубоким психологизмом намного опережают литературные традиции ее времени.

"СВОЕРУЧНЫЕ ЗАПИСКИ"

[...]

Я осталась малолетна после отца моево, не больше как пяти лет[55], однако я росла при вдовствующей матери моей во всяком довольстве, которая старалась о воспитании моем, чтоб ничево не упустить в науках, и все возможности употребляла, чтоб мне умножить достоинств, я ей была очень дорога: льстилась мною веселитца, представляла себе, когда приду в совершенные леты, буду добрый товарищ во всяких случаях, и в печали и в радости, и так меня содержала, как должна благородной девушке быть, пребезмерно меня любила, хотя я тому и недостойна была. Однако все мое благополучие кончилось: смерть меня с нею разлучила.

Я осталась после милостивой своей матери 14 лет. Эта первая беда меня встретила. Сколько я ни плакала, только еще все недоставало, кажетца, против любви ее ко мне, однако ни слезами, ни рыданием не воротила: осталась я сиротою, с большим братом[56], который уже стал своему дому господин. Вот уж совсем моя жизнь переменилась. Можно ли все те горести описать, которые со мною случались, надобно молчать. Хотя я льстилась впредь быть сщасливой, однако очень часто источники из глаз лились. Молодость лет несколько помогала терпеть в ожидании впередбудущего сщастия. Думала, еще будет и мое время,

[55] Фельдмаршал граф Борис Петрович Шереметев умер в 1719 г., т.е. его дочери Наталье было тогда два года.

[56] Граф Петр Борисович Шереметев (1713—1787), в дальнейшем — самый богатый помещик России, владелец усадьбы Кусково.

повеселюсь на свете, а тово не знала, что вышняя власть грозит мне бедами и что в будущее надежда обманчива бывает[57].

И так я после матери своей всех кампании лишилась. Пришло на меня высокоумие, вздумала себя сохранять от излишнева гуляния, чтоб мне чево не понести, какова поноснова[58] слова — тогда очень наблюдали честь; и так я сама себя заключила. И правда, что тогдашнее время не такое было обхождение: в свете очень примечали поступки знатных или молодых девушек. Тогда не можно было так мыкатца, как в нонешний век. Я так вам пишу[59], будто я с вами говорю, и для тово вам от начала жизнь свою веду. Вы увидите, что я и в самой молодости весело не живала и никогда сердце мое большого удовольствия не чувствовало. Я свою молодость пленила разумом, удерживала на время свои желания в разсуждении о том, что еще будет время к моему удовольствию, заранее приучала себя к скуке. И так я жила после матери своей два года. Дни мои проходили без утешки.

Тогда обыкновенно всегда, где слышат невесту богатую, тут и женихи льстятца. Пришло и мое время, чтоб начать ту благополучную жизнь, которую я льстилась. Я очень была сщастлива женихами; однако то оставлю, а буду вам то писать, что в дело произошло. Правда, что начало было очень велико: думала, я — первая щастливица в свете, потому что первая персона в нашем государстве был мой жених[60], при всех природных достоинствах имел знатные чины при дворе и в гвардии. Я признаюсь вам в том, что я почитала за великое благополучие, видя его к себе благосклонна; напротив тово и я ему ответствовала, любила ево очень, хотя я никакова знакомства прежде нежели он мне женихом стал не имела, но истинная и чистосердечная ево любовь ко мне на то склонила. Правда, что сперва эта очень громко было, все кричали: "Ох, как она щаслива!" Моим ушам не противно было это эхо слышить, а не знала, что это щастие мною поиграет, показало мне только, чтоб я узнала, как люди живут в щастии, которых Бог благословит. Однако я тогда ничего не разумела, молодость лет не допускала ни о чем предбудущем разсуждать, а радовалась тем, видя себя в таком благополучии цветущею. Казалось, ни в чем нет недостатку. Милой человек в глазах, в разсуждении том, что этот союз любви будет до смерти неразрывной, а притом природные черты, богатство; от всех людей почтение, всякой ищет милости, рекомендуютца под мою про-

[57] Долгорукая имеет в виду свою несчастную судьбу, связанную с опалой и казнью ее мужа. Подробнее см. выше биографический комментарий о Н.Б. Долгорукой.

[58] Поносящего, осуждающего.

[59] Старшему сыну Михаилу и его жене.

[60] Иван Алексеевич Долгорукий (1708—1739), фаворит царя Петра II.

текцию. Подумайте, будучи девке в пятнадцать лет так обрадованной, я не иное что думала, как вся сфера небесная для меня переменилась. [...]

Публ. по: Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой, дочери фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева / Подгот. текста, послесл., примеч. Е. Анисимова. СПб, 1992.

ДАНИЛОВ Михаил Васильевич (1722—ум. после 1790)

Происходил из обедневшей и многодетной дворянской семьи. В 1743 г. из Артиллерийской школы выпущен в младшем офицерском чине фурьера и оставлен при Чертежной школе "для рисования планов". В 1749 г. — штык-юнкер. С 1751 г. занимался организацией в Петербурге праздничных фейерверков и иллюминаций, в 1756 г. получил звание обер-фейерверкера в ранге поручика, а в 1757 г. — обер-фейерверкера в ранге капитана. С 1759 г. вышел в отставку (получив в 1765 г., после воцарения Екатерины, майорский чин), поселился в имении, где и прожил до конца жизни. Данилов — яркая личность, человек, прекрасно знавший литературу Просвещения, поклонник Декарта и Монтеня, Руссо и Вольтера. Он — автор первого отечественного учебного пособия по артиллерийскому делу и пиротехнике, а также религиозно-философских сочинений, опубликованных в 1783 г. под заголовком "Письма к приятелю".

"Записки" М.В. Данилова (1771) — первое в России мемуарное сочинение бытописательного характера. Изложенные в форме генеалогии рода Даниловых, они рисуют яркую картину быта и нравов малопоместного дворянства, его холостую жизнь в Петербурге, женитьбу, воспитание пасынка и многое другое.

ЗАПИСКИ

[...] Я родился в 1722 году. Тогда отца моего разбойники разбили, и подана была на сих злодеев явочная челобитная, с которой досталась мне копия, почему я и рождение свое в том году почитаю. Был я любимый сын у моего отца. От роду моего лет семи или более, отдали меня в том же селе Харине[61], где отец мой жил, пономарю Филипу, прозванием Брудастому, учиться. Пономарь был роста малого, широк в плечах, борода большая, круглая покрывала грудь его, голова с густыми волосами равнялась с плечами его, и казалось, что у него шеи не было. У него в то же время учились два брата мне двоюродные. Елисей и Борис. Учитель наш Брудастой жил только один с своею женою весьма в малой избушке. Приходил я учиться к Брудастому очень рано, в начале дня, и без молитвы дверей отворить, покуда мне не скажут "аминь", не смел. Памятно мне мое учение у Брудастого и поднесь, по той может быть причине, что часто меня секли лозою.

[61] В Тульском уезде.

Я не могу признаться по справедливости, чтоб во мне была тогда леность или упрямство, а учился я по моим летам прилежно, и учитель мой задавал мне урок учить весьма умеренный, по моей силе, который я затверживал скоро: но как нам, кроме обеда, никуда от Брудастого отпуска ни на малейшее время не было, а сидеть на скамейках бессходно и в большие летние дни великое мучение претерпевали, то я от такового всегдашнего сидения так ослабевал, что голова моя делалась беспамятна и все, что выучил прежде наизусть, при слушании урока в вечеру и половины прочитать не мог, за что последняя резолюция меня, как непонятного, сечь. Я мнил тогда, что необходимо при учении терпеть надлежит наказание. Брудастого жена во время нашего учения понуждала нас в небытность своего мужа, всечасно, чтоб мы громче кричали, хотя б и не то, что учим. Отраднее нам было от скучного сиденья, когда учитель наш находился в поле на работе: по возвращении Брудастого отвечал я во всем урок так, как утром при неутомленных мыслях, весьма исправно и памятно. Из сего ныне заключаю, что принужденное детям учение грамоте неполезно, потому что от телесного труда изнемогают душевные силы и приходят в обленение и унылость: явственнее можно усмотреть сию правду, принудить только ребенка играть сверх его воли: тогда ему та игра и игрушки от скуки омерзеют, и тою игрою мало будет уже играть, или вовсе возненавидит. В подобие сего обретается: разных рукодел мастера обременяют своих учеников не по силе лет их, из коих некоторые, не возмогши снести такой налагаемой на них тягости учения, обращаются в бегство, кроются по разным местам, вымышляют бездельные обманы, наконец от воображения страха, что будут их наказывать за побег жестоко, приходят в отчаяние, делаются бездельниками на век. Вот какой плод происходит от таковых беспутных и ни к чему годных учителей, каков был мой Брудастой. Вымышлял иногда и я, от такового скучного сидения, напрасно показывать какие ни есть за собою затейныя приключения и болезни, коих отнюдь во мне не бывало.

В один день, когда учитель наш был в поле с женою своею на работе, брат мой двоюродный Елисей (меня и Бориса, своего брата, постарее и ко всяким шалостям поотважнее), увидя что на дворе Брудастого никого кроме нас троих нет, поймал учителева любимого кота серого, связал ему задние ноги и повесил в сарае, в котором мы учились, на веревке за задние ноги, сек кота лозою и что приговаривал не упомню; только то помню, что мы на его шутки глядя, с Борисом, сидя со страху, чтобы не застал Брудастой, дрожали. И в тот час, якобы на избавление своего кота, явился во двор свой нечаянно наш учитель. Елисей от сего явления оробел, не успел кота с пытки освободить, кинулся без памяти на скамейку за книгу свою учиться, потупя глаза в книгу и дух свой притаил, не мог дышать свободно. Брудастой, увидя кота, вися-

щего на веревке, от досады и жалости остолбенел; потом пришел в такое бешенство, что ухватил метлу, связанную из хворосту, случившуюся в сарае, зачал стегать раз за разом без разбора по Елисею и по книге, и оною метлою, отрывая, подымал вверх листы из книги, которые по всему сараю летали. Брудастой был в великом сердце, как бешенный: стегая Елисея, тою же метлою доставал несколько страждущего по близости на веревке повешенного кота, который чаятельно[62] усмирил зверский тогдашний гнев его своим мяуканьем и тем сохранил остатки листов в книге. Мы от сей драки, с Борисом, кроме страха ничего не претерпели от Брудастого: а Елисею, достоверно сказать можно, что не меньше книги досталось, которая великую от метлы претерпела в листах утрату.

Выучил я у Брудастого азбуку. Отец мой отвез меня близ города Тулы к живущей вдове, Матрене Петровне, которая в замужестве прежде была за нашим свойственником Афанасьем Денисовичем Даниловым. Матрена Петровна имела при себе племянника родного и своему имению наследника, Епишкова; по той причине просила отца моего, дабы привел к ней, как грамоте учиться, так и племяннику ея делать компанию; а как вдова своего племянника много любила и нежила, потому не было нам никогда принуждения учиться. Однако я, в такой будучи воле и непринужденном учении, без малейшого наказания скоро окончал словесное учение, которое состояло только из двух книг, Часослова и Псалтыри. Вдова была великая богомольщица: редкой день проходил, чтобы у ней в доме не отправлялась служба, когда с попом, а иногда слуга отправлял один оную должность. Я употреблен был в таковой службе к чтению, а как у вдовы любимый ея племянник еще читать не разумел, то от великой на меня зависти и досады, приходя к столу, при котором я читал псалмы, своими сапогами толкал по моим ногам до такой боли, что я до слез доходил. Вдова, хотя и увидит такие шалости своего племянника, однако более ничего не скажет ему, и то протяжно, как нехотя: "полно тебе шутить, Ванюшка", и будто не видит она, что от Иванушкиной шутки у меня из глаз слезы текут. Она грамоте не знала, только всякой день, разогнув большую книгу на столе, акафист Богородице всем в слух громко читала. Вдова охотница великая была кушать у себя за столом щи с бараниной; только признаюсь, сколько времени у ней я ни жил, не помню того, чтоб прошел хотя один день без драки: как скоро она примется свои щи любимые за столом кушать, то кухарку, которая готовила те щи, притащат люди в ту горницу, где мы обедаем, положат на пол и станут сечь батожьем не-

[62] Вероятно.

милосердно, и потуда секут и кухарка кричит, пока не перестанет вдова щи кушать. Это так уже введено было во всегдашнее обыкновение: видно для хорошего аппетиту. Вдова так была собою дородна, что ширина ея тела немного уступала высоте ея роста. В одно время гуляли мы с племянником ея, и третий был с нами молодой слуга, который нас учил грамоте и сам учился; племянник ея и наследник завел нас к яблоне, стоявшей за дворами, которая не огорожена была ничем, начал обивать яблоки, не спросясь своей тетушки. Донесено было сие преступление тетке его, что племянник около яблони забавляется, обивая яблоки; она приказала всех нас троих привести перед себя на нелицемерный суд и, в страх племяннику, приказала с великим гневом поднять немедленно невинного слугу и учителя нашего на козел, и секли его очень долгое время немилостиво, причитая: "не обивай яблок с яблони". Потом и до меня дошла очередь: приказала вдова поднять и меня на козел, и было мне удара три подарено в спину, хотя я, как и учитель наш, яблок отнюдь не обивал. Племянник обробел и мнил, что не дойдет ли и до него по порядку очередь к наказанию, однако страх его был тщетный; только вдова изволила сделать ему выговор в такой силе, "что дурно-де, непригоже, сударь, так делать и яблоки обивать без спросу моего"; а после, поцеловав его, сказала: "Чаятельно ты, Иванушка, давича испугался, как секли твоих товарищей; не бойся голубчик, я тебя никогда сечь не стану".

Отец мой, приехав к своей свойственнице вдове, поблагодарил ее за мое содержание и взял меня в дом свой. По отъезде моем от вдовы через год пришли к ней ночью разбойники, вломились в хоромы, убили у ней любимую постельную собачку Дульку, а ей выбили передние все зубы ружейным прикладом; забрав пожитки и несколько бочонков с вином и водкою, ушли из деревни вскоре. За разбойниками учинена была собранная от соседей погоня; тогда разбойники покидали за собою на дороге по одному бочонку с вином, для питья погонщикам, погонщики выпивали вино для смелости за разбойниками гнаться. Сим вымыслом разбойники погоню за собою остановили и скрылись во свояси.

Потом отвезли меня в город Данков, в котором тогда воеводою был Никита Михайлович Крюков: он считался с отцом моим родством, а как близко — не упомню, только называл он отца моего "братом". У воеводы был сын Василий, в мои лета или еще моложе. Я жил у воеводы более в гостях, нежели учился: хотя и был у сына воеводского учитель, отставной престарелый поп, только мы не всякий день и зады[63] твердили. Отпустил нас на неделю Рождества Христова воевода с сы-

[63] Ранее пройденное.

ном своим по тому уезду Христа славить и за нами посылал подвод по пяти и более порожних саней, на подаяние за славление. Мы каждый день привозили посланные за нами подводы полны хлебом и живыми курами и по нескольку денег, и в неделю Рождества, как хлеба, так и живых кур, немало натаскали к воеводе. При оном славлении нашем насмотрелся я, что воеводские люди поступают в уезде нахайливее и бесстыднее городских рассыльщиков; они собирали птиц с тех дворов, в которых мы с воеводским сыном не были и Христа не славили.

Немного я в Данкове у воеводы пожил. Отец мой тою же зимою, которою привез, взял меня возвратно в свой дом. Оттуда взял меня наш родственник и однофамилец Анфиноген Антипович Данилов к себе, который был выпущен из гвардии в Глуховский гарнизон подручником. Я, живучи у него, также как у Данковскаго воеводы, ничему не учился, да и родственник мой о сем нималого не имел попечения. Один раз собрался мой родственник с своею женою ехать в Москву; они согласились и меня взять с собою. Учреждение было от них странное: мне и с служанками в кибитке сесть не досталось, а нашлось место назади стать с лакеями за их возком, в котором ехали; забыли они тогда, что мне не было больше десяти от роду лет, к тому же морозы были прежестокие. Уж я терял от сего труда и от стужи свои силы, и склоняло меня ко сну; но судьба мне оказала благодеяние: люди, стоявшие со мною назади повозки, пришли в сожаление обо мне, видя меня в такой крайности, часто брали под руки, сверх моей воли, уже ослабевшего от великия стужи, и бежали со мною по дороге, чтоб я согрелся, а не заснул бы вовсе. Наконец, к великому моему счастию, довезли меня, в самую полночь, в город Каширу жива, и как скоро стали на квартиру, тогда я, быв в превеликой слабости, насилу мог раздеться, лег на полати и тотчас от утомления дорожного уснул крепко. Они, собравшись ужинать, будили меня, чтоб я встал, однако труд их был напрасный, сего им сделать не удалось; а поутру явили обо мне сожаление, по моей слабости, и приговорили возвратить меня назад из Каширы домой и не брать в Москву, чему я был весьма доволен и рад. Поп того прихода, где родственник мой жил, случился быть тогда для своих нужд в Кашире: отвез меня гораздо покойнее возвратно, нежели как я ехал в Каширу. Я приехал к сестре моей Анне, в дом ея, которая жила очень близко родственника нашего Анфиногена; она обрадовалась мне чрезвычайно, что увидела еще живого, а незамерзлого.

Родственник мой Анфиноген, пожив в Москве несколько времени, возвратился в деревню свою, в сельцо Кукшино, где он жил: по приезде своем пригласили меня к себе жить по-прежнему. Потом родственник мой зачал собираться на службу, в Глуховской гарнизон, куда он

определен был; при отъезде своем оказал он мне ласку, сказал, что он меня берет с собой и в Глухов. Благодарил ли я его за такую милость, что мне ехать у него будет также, как в Москву, назади коляски, того не упомню; только то помню, что морозы такие ж жестокие были, как и в московскую поездку. Родственник мой двинулся в Глухов, а мне также за коляскою досталось ехать. Напереди ехали двое верховых, у которых ружья висели на погонах, хотя и не по времени были таковы затеи, вооружать верховых: он лежал в четвероместной коляске, на перине, в лисьей шубе, под лисьим одеялом, напившись прежде досыта взваренной в булатной чашке сжонки[64]. В один день накормили меня соленою рыбою, отчего в дороге такая меня жажда пить понуждала, что я, не пропуская никакой на пути случавшейся воды, пил ее до излишества, от чего сделалась у меня великая боль в голове, и я от сего разного напитка занемог. Родственник мой, узнав о моей болезни чрез своих служащих, позволил мне лечь с собою в коляску, в которой я немного покойнее был, нежели за коляскою. Когда он не спал дорогою, то обучал свою лягавую собаку, которая с нами в коляске пребывала третья; а чтоб собака его не боялась огня и ружейного выстрела, то он на каждый день заряжал часто пистолеты, стрелял и вспышки делал для своей собаки, в коляске. Как бы то ни было, только мы доехали до Глухова благополучно.

Заняли мы квартиру в форштате[65]. Он явился в команду в Глуховском гарнизоне. Я почасту хаживал в крепость, которая есть земляная и немалой обширности: видел я там много каменного строения и каменную соборную церковь. В торжественные дни удивителен мне был, по моим тогдашним летам, колокольный в соборной церкви звон, отменный от нашего звона, потому что звонили без перебора на оцепе[66], всеми колоколами вдруг; также пальба бывала на площади из маленьких чугунных мортир, которые заряжали порохом и заколачивали вместо пыжа пенькового деревянными втулками, от чего происходила по всему городу громкая пальба. Более сего положения места города приметить я ничего не мог, понеже все тогда было покрыто снегом. Немного мы в городе Глухове с своим родственником нагостили: он отпросился в отпуск в дом свой, а при отъезде нашем в возвратный путь купил он три куфы вина простого, не для того, чтоб оного в деревне его было недостаточно, но что оно тогда в Глухове было очень дешево, приво-

[64] Сжонка делается так: налить водки или вина, положить меду и зажечь, покуда загаснет (*Примеч. авт.*).

[65] Форштат (нем.) — пригород.

[66] Очеп — рычаг; колокол, имеющий очеп, издавал звон от раскачки самого тела колокола, а не от раскачки колокольного языка.

зили обозами и продавали на рынке, так жаль было с дешевым винцом расстаться. Он нанял под оныя куфы извощиков и довезли к нему в деревню в целости. По приезде нашем в деревню возвратно застал он жену свою здоровою, которая по отъезде нашем в Глухов оставалась больною. Она встретила мужа своего с таковым выговором, что к чему-де он так скоро поспешил отпроситься в отпуск домой? Видно, ей не было скучно и без него. Она была не очень прихотлива: когда не случалось серебряной ложки, то наедалась досыта и деревянной без разборчивости.

В одно время вздумалось моему родственнику Анфиногену пробовать из куф глуховское вино; прибавляя в рюмки сахару, пил сам, упросил отведать свою жену и мою сестру Анну, которая тогда случилась быть у них в доме. Они все трое вскоре узнали силу глуховскаго вина, выпились из ума, прежде пели песни, плясали, целовались, потом зачали плакать; а наконец, вмешалась к ним тут престарелая хозяйка, наприданная мамка, пошептала нечто обоим, барину и барыне своей на ухо, отчего они вскоре поссорились и чуть не подрались. А как и поутру мира не было, а разврат у родственника моего с женою не кончился, то сестра моя отъехала в свой дом; и я с сестрой удалился, а от нее переехал к своему отцу.

Брат мой большой, Егор, командирован был в 1736 году из Малороссии, где зимовала армия, в Москву, от перваго Московскаго полка, в коем он служил еще капралом; заехал тогда в дом отца свое[го] для свидания, а отъезжая взял меня с собою в Москву. В 737 году, в Москве, записал меня брат мой Василий в Артиллерийскую школу, где он уже был записан прежде меня.

По поступлении моем в школу учился я вместе с братом. Жили мы у свойственника своего Милославского, которого двор был близ Каменного моста. В доме была дворецкого жена, Степановна, в роде своем добродетельная; она меня не оставляла, а паче, как по приезде моем в Москву, в 737 году, занемог я горячкою, которая тогда во всей Москве была пятнами, перевалка и мор, я лежал у оной Степановны, и она за мною, как за своим сыном, прилежно ходила. Простонародие, от своего незнания тогда в Москве, полагало смехотворную причину оной болезни мора, яко бы в Москву в ночи, на сонных и спящах людей, привели слона из Персии. Мы хаживали с братом на полковой артиллерийский двор, близ Сухаревой башни: там была учреждена наша школа, в которой записано было дворян до 700 человек, и обучали без малейшего порядка.

Я был охотник рисовать. Зная мою к рисованию охоту, сидящий близ меня ученик Жеребцов (который ныне имеет честь быть в артиллерии полковником), сыскав не знаю где-то рисунок на полулисте,

принес с собою в школу показать мне рисование; а при учителе нашем, Прохоре Алабушеве, были тогда приватные незаписанные ученики князь Волконский и князь Сибирский. Они по большой части, бродя в школе по всем покоям без дела, разные делали шутки и шалости. Из оных шалунов один, увидя рисунок у Жеребцова, вырвал его из рук и побежал с великою скоростию, как с победою, являть учителю Алабушеву: "Жеребцов ученик не учится, и вот какие рисунки в руках держит". Алабушев был человек пьяный и вздорный, по третьему смертоубийству сидел под арестом и взят обучать в школу: вот какой характер штык-юнкера Алабушева; а потому можно знать, сколь великий тогда был недостаток в ученых людях при артиллерии. Алабушев велел привести Жеребцова перед себя и, не приняв от него никакого оправдания в невинности, поваля его на пол, велел рисунок положить ему на спину и сек Жеребцова немилостиво, покуда рисунок розгами расстегали весь на спине; помню, что не один рисунок пострадал, а досталось и подкладке. Оное страшное награждение, за рисование оказанное, я видя, положил сам себе обещание твердое, чтоб никогда не носить никаких рисунков с собою в школу и товарищу своему Жеребцову советовал тож всегда припомнить, что в нашей школе, вместо похвалы, наказание за рисование учреждено; однако не страшило меня Жеребцова наказание, и я продолжал учиться рисовать, только не в школе.

Ученики были все помещены в четырех великих светилицах[67], стоящих через сени, по две на стороне; когда позволялось покинуть ученье и идти обедать, или по домам, тогда, бывало, учинят великий и безобразный во все голоса крик, на подобие ура, протяжно "шебаш".

[...]

Брат мой Василий, быв со мною года три вместе в Москве, потом взят был указом, с прочими учениками в Петербургскую школу. Свойственник мой Милославский, у которого я при столе питался, женясь на Вельяминовой, престарелой девушке, уехал в Арзамаские свои деревни вторично, оставив меня у своего управителя.

В один день случилось мне идти переулком близ Воскресения в Кадашах, что за Москвою-рекою; усмотрел я в одном доме на окошке поставленный каменный попугай, раскрашенный изрядно. Я, любопытствуя, остановясь против того окна, глядел на попугая пристально: в тот же самый час барыня дородная и хорошего лица, подошед к окну, спросила меня, что я за человек? А как узнала от меня, что я артиллерийский ученик и при том дворянин, то просила меня учтивым образом, чтоб я вошел к ней в хоромы. Она приняла меня ласково и спро-

[67] Светлицы, комнаты с окнами.

сила, где я и далеко ль и у кого живу? Я ее обо всем уведомил и не понял тогда скоро, к чему открывается мне такая ласка от боярыни незнакомой. Наконец, призвала она своего сына, который тогда был на голубятне, гонял тонким шестом вверх голубей; мать его просила меня, чтоб я спросил сына ее, что он учит и хорошо ль знает арифметику. Я, узнав от него, по свидетельству, сказал ей, что он очень мало знает. Она, услыша от меня сие, прибавила своего ко мне учтивства и ласковости, просила меня: не могу ль я ей сделать одолжения, перейтить к ней жить и показывать, когда свободно будет, сыну ее арифметику? Я разсудил, что приличнее мне и компанию делать дворянской жене и ее сыну, Вишняковым, нежели свойственника своего Милославского управителю Комаровскому, у коего я был оставлен на удовольствии. Живши несколько времени у Вишняковой, выучил сына ее арифметике. Сестра родная Вишняковой была в замужестве за Секериным, который записан был в нашей же школе учеником; прилежно просила она меня перейтить жить к ней, дабы вместе ездить с мужем ее в школу. Я за полезное принял от нея сие предложение, перешел к Секериной: намерение ее было, чтоб и муж ее, также как и племянник, от меня несколько занял учения; но не удалось ей сего произвесть по ее желанию в действо, ибо муж ее Секерин великий был шалун, ничего учить не хотел, переписался из школы в армейские полки и тем отбыл от учения.

В 739 году пойман был разбойник, князь Лихутьев, и в Москве на площади казнен: голова его была поставлена на кол. Сие для меня первое было ужасное зрелище.

В 740 году Государыня Анна Иоанновна скончалась, и была великая перемена в правлении: я помню, что три раза был в Чудове монастыре у присяги.

Брат мой Егор приехал в Москву из Петербурга для взятья полковых письменных дел от первого Московского полка, в котором тогда еще служил сержантом. Он выпросил меня из Московской в Петербургскую школу, куда я с ним отправился и приехал в Петербург. Брат мой Василий выпущен был с прочими из школы сержантом, а как по выпуске их было много в школе ваканций, то старанием брата моего Василья определен я прямо в первый класс в Чертежную школу. В оной тогда было три класса, в каждом положено по десяти учеников из дворян и офицерских детей: жалованье было определено в третьем классе по двенадцати, во втором по осьмнадцати, в первом по двадцати по четыре рубля в год: да в той же школе было на казенном содержании из пушкарских детей, которые в школе и жили, шестьдесят человек. Из чертежных учеников выпускали в артиллерийскую службу, из коих ныне в генерал-поручиках и генерал-майорах, а некоторые и ка-

валеры есть; а из пушкарских детей выпускали в мастеровые, в писари полковые и канцелярские. Над оною школою был директором капитан Гинтер, человек прилежный, тихий и в тогдашее время первый знанием своим, который всю артиллерию привел в хорошую препорцию. Я по своей охоте, сверх школьного учителя, сыскав хороших себе посторонних мастеров, хаживал к ним учиться рисовать. Писал я также несколько живописи, разные картины, ланшафты и портреты из масляных красок; в школу прихаживали многие офицеры смотреть моих рисунков, а от похвалы оных смотрителей умножалась во мне прилежность и охота к рисованию. Директор наш Гинтер бесподобен[68] был Алабушеву: отменно меня от других учеников хвалил за рисованье.

В 743 году назначили из артиллерийской школы выпуск, между прочим и я был в числе оных. Я приготовил артиллерийские чертежи и многие рисунки на экзамент, а между тем командирован был на заводы Сестребек, для рисованья вензелей и литер[69] на тесаках, которые готовились для корпуса Лейб-компании[70]; по возвращении моем с Сестребека взят был в Герольдию[71], для рисования дворянских гербов на Лейб-компанцев, чем они тогда удостоены были все. Потом представили нас к фельцехмейстеру[72] князю Гесенгомбургскому: пожалован был фурьером[73]. По выпуске моем из школы директор наш, капитан Гинтер, причислил меня в свою роту и к лаборатории, для рисования планов, в которой тогда был фейверкором Иван Васильевич Демидов. [...]

Публ. по: Записки М.В. Данилова, артиллерии майора, написанные им в 1771 г. Казань, 1913.

БЕРЕЗИН Александр Петрович (1723—1799)

Выходец из крестьян Ярославского уезда, из беднейшей семьи. В 15 лет ушел в Петербург, прислуживал в различных домах, был подмастерьем у купца Зевакина, торговавшего пивом. В его доме Березин выучился грамоте. С 1748 г. торговал в мучной лавке купца Краснощекова. Скопив капитал, в 24 года купил дом в Петербурге и откупился от тягла в своей крестьянской общине. Стал са-

[68] Неподобен, несравним.

[69] Заглавные буквы.

[70] Корпус, выделенный из состава Преображенского полка, состоящий из лиц, способствовавших в 1740 г. восшествию на престол императрицы Елизаветы Петровны. Им были пожалованы различные привилегии, в том числе дворянские гербы.

[71] Учреждение, занимавшееся родословными делами дворянства.

[72] Командир армейской, полевой и крепостной артиллерии.

[73] Низший офицерский чин, занимавшийся заготовкой съестных припасов, фуража и квартир для войска.

мостоятельным предпринимателем, построил пивоварню, записался во 2-ю купеческую гильдию. В 1760 г. стал купцом 1-й гильдии, позднее был избран С.-Петербургским купеческим головой. Обеспечивал деньгами строительство храмов.

Воспоминания Березина по просьбе дочери записаны с его слов в конце 1790-х гг., поэтому текст передается то от первого, то от третьего лица. Это редчайший для XVIII в. случай описания крестьянского детства.

СОКРАЩЕННАЯ ЖИЗНЬ...

Не громкую историю героя писать я начинаю, но жизнь достойную уважения и памяти, мужа, подобного, по случаю откровения, Моисею на горе Хориве, во время пастьбы овец (кн. II Моисея, гл. 3, ст. 7). Родитель его был крестьянин Ярославского уезда, Спасского монастыря, села Еремейцова, селянин Петр Никифоров, а родительница — Татьяна Васильевна. Недостаточное их состояние понуждало его удаляться из недр семейства для промысла в разные места его отечества; в последствии времени, отходя в город Арзамас, не имел на дорогу нужной по тогдашнему времени суммы и заложил бывший у него образ Святого Николая Чудотворца в одном рубле двадцати копейках в селе Мышкине; по прошествии некоторого времени скончался, оставя семейство в крайнем убожестве, но с христианским упованием на милосердие Божие.

С того времени начинается новый период жизни сего терпеливого, неутомимого и богодохновенного мужа, оставшегося после смерти родителя своего в царствование Анны Иоанновны, в 1725 году[74]), от рождения двух лет, в попечении матери, с четырьмя сестрами своими: Евфимией, Матроной, Василисой и Ульяной. Претерпевая нужду во временной жизни сей, достигши восьмого года от рождения, соизволением матери своей отдан был в пастухи в Орловскую деревню, а по девятому году в селение Борок, в коей с шестидесяти скотин получал в лето за паству по одной денежке со скотины, а иногда и за пятьдесят копеек целое лето пас. В сих неусыпных трудах томясь, между палящих лучей солнца и хладных погод Севера, вдруг занемог оспою и в самом обессиленном состоянии болезни принесен был домой на руках уже матери своей, которая дорогою несла его на раменах[75] своих. Во время же болезни моей, вверенное мне стадо пасла сестра моя Василиса до самого моего выздоровления, и с помощью Всевышнего получа прежнее здоровье, принял прежние труды пастыря, но уже в селении Круглицах. Сей столь памятный по откровению своему год случился в

[74] Так в подлиннике. Царствование Анны Иоанновны началось в 1730 г.

[75] На плечах (старослав.).

самое слабое и едва оправленное мое состояние. Осень в прохладных и мокрых днях от проливных дождей и бурь часто загоняла меня искать убежища в густоте кустарников. В один день, испытав всю жестокость непогоды, едва имея силы укрыться под куст, отчаясь, лишась надежды на образ жизни моей, воскликнул: "На что меня мать родила!" Сии слова были последние в унылых и тягостных моих рыданиях. Как вдруг нечто сверх естественное проникло меня и поразило слух мой; внимание мое отверзлось, и все чувства мои были осенены благодатию; глас свыше разлился в душе моей; я оный слышал в сих словах: "Господь тебя на труды поставил, не тужи, молись Господу, и ты будешь богат!" Неведомая радость и утешение озарили сердечное мое движение; я пал в неописанном восторге, — но еще не имел тех полных чувств в столь нежных летах моих, чтобы чувствовать вежливость откровения сего, кроме того, что оное место и куст заметил весьма приметным знаком; но, уповая на промысел Создателя нашего, остался в прежнем моем невинном и бедном состоянии.

Пришедши в возраст девятого года, в деревне Сольце также имел в пастве моей шестьдесят скотин, трудясь целое лето за тридцать копеек, чему свидетелем был бывший впоследствии сторож Вознесения Господня в С.-Петербурге, Григорий Бочков, коего я во время жизни моей уже сколько мог призирал. Потом, на одиннадцатом году, в селении Высоцком и Негодяевском взял стадо в 120 скотин пасти за шестьдесят копеек в лето; зиму же, не имея никакого дела и не быв еще в состоянии оного исправлять, ходил за имя Христово испрашивать милостыни с сестрами, равно мне малолетними, Василисой и Евфимией; но вторая моя сестра Матрона никак не могла себя принудить на оное, стыдясь, может быть, просить от того, что уже в состоянии была исправлять работу. В сей горемычной одинаковости жизни занимался плетением лаптей с столь сильным прилежанием, что уже некоторым образом возмогал довольствовать семейство свое, и сей первый промысел собственных трудов моих столь много поощрял меня к дальнейшему предприятию, что из последствия жизни моей видно будет. Когда же которое лето не имел пастьбы, тогда занимался другими, по мере сил моих, трудами: иногда уходил до восхождения солнечного из шалаша на пожню, и особливо во время сенокоса, и до пробуждения товарищей косил траву с столь великим усилием, что чрез то приобретал уважение и от самых сотоварищей своих.

В сем продолжительном времени пришед в возраст пятнадцати лет, родительница моя решилась меня отпустить в столицу, на что я получа благословение и сорок копеек на дорогу, отправился в путь. С сею-то суммою в 1747 году, в феврале месяце, во время царствования импе-

ратрицы Елисаветы Петровны, пустился в неизвестный мне путь, без всякого покровительства, не имел ничего верного в предмете моего предназначения, с единою верою в помощь Божию и с истинным упованием на родительское благословение, продолжая дорогу наполовину пеш, а где мог, находил и сострадательных людей, то и на лошади по нескольку везли меня; и сохраняя столь драгоценную для меня сумму, во всю дорогу на ночлегах истратил только двадцать копеек, а остальные две гривны сохранил себе на разживу.

Вступя в С.-Петербург, доискался пивоварни купца Зевакина; пришед, испрашивал позволения у прикащика остаться и иметь ночлег у них; но сей без докладу хозяину оного не дозволял. Увидя же меня, хозяин дал на оное свое согласие; то я и оставался у них до приискания себе места, что и последовало вскоре: ибо нанялся у некоего секретаря на четыре года с полным содержанием хозяйским и сверх того пять рублей деньгами в год каждой, а как у него был свой домик, то за исправление всей его домашней работы, как-то: воду возить, дрова припасать, топить печи, башмаки и сапоги чистить, а сверх того, и к будке ходить. Что все исполнял с полным усердием, а сим заслужил от моего хозяина внимание и уже мог оставшиеся от дороги у меня денег двадцать копеек отослать матушке обратно на соль, которые она получа, пролила источник радостных слез и с сердечным движением утешения говорила к окружающим ее: "Товарищи его в дороге по рублю издержали, а мое милое дитятко только две гривны истратил!" В последствии времени она ко мне в С.-Петербург обратно прислала на разживу десять копеек и свое благословение. С сими-то верными залогами родительской любви я оставался в надежде на невидимую помощь Божию, в том и не обманулся, а присланная мне гривна и до ныне хранится в семействе нашем.

Таковым образом продолжая свою службу у помянутого секретаря, всегда ходил с ним в церковь Божию; ибо он человек был благочестивый, набожный и благотворительный, и весьма часто раздавал изобильную милостыню, вверяя иногда мне исправлять христианскую обязанность, что и послужило мне на целой век примером благотворения и нравоучения. [...]

Публ. по: Сокращенная жизнь покойного купца первой гильдии Александра Петровича Березина // Русский архив. 1879. Кн. 1. Вып. 2.

ЛЕВШИН Петр Георгиевич (митрополит Платон) (1737—1812)

Родом из духовенства. Окончил Славяно-греко-латинскую академию одним из лучших учеников. В 1758 г. постригся в Троице-Сергиевой лавре. Уже в молодые годы стал известнейшим проповедником в Москве. В 1761 г. определен в Московскую духовную академию учителем богословия. В 1763—1774 гг. — придворный проповедник и законоучитель цесаревича Павла Петровича, будущего императора Павла. В 1766—1812 гг. — архимандрит Троице-Сергиевой лавры, которая становится при нем богатейшим монастырем с основанными им при ней учебными заведениями. В 1770 г. пожалован архиереем в г. Тверь. С 1775 г. — митрополит Московский. В 1783 г. возрождает скитское общежитие невдалеке от лавры в Вифании, здесь Платон открывает новую семинарию. В 1792 г. он благословил открытие Оптиной пустыни.

Автобиография написана Платоном после 1799 г. Сам Платон не успел ее закончить и поручил это сделать своему наместнику в лавре архимандриту Самуилу Запольскому-Платоновичу, который продолжил ее до 1810 г. Платоном сделаны исправления к тексту Запольского.

АВТОБИОГРАФИЯ

[...] Родился же Петр в селе Чашинкове, которое отстоит от Москвы на 40 верст, на большой Петербургской дороге, от отца Георгия, который тогда был на селе том при церкви причетником, а после в другом селе, в Клинском уезде, Глухове, священником, и от матери Татьяны.

Отец Платона, Георгий, был свойства горячего, но простосердечного и откровенного; лести не знающий и отвращающийся оной; также не корыстолюбив; особливо низким образом корысть приобретать почитал себе противным и в других предосудительным. А мать, Татьяна, была благоразумна и рассудительна, быв горяча к детям и о добром их воспитании и опрятном содержании весьма пеклася; наипаче, быв сама набожна и благочестива, и детей приобучать богомолию и страху Божию первым долгом почитала. Была домостроительная хозяйка и щадила малое дома содержание, чтобы ничего не издержать на что-либо лишнее. Чрез это, хотя и дом был небогатый, однако ни в чем нужном, что до пищи, пития и одеяния, не скудный; почему и детей своих в лучшей содержала опрятности, нежели другие, содержанием быв богаче. Нравом была благородным, не любила низости и, чтоб во всем сохранить свою честь и от других почитание заслужить, была всегда расположена. Службы Божией почти никогда не оставляла; нищих, по возможности, всегда оделяла, с некоторым своим удовольствием, и едва когда просящему отказывала. Была трудолюбива и воздержанна, а

тем и здравие хранила; и продолжала жизнь до 70 лет; и долее, может быть, продолжилась бы жизнь ее, ежели бы свирепевшая в 1771 году в Москве заразительная язва жизни ее не пресекла, и погребена в Москве, в Новодевичьем монастыре. А отец Петра, священник Георгий, погребен в Москве же, при церкви приходской у Спаса во Спасской.

Поминается здесь о свойствах родителей Платона, дабы изъявить, что оные свойства родителей и в нравах рожденного от них некоторым образом были видимы: о чем после будет помянуто.

Быв младенцем, как мать неоднократно сказывала с удовольствием, всех взоры и любования на себя привлекал. Ибо дитя было лицом красное, ласковое, миловидное, здравое и состава по всему самого порядочного. Почему, когда мать на руках его пред людьми, или дома или на улице держала, или кормила, или пестовала — все привлекались брать его к себе на руки, какого вреда по неосторожности ему не причинили, и для того остерегались пред людей его выносить. Таким образом возрастал младенец под заботливым воспитанием матери, которая на него взирала, яко на дар Божий, и научала молитвам, младенцу свойственным, отзываться к общему Отцу всех тварей.

На шестом году от рождения начали Петра обучать грамоте: азбуке, Часослову и Псалтири, а потом писать, каковой общий был тогда обучения порядок для всех всякого состояния отроков. Петр был весьма понятен: и удачно и скоро все изучивал. И хотя иногда к отроческим играм и резвостям был несколько склонен и от учения затем в некоторые часы удалялся; но зато от отца был наказан, с большею, может быть, строгостию, нежели бы возраст лет и живость младенческого свойства дозволяли; однако и сию строгость матери ласковые увещевания приводили в умеренность. Изучился младенец грамоте и писать чрез два года, и на осьмом году уже в церкви не только читал, но и пел церковные обыкновенные стихи, ибо в пении по одной наслышке столько успел, что на том же году мог уже один без помощи другого на клиросе отправлять все Божественные литургии. Ибо и голос имел светлый и приятный, и к пению особую склонность, и в церкви, на всякой службе Божией быть, его особенно веселило; о каковой его к церкви и к службе ее отличной склонности после не умолчу. И за таковое в таковых летах преуспеяние, и охоту к чтению и пению, и прибежище к церкви, а притом за свой всегда веселый и ласковый нрав, и от родителей и от сторонних был любим и похваляем и выхваляем.

На десятом году от рождения был отдан в школу. При сем нельзя умолчать некоторого особенного случая. Отец его, священник Георгий, был потом, по некоторым превратным мира сего обстоятельствам, священником в Серпуховском уезде; в селе Липицах, что близ реки

Оки, в Коломенской епархии. Требовано было от духовного правительства, чтобы все священно- и церковнослужители детей своих приводили в семинарию в Коломну. Отцу Петра крайне сего не хотелось. Ибо он в Коломенскую епархию, в помянутое село переселился не по охоте своей, но по принуждению обстоятельств; и желалось ему, чтобы из той епархии выйти в Москву, куда после вышел и был священником викарным у церкви Николая Чудотворца, что слывет Красные Колокола[76]. А сын его больший Тимофей, а брат Петров, был уже определен в пономари, в Москве, у Софии Премудрости Божией, что на берегу Москвы-реки; который Тимофей был после диаконом в Москве, у Иакова Апостола, что в Казенной, а потом у Спаса в Спасской, где и умре и погребен, — отцу Петра желалось, чтобы и другой сын его, сей Петр, и другой брат его, Александр, определены были в Московскую епархию, в тамошнее училище, почему и просил Московскую Духовную Консисторию, чтобы детей его, сего Петра и другого брата, Александра, определить в Московскую Академию[77], по причине брата его, находящегося в Москве, помянутого Тимофея. Но секретарь сего прошения не принимал, говоря, что ему, яко находящемуся в Коломенской епархии, надлежит своих детей отдать в семинарию Коломенскую. Но отец неотступно просил: секретарь два и три раза настоял сильно. Напоследок секретарь, и утружденный и удивленный таковым настоянием, пред всеми сказал: "Ну! Ты прямо отец детям; здесь мы не можем обирать денег от священников, кои просят, чтобы их детей в школу не брали, а от тебя не можем отвязаться, чтобы детей твоих в школу определить". И так принял прошение, доложил присутствующим. Послано сообщение в Коломенскую епархию, что увольняются они для обучения в Московскую Академию. Там охотно уволили и прислали в сей силе соответствие. Итак, Петр и брат его меньший, Александр (который был диаконом в Москве, у Спаса в Спасской, а потом священником у Николая в Хамовниках, а после протопопом у Спаса на Бору, и наконец протопопом Большого Успенского Собора и Синода членом и кавалером, который там и преставился, 1789 года), определены в Московскую Греко-Латинскую Академию, а жительствовали при брате своем Тимофее, при церкви Софии Премудрости Божией.

По приведении в Академию предстали пред префектом, который тогда был Иоанн Козлович, после бывший Донской архимандрит, и наконец Переяславский епископ; и тамо умре. Префект ободрил представших пред ним отроков, сказав: "Детки, учитесь, после протопопове

[76] Церковь св. Николы, Красный звон, находится на Ильинке в Китай-городе.
[77] Славяно-греко-латинская академия в Заиконоспасском монастыре.

будете". И сие сбылось его пророчество: один и подлинно стал протопопом, а другой протопопов начальником.

По определении в Академию, изучился Петр в две недели и писать по-латыни. Потом переведен в Фару, или низший грамматический класс, где быв год, переведен в Грамматику, по прошествии года, в Синтаксиму, или высший грамматический класс, чрез год в Пиитику; по прошествии года в Риторику, где быв два года, переведен в Философию, а чрез два года уже и в Богословию. Учители его были в Фаре — Григорий Афанасьевич Драницын, который в монашестве Геннадий, после был Академии префектом и ректором: и потом Суздальским епископом, где и преставился. В Грамматике иеродиакон Лаврентий Ченелев, который в Иркутске в изгнании преставился. В Синтаксиме помянутый же Драницын. В Пиитике иеромонах Амвросий Юматов, который был после архимандритом в Китае, в Пекине, где и преставился. В Риторике иеромонах Кирилл Григорьевич, который окончил жизнь свою несчастливо. В Философии и Богословии помянутый же Драницын, или Геннадий.

Обучался Петр Левшинов (ибо так он прозывался) латинскому языку и помянутым наукам: Пиитике, Риторике, Философии и Богословию. Притом обучался сам собою Географии, а знание Истории приобрел чрез всю жизнь, и не было для него приятнее упражнения, как чтение Истории: всей вообще и отечественной.

По тогдашнему в Академии порядку, греческому языку обучались ученики особо, чрез два года по окончании Синтаксиса, и из греческого класса переводимы были в Пиитический, — чрез что латинского языка учение прерывалось. По желанию учителя Пиитического, чтобы Петра иметь у себя в классе, Греческий класс он миновал, а чрез то и лишился знания греческого языка. Но дошед до Философии и увидев, что по многим встречающимся греческим словам, знание языка сего нужно, а притом, приметив, что некоторые товарищи его, впрочем, в успехах учения и худшие его, но греческий язык хотя знают и тем перед ним преимуществуют, сим чувствительно был тронут Петр, что он товарищей в науках превосходнее, но знанием языка сего яко унижался. Почему горячо принялся, чтобы сие желание свое выполнить. Но много встречалось затруднений. Не было грамматики греческой, купить было не на что; да и учить было некому. Но чего не преодолевает горячее прилежание и тщание? Выпросил на время у товарища грамматику греческую на латинском языке, сочиненную архимандритом Варлаамом Лащевским, и оную всю переписал, чрез то и писать по-гречески изучился, как бы срисовывая буквы греческие с печатных, — почему и почерк его письма по-гречески был сходен с греческим печатным. Достав таким образом грамматику, начал сам себя по ней учить, сам себе уроки задавать, сам себя выслушивать; сам себя или похвалял за прилежание, или осуждал за нерадение. А как места случались, кои он вразумить не мог, о том, приходя в школу, у товарищей своих, знавших греческий язык, спрашивал и чрез то вразумлялся. Потом и задачи к переводу с российского на греческий сам себе задавал, а о словах греческих спрашивал у товарищей и записывал; и потом, дома сочинив, показывал товарищам, кои, прочтеши, или похваляли или поправляли, чрез то помалу и успевал Левшинов. Но как сего было не довольно, ибо затруднительно, то вздумал он ходить в Греческий монастырь, близ самой Академии стоящий, на службу Божию, сколько время дозволяло, и со всем вниманием прислушивался к чтению и пению Греков, и сие много Петра выпользовало. Ибо и слова некоторые понял, и некоторое их сложение приметил, а паче правильное их произношение перенял, да и пению их несколько научился. А потом, когда стал учителем из Академии, имел свободный случай с Греками нередко обходиться, а чрез обхождение, разговаривая с ними: хотя худо, по-гречески, но чрез то себя поправлял, и нечувствительно[78] больший успех приобретал. Ибо уже могли некоторые трудные на греческом языке книги читать и разуметь, и с Греками сколько-нибудь, хотя несовершенно, разговаривать, не попросту, как Греки говорят, но по-еллински. А потом, будучи в Академии Пиитики учителем, обучал учеников греческой грамматике; и всегда с удовольствием Петр себе говорил, что он на греческом языке сам себе учитель; и сие услаждение была истинная награда за немалые его в изучении греческого языка труды.

В прочих же во всех науках, в Академии преподаваемых, был Левшинов отлично успешен, и из всех товарищей почитался первым, — почему и от родителей и от товарищей всех был особенно любим. От учителей за прилежание, за всегдашнее в школу хождение, за отличный во всем успех и за благонравие; а притом, как он учился церковному пению, и имел голос приятный и знал в пении искусство, то и сие любовь к Петру учителей умножало. А товарищи его любили за добрый и веселый нрав и словоохотливость, с некоторой всегда пристойной шутливостью. Но Бог его сохранял, что никогда ни с кем он не ссорился и не бранился: ибо имел нрав мягкосердечный, и в случае уступчивый, и стыдливый.

Но как между тем Петр поступал в домашнем обхождении, в чем упражнялся? Жил он при помянутом брате своем Тимофее, который был диаконом у Спаса во Спасской, где вместе жили и родители его.

[78] Незаметно.

Петр, исправив задачи, назначенные от школы, дома упражнялся в чтении книг и в хождении в церковь на службу Божию. Всегда он, чрез всю жизнь, сожалел, что тогда в Академии другим наукам и языкам не обучали, в коих он, конечно, сколько-нибудь преуспел бы. А паче сожалел, что превеликую имел охоту к чтению книг, но книг дома никаких не было, купить было не на что, из Академии книг никаких не давали. Посему Петр, чтобы утолить жажду свою, читал все книги, какие в церкви могли найтись, как-то: Четьи-Минеи, Прологи, Камень Веры, Маргарит, Обед Духовный, Вечерю, Историю Барония, а паче всего Послания ап. Павла, коими толико восхищался, что их, может быть, более двадцати раз прочитал, и никто ему более не нравился, как сей великого имени и духа муж и св. Иоанн Златоуст. А к лучшему знанию в латинском языке много ему послужила книжка Цицеронова о должностях "De Officis", которую мать, ходя по площади, и сама не зная, для него купила; а другая — "История" Курциева[79], которую он выпросил у товарища для прочтения. Он их с жадностью великою читал, и по особой склонности, и по неимению других книг, многократно их чтение повторял; особливо услаждался пресладостным и остроумным слогом Курция; и казалось ему, что язык, которым говорил Курций, есть яко выше человеческого, поелику подобной сладости, и остроты, и умных переворотов ни в каком российском писателе найти ему не случалось, или так его вкусу нравилось.

Итак, в чтении книг Левшинов препровождал домашнее время, а притом никогда не оставлял ходить в церковь, когда от школы было свободно; особливо во время вакаций ни единого дня не упускал, чтобы не быть на вечерни и на литургии, и на утренях в воскресные и праздничные дни. В церкви был первый из читающих и поющих; и как в пении был искусен, и ни в чем исправным церковникам не уступал, и устав церковный не худо знал, то любим был до зела[80] священно- и церковнослужителями и прихожанами, особливо кои также охочи к пению. И в сем было его любимое упражнение; и можно поистине сказать, что не знал кроме трех мест — "дома, церкви и школы". Никуда, даже весьма редко, и к сродникам хаживал, и хотя от прихожан некоторых был часто приглашаем, но по некоторой врожденной стыдливости или застенчивости всегда от того отрицался. На гуляние редко куда хаживал. Единственно находился в доме и вышеупомянутыми упражнениями себя занимал; или урок учил, или задачи сочинял, или читал, или что-нибудь писал, в маленьком садике, где почти и жил.

[79] Курций Руф Квинт — древнеримский историк и ритор I в. н.э., автор Истории Александра Великого (Македонского).

[80] Зело (старослав.) — очень.

По сему свойству Петра мог бы иной и подумать, что был он нрава меланхолического, дикого, и грубого, и несловоохотливого. Нет, никак! Был он нрава веселого, словоохотливого, любил свои разговоры прикрашивать шутливыми или забавными словами; и в разговоре своем всегда нравился, и находили все удовольствие его слушать, или с ним разговаривать, тем более что и красота лица, и написанная на нем живо невинность и непорочность нравов каждого привлекали: ибо был откровенен и искренен так, что, казалось, душа его на лице и на устах его. Но лукавствовать и хитрить не знал; а после, когда и узнал, всегда чувствовал к тому отвращение.

Но, при всем своем таковом свойстве, был крайний уединения любитель, чтобы находиться только у себя дома, или с малым числом верных приятелей и друзей обходиться, с коими бы не иначе мог разговаривать, как сам с собою, без всякого принуждения, со всею откровенностью. И потому все то, что называется "церемонией", для него было несносно. И сию к уединению любовь сохранил он во всю жизнь: даже будучи в важных занятиях, архиерейском и при Дворе, наиболее находился он в своем доме и всегда редко куда выезжал, разве куда его должность вызывала; чем отличался от всех почти в его время бывших знаменитых духовных особ. Каковая к уединению склонность его побудила и пустыню Вифанию[81] устроить и там поселиться, о чем после сказано будет.

На 15-м или 16-м году начал он впервые чувствовать борение похоти плотской; но Бог от падения сего его сохранил, и все проходило в одних мгновениях и воображениях мысленных. Также стала приходить в мысль заботливость, каким образом впредь ему свое житие устроить и доставить себе собственное содержание, а не всегда от единых родителей и сродников в том зависеть.

К женидьбе не только никогда склонности не имел, но даже о том, когда было напоминаемо, и слышать стыдился, неизвестно почему, по расположению ли какому от природы, или по собственному какому Божию устроению, а единственно был склонен к духовному званию, а паче к монашеству. И сия склонность в нем открылась еще когда был лет двадцати. Ибо в сии отроческие лета часто в шутках представлял себя как бы монахом; иногда, как архиерей, обеими руками осенял, иногда четки перебирал и прочее подобное. Это тогда принимаемо было не только домашними, но и им самим за шутку; но Богу угодно было тайными судьбами вести его к самому святому делу.

[81] Скит, устроенный Платоном недалеко от Троице-Сергиевой лавры (см. комментарий к тексту).

Сия наклонность была причиною, что когда, при открытии в Москве Университета, был он избран и назначен в студенты в Университет и когда другие не только этого хотели, но и искали, — Петр никак на это не согласился: и совершенно отрекся так, как и от других светских ему предлагаемых состояний. Но вот и начало его в духовное звание вступления! [...]

Публ. по: "Из глубины воззвах к Тебе, Господи..." Автобиография, избранные проповеди, письма преосвященного Платона, митрополита Московского / Сост. и предисл. П.В. Калитина. М., 1996.

БОЛОТОВ Андрей Тимофеевич (1738—1833)

Дворянин Тульской губернии. Отец Болотова — полковник, участник многих военных походов. С 1748 г. Болотов записан в военную службу, которая тяготила его. В 1762 г. в чине поручика он вышел в отставку и уехал в родовое поместье Дворяниново, где занимался хозяйством, изучал литературу по экономике, записывал собственные "опыты хлебопашества". В 1774 г. получил должность управителя собственных имений Екатерины Великой в Киясовской волости, а в 1784 г. занял место управляющего дворцовых имений в Богородицкой волости. Здесь он составил проект застройки, заслуживший высокую оценку архитекторов и императрицы. Болотов издавал журнал "Сельский житель" и сам активно участвовал в нем как автор. В 1780—1789 гг. Болотов редактировал журнал "Экономический магазин", способствовавший популяризации сельскохозяйственных знаний. Он был членом Вольного экономического общества. В Москве, куда Болотов приезжал довольно часто, состоялось его знакомство с опальным Н. Новиковым, переросшее в многолетнее сотрудничество и дружбу. Новиков ввел Болотова в круг видных литераторов.

Первое опубликованное произведение А.Т. Болотова "Детская философия, или нравоучительные разговоры между одной госпожою и ее детьми..." (1761). Эта книга знакомила детей с устройством Вселенной, учила знать и любить родную природу. Ряд сочинений Болотова, проникнутых идеей нравственного самосовершенствования, был издан Н. Новиковым. Болотов сочинял драматические произведения для домашнего детского театра в Богородицке, писал стихи.

Мемуары начаты Болотовым в 1789 г., повествование в них доводилось до 1812, сохранившаяся и опубликованная часть — до 1795 г. В основу мемуаров были положены дневники. Первая публикация мемуаров осуществлена в 1870—1873 гг. Она вызвала огромный интерес читающей публики. Мемуары А.Т. Болотова остаются одним из важнейших источников по истории России XVIII в.

"ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЕ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ"

Часть 1

Предисловие

[...]

При описании сем старался я не пропускать ни единого происшествия, до которого только достигала моя память, и не смотрел, хотя бы иные были из них и самые маловажные, случившиеся еще в нежнейшие лета моего младенчества. Сие последнее делал я наиболее для того, что напоминание и прочитывание происшествий, бывших во время младенчества и нежные лета нашего возраста, причиняют и самим нам некоторое приятное удовольствие. А как я писал сие не в том намерении, чтоб издать в свет посредством печати, а единственно для удовольствования любопытства моих детей и тех из моих родственников и будущих потомков, которые похотят обо мне иметь сведения, то и не заботился я о том, что сочинение сие будет несколько пространно и велико, а старался только, чтоб чего не было пропущено; почему в случае если кому из посторонних случится читать сие прямо набело написанное, то и прошу меня в том и в ошибках благосклонно извинить. Наконец, что принадлежит до расположения описания сего образом писем, то сие учинено для того, чтоб мне тем удобнее и вольнее было рассказывать иногда что-нибудь и смешное.

История моего младенчества

Письмо 4-е

Любезный приятель! Вот теперь дошел я и до собственной своей истории. [...]

Я родился в 1738 году, октября в 7-й день, что случилось тогда в субботу. Место моего рождения есть самое то, где я ныне живу[82]. Отца моего в то время не было дома, как я родился. Он находился в Нежине, одном украинском городке, где тогда полки по возвращении из турецкого похода стояли[83]. Он был очень рад, получив известие сие через полтора месяца. Крестины мои отправлялись обыкновенным у нас в деревне образом. У меня было два отца и две матери крестных, — все родственники и приятели моих родителей. Один из них был господин Раевский, по имени Иван Артемьевич, а другой господин Ладыжен-

[82] Сельцо Дворяниново Алексинского уезда Тульской губернии.

[83] Откуда и мать моя пред недавним временем и беременная мною домой от него приехала (*Примеч. авт.*).

ский, по имени Иван Леонтьевич. Кумы же, две старушки — наши родственницы и мне бабки: Арина Савишна и Авдотья Борисовна, жена соседа нашего Матвея Кирилловича Болотова.

О самом первом периоде моей жизни или о времени первого моего младенчества много говорить мне о себе нечего, ибо со мною не происходило ничего особливого, и сказать разве только то, что воспитывали меня с особливым старанием и берегли, как порох в глазе, но тому и дивиться не можно. — Мать моя была уже не гораздо молода и детей более родить уже не надеялась, а сына ни одного еще живого не имела; все бывшие до меня умирали в самом еще младенчестве, следовательно, имела она причину опасаться, чтоб и со мною того же не сделалось, а особливо потому, что я с самого младенчества подвержен был многим болезненным припадкам, почему легко можно заключить, что жизнь моя была обоим родителям моим гораздо нужна и драгоценна. Но могли ли они всеми трудами и всеми стараниями своими оную сохранить, если б небо не похотело? Но сие назначило меня к тому, чтоб жить, и потому сохранило от всех опасностей, которым мы в младенчестве своем ежеминутно бываем подвержены.

Года два после рождения моего жила мать моя со мною и с обеими сестрами дома, ибо родитель мой был в сие время во многих отлучках. В последующий 1739 год ходили они в последний турецкий поход, где марта 5-го пожалован он был гвардии старшим капитаном, а августа 17-го дня был он на случившемся в Молдавии, на речке Шуланце, сражении и при взятии города Хотина, где благополучно сохранился.

Как сей поход был последний в тогдашнюю турецкую войну, то возвратилась армия в Россию, и отец мой прибыл зимою с гвардейским батальоном в Петербург, заехав наперед в деревню и побыв в ней самое короткое время.

Не успел он в помянутый столичный город возвратиться, как объявлен был заключенный мир с турецким государством, и отец мой отправлен был с объявлением о том в некоторые отдаленные провинции нашего государства, лежащие в сторону к Сибири. Сия посылка была ему не убыточна, ибо известно то обыкновение, что присылаемые с таким радостным известием получают от жителей тех мест многие подарки и приносы, и я имею и поныне еще некоторые, а особливо фарфоровые вещи, привезенные им из Соликамска[84], где ему тогда быть случилось.

[84] Ныне город Уральской области Верхнекамского округа, на реке Усолке, вблизи впадения ее в Каму. Известен солеварнями. Недалеко имеются каменноугольные копи и горные заводы.

Вскоре после возвращения отца моего оттуда, а именно октября 17-го дня 1740 году, воспоследовала кончина императрицы Анны Иоанновны. Я не буду упоминать о тех замешательствах, которые тогда при избрании наследников у нас в государстве происходили, ибо мне о том знать было не можно, к тому же их весь свет довольно знает. При восшествии на престол императрицы Елизаветы Петровны находился отец уже в полевых полках, ибо его выпустили между тем из гвардии, пожаловали полковником и дали ему Архангелогородский пехотный полк.

Сия перемена привела обстоятельства наши в иное состояние; отец мой находился с того времени почти беспрестанно при полку, а мы жили также по большей части при нем.

Таким образом, начал мой отец мало-помалу приходить в честь; он и действительно через хорошие свои поступки и умное поведение сделался известным. Одним словом, его почитали человеком, должность свою довольно знающим, и заведенные им в полку порядки доказывали его способности. Еще находясь в гвардии, нажил он себе многих хороших приятелей, а особливо жил он в великой дружбе с одним придворным генералом, господином Шепелевым. Одним словом, все знатные были ему благосклонны, а между оными любил и почитал его и сам командующий тогда армиею фельдмаршал Лесий[85].

Мы принуждены были следовать повсюду за отцом моим, и я, размышляя о том часто, сам тому дивился, что с рождения моего никогда долгое время на одном месте не живал. Не успел отец мой полк принять, как взял он нас к себе в полк, стоящий тогда неподалеку от Нарвы, в селении, называемом Наровск. Вскоре после того пошел он с полком в другое место, и мы принуждены были следовать за ним, — а сим образом с места на место переходя, нигде он долгое время на одном месте не стоял, что причиною было, что и мы с ним всюду и всюду таскались.

Между тем бывали мы с матерью моею несколько раз и в доме нашем, а особливо как вскоре потом началась у нас война с шведами, и отец мой, идучи в поход с полком своим на галерах, принужден был отпустить нас в деревню из Эстляндии. Мне шел тогда уже пятый год, а большой моей сестре восемнадцатый, а другой — тринадцатый, ибо первая родилась в 1725, а другая — в 1730 году. Я был самый меньшой и действительно последний.

Что касается до начала воспитания моего по отнятию от кормилицы, то было оно обыкновенное. Превеликая нега следует всегда за лю-

[85] Лесси Петр Петрович — генерал-фельдмаршал и лифляндский генерал-губернатор. В 1740 г. возведен в графское достоинство Св. Римской империи, на что последовала санкция русского престола.

бовью, которую матери имеют к своим детям. Мать моя крайне меня любила и не оставляла всяким образом нежить, через что допустила вкорениться во мне многим худым привычкам. Упрямство было первое, которое тогда корень свой и пустило, умалчивая о прочих. Блаженны дети, о коих родители их в самом младенчестве о них пекутся и о исправлении их нравов старание прилагают.

Что касается до того пункта времени, с которого начал я сам себя познавать и сколько-нибудь помнить, то не могу оной в точности означить, а только то знаю, что до 1744 года память моя была еще мала и беспорядочна. Я хотя и помню много кой-чего бывшего до сего времени, но без всякой связи и все клочками, и только то, чему случилось тверже впечатлиться в мою память, как, например, памятую я, как сквозь сон, как мы с полком стояли в Наровске и как я езжал тут в салазках на козле для принимания будто от комиссара жалованья, и получал по несколько копеек; так же как мы с меньшею сестрою однажды в отсутствие родителя забрались в его комнату и возжелали посмотреть, как идут карманные часы его, но были столь неосторожны, что, оные уронив, разбили на них стекло, и как сестра моя за то принуждена была терпеть наказание, да и меня едва было не высекли. Также памятно мне, как мы стояли в эстляндском местечке Гапсале[86] в одном каменном доме, которого образ и фигуру как теперь вижу, и как случалось мне тут быть в одной пустой немецкой кирке и видеть несогнившее тело одного человека, погребенного лет за сто и о котором говорили тогда, якобы он был проклятый. Далее, как я тут зимою с родителями езжал по городу кой-куда в санях в гости и сматривал на бывшую тогда на небе звезду с хвостом или комету и пр., но когда что было и что за чем последовало, того никак в памяти моей сообразить не могу.

Наконец, вскоре по возвращении полку нашего из шведского похода и по заключении с короною шведского мира, воспоследовала в государстве нашем вторичная всему народу перепись, или вторая ревизия[87].

При сем случае отца моего определили ревизовать Псковскую провинцию. Итак, принужден он был оставить полк и во Псков отправиться, куда к нему и мы из деревни приехали.

Но как с самого сего времени началась моя память, и я уже помню все происходившее порядочно, а не так, как прежде, клочками, то окончив опять мое письмо, сделаю чрез то некоторое отделение и, пожелав вам всех благ, остаюсь и прочая.

[86] Гапсаль — портовый город нынешней Эстонии, раньше Эстляндской губернии.

[87] Речь идет о ревизии 1743 г.

При ревизии во Пскове

Письмо 5-е

Любезный приятель! В последнем моем письме остановился я на том, что отец мой определен был ревизором во Псков и что мы туда к нему из деревни приехали. Теперь, продолжая повествование мое, скажу, что во время сего пребывания нашего во Пскове у ревизии происходили с нами многие разные приключения. Не успели мы из деревни приехать, что случилось в 1744 году, как одним нечаянным случаем лишился было я моей матери. Она была очень слаба головою, особливо в случае угара, а тут в каменной нашей квартире так она однажды угорела, что упала без чувств и без памяти, и все почитали ее уже умершею. Плач, крик, стон и вопль поднялся тогда во всем нашем доме, особливо от сестер моих; ее вынесли и положили на снег, и к великому обрадованию нашему, хотя с великим трудом, но оттерли, наконец, снегом. Каков для меня был сей случай по тогдашнему малолетству, всякому легко вообразить себе можно.

Вскоре после того принужден я был переходить важную и опасную переправу человеческой жизни, то есть лежать в оспе. По счастью, была она хороша, и я освободился от ее свирепства, с которым она толь великое множество бедных детей пожирает. Товарищ ее, корь, не преминул также меня посетить, и я принужден был и его вытерпеть.

Не успел я сии болезни перенесть, как начал мой отец помышлять об обучении меня грамоте. Мне шел уже тогда шестой год, следовательно, был я мальчик на смыслу и мог уже понимать буквы. 17-го числа июня помянутого 1744 года был тот день, в который меня учить начали, и я должен был ходить в дом к одному старику малороссиянину и учиться со многими другими. С каким успехом я учился, того не могу вам сказать, ибо того не помню, слышал только после, что понятием моим были все довольны, как, напротив того, недовольны моим упрямством. Сие пристрастие в маленьком во мне было так велико, что великого труда стоило его преодолевать; но таковы бывают почти все дети, которых в малолетстве нежат, отчего и произошло, что ученье мое более года продолжалось. Из всего оного помню я в особливости то, что первое образование родителям моим произвел я выучением почти наизусть одного апостола из послания к коринфянам, начинающегося сими словами: "Облецытеся убо яко избрании божия"[88] и пр., и прочтением перед ними, и как сие случилось скоро после начатия учения моего, то родитель мой так был тем доволен, что пожаловал мне несколько денег на лакомство. [...]

[88] Одно из посланий апостола Павла.

Купец, которого в доме мы стояли, имел подле оного сад и в нем сажелку[89]. В сей сад хаживал я часто гулять или, прямее сказать, в гулящее время резвиться; дети хозяина нашего делали мне в том компанию. Одним днем, как мы с ними в этом саду играли, пришли мы к упомянутой сажелке, и я не знаю уже, для чего было в ней несколько досок, по воде плавающих; на сих досках хотелось мне давно по сажелке поездить, и сие происходило от некоего рода любопытства, ибо могу сказать, что любопытен был я с самого младенчества. Учася в то время грамоте, наслышался я о фараоне, море и о кораблях, на оном плавающих, почему я часто, будучи иногда один в саду, прихаживал к той сажелке, сравнивал ее с морем и представлял себе в мыслях, как фараон в море погиб и как по морю корабли плавают, и для того многожды хотел отведывать на доске поплавать, однако по счастью до того времени не отваживался, но помянутый случай был к тому наиудобнейшим. Товарищам моим захотелось также предпринять сие морское путешествие, и остановилось только затем, что никто не осмеливался учинить начало. Я, будучи объят предваренною к тому охотою, тотчас к тому вызывался, ибо хотя не меньше их трусил, однако как самолюбие действует в нас с самого ребячества, то захотелось мне пред ними выдаться и оказать свою нетрусливость, и для того тотчас им сказал:

— Вы все, братцы, трусы и прямые мужики, уж боитесь по воде ездить! Чего бояться? Посмотрите-ка, как я поеду!

И, тотчас взбежав на одну широкую доску, отсунулся от берега. Но не успел я на сажень отъехать, как все явление переменилось: господин мореплаватель был неискусен и позабыл взять с собою весло. Товарищи мои кинули мне палку, я нагнулся ее доставать и тем все дело испортил: доска моя подо мною закачалась, я не устоял и полетел в воду, и едва было не утонул по примеру фараона. К великому моему счастью, сажелка в том месте была не гораздо глубока, и я хотя чуть было не захлебнулся, но, вынырнув и стараясь стать, достал ногами до дна, и вода была мне только по шею. Не успело сего произойти, как товарищи мои подняли великое хохотанье и начали осмехать худой успех моего предприятия, вместо того чтоб сделать мне какое вспоможение. Сие было причиною, что я сердился более на них, нежели помышлял об опасности, в которой находился; ибо надобно знать, сажелка была к тому берегу гораздо глубже, а сверх того, я так в тину увяз, что не мог ни одной ноги выдрать. И я не знаю, что б сделалось со мною, если б в самое то время не вошла вскоре за мною в сад старуха, моя мама[90], и,

[89] Искусственный пруд для содержания рыбы.

[90] Няня.

увидев меня, не бросилась в воду и на руках меня не вынесла. Она встряхнулась[91] меня и, услышав, что я в саду, шла искать, равно как зная, что я подвергнусь опасности и что мне ее вспоможение будет надобно.

Чем происшествие сие кончилось, всякому нетрудно угадать. Скрыть сего никоим образом было не можно: я весь обмок и обгрязнился и принужден был поневоле следовать за моею мамою, которая прямо повела меня к моей матери. Тут не помогли мне все оправдания, которых дорогою я знатное число выдумал. Мне не поверили, что мои товарищи меня спихнули в воду, но находили более вероятности в их объявлении. Однако и они правы не остались, нас всех пересекли, и мне запрещено было более ходить в сад и играть с ними. По счастью, был отец мой в то время в уезде, а то досталось бы мне еще того больше.

Сие приключение хотя не инако, как безделкою почесть можно, однако в рассуждении меня почитаю я его довольно важным, ибо, во-первых, находился я в великой опасности: ибо сколь легко могло бы статься, чтоб я захлебнулся и утонул, а особливо, если б предпринял сие когда-нибудь, будучи один в саду, следовательно, сам Бог хотел меня сохранить от сего бедствия; во-вторых, примечания достойно, что сей случай так меня настращал, что с того времени завсегда уже я боялся по водам ездить, который страх не весь еще и поныне из меня истребился, ибо признаюсь, что и поныне несколько потрушиваю, когда случится зимою ехать по рекам, а особливо когда лед не гораздо крепок и надежен, что, может быть, имеет и свою пользу.

В другой раз нечаянным образом настращан я был чрезвычайно пушечною пальбою, бывшею при случае некоего большого торжества, отправляемого моим родителем. Ибо он хотя и большую часть времени своего препровождал в уезде, где, переезжая с места на место, переписывал всех жителей, однако нередко случалось, что он по нескольку недель живал и в городе, и тогда ежели случались какие-нибудь викториальные дни[92] и знаменитые господские[93] праздники, то имел он обыкновение делать у себя обеды и звать к себе воеводу и всех лучших людей в городе, в особливости ж тамошнего архиерея, с которым жил он в особливой приязни и дружестве; а потому нередко случалось и мне видеть сего первосвященника, равно как бывать у самого его вместе с отцом моим, при каковых случаях получал я обыкновенно от него себе в подарок какую-нибудь маленькую духовную книжку. [...]

[91] Встряхнуться или встренуться — вспомнить, спохватиться (от встряхнуться, встрепенуться). Употребляется в Костромской и Тамбовской губерниях.

[92] От латинского victoria (победа) — дни празднования побед.

[93] Господскими праздниками в православной церкви называются главные ее праздники в честь Христа и Богородицы в отличие от праздников в честь святых.

Дом Удрих и Лай мыза

Письмо 6-е

Любезный приятель! Проводив отца моего в путь и распрощавшись с сестрою, отправились мы с матерью, ибо деревня наша была еще 120 верст за Москвою, и нам надлежало долгое время ехать; но как бы то ни было, но мы приехали туда благополучно и пробыли тут почти все лето. Поелику мне шел тогда еще осьмой год, и я был сущий еще ребенок, то не могу я ничего о том сказать, что мы тогда дома делали и зачем наиболее приезжали; а из всех бывших тогда с нами происшествий впечатлелось в память мою только то обстоятельство, что я, будучи в сей раз в деревне, доучивался русской грамоте и учил Псалтирь под присмотром моего дядьки.

Кроме сего, помню я из сего периода времени, что ездили мы в Калитино наше праздновать праздник: это была приданая деревня моей матери, лежащая от нас верст с 12 в том же уезде. Тут стояли еще изрядные хоромцы, был господский дом и старинный сад, в котором было великое множество слив и превысоких груш, усыпанных плодами, и как осенью сентября 8-го дня был тут храмовый праздник, то имела мать моя всегда обыкновение приезжать в сие время в сей родительский ее дом и находящиеся в оном еще дедовские иконы почтить служением и окроплением святою водою, а всех тамошних соседей угощать праздничным пиршеством. Что ж касается до меня и до сестры моей, то наилучшее наше утешение составил сад, наполненный тогда множеством плодов. В самое то время надлежало его обивать, и наше наиприятнейшее упражнение было подбирать отрясенные яблоки и груши, которых последних такое было тогда множество, что я никогда с того времени их столько не видывал. [...]

Время сие, каково ни коротко было, однако со мною случилось опять происшествие, достойное замечания потому, что при случае сем подвержен я был опять немалой опасности. Хоромы у сестры моей были совсем не те, в каких мы прежде бывали, но совсем иные. В небытность нашу перестроился зять мой и снабдил себя уже домиком получше прежнего. Итак, по любопытству моему надобно мне было все их исходить и все пересмотреть, что в них было. К сему избрал я не то на другой, не то на третий день нашего приезда послеобеднешнее время, в которое все спали. Как у всех псковских помещиков обыкновение есть строить и располагать хоромы особым образом и так, чтоб всегда было две половины: одна жилая, а другая для гостей через сени, порожняя, и всегда чистая и прибранная, то расположены были хоромы и у зятя моего точно таким же образом. В сию-то гостиную и порожнюю полови-

вину забравшись один, начал я все пересматривать и перебирать, что в ней было. Тут, к несчастью, попалось мне на глаза ружье, стоявшее в уголку за стульями и, как думать надобно, поставленное тут нарочно для того, чтоб никто его не трогал, ибо было заряжено для стреляния по птицам. Но никто того не воображал себе, что я пойду сюда один и буду так любопытен, что похочу неотменно его и все устроение его замка видеть; однако сие любопытство чуть было не лишило меня жизни. Каким образом сие произошло и что я с ним делал, того истинно уже не помню, а только знаю, что оно вдруг в руках у меня выстрелило, и я получил такой толчок, что я упал без памяти и без чувств на пол; ружье подле меня, а по всей горнице посыпались дробь и куски большого зеркала, в которое прямо я выстрелил и расшиб его в несколько сот частей. Звук выстрела разбудил всех спящих и привлек множество людей ко мне. Меня нашли без памяти лежащего, и сколько сперва испужались, столько досадовали потом на мою резвость и дурачливость, которая верно бы также не прошла мне даром, если бы сестра, любившая меня чрезвычайно, не упросила мать мою сию вину мне отпустить и в доме ее меня за то не наказывать.

Погостив несколько дней у сестры и распрощавшись с нею, продолжали мы свой путь далее и приехали наконец к отцу моему благополучно.

Мы нашли его стоящего с полком своим на зимних квартирах в Эстляндии, и он имел квартиру на мызе[94] Удрих, и довольно покойную. Дом был хотя деревянный, но не тесный и обитый внутри тканьми гарусными обоями и прибранный, впрочем, изрядно. Полковая церковь поставлена была тут же на дворе в одной службе.

Как в сей раз увидел я впервые полковую жизнь, находясь в таких летах, что мог уже несколько помнить и чувствовать, то была она для меня поколику нова, потолику и приятная. Ежедневное биение зори в множество барабанов и всякий день двукратное играние под окном полковой музыки и множество офицеров, бывших всегда у моего отца, и честь, повсюду ему отдаваемая, были для меня приятные и пленяющие предметы, которыми долгое время не мог я довольно налюбоваться, в особливости же приятно было мне то, что все полковые офицеры, любя моего отца, ласкались и ко мне. [...]

Из прочих приключений, происходивших во время нашего пребывания в сем месте, памятно мне только то, что я тут учился писать и что помогал мне в том маленький писарь по прозванию Красиков, умевший рисовать

[94] Мызами называются в Лифляндии и Эстляндии такие селения, в которых есть дворянские дома (*Примеч. авт.*).

корабли; родившись в Кронштадте, насмотрелся он сим огромным зданиям и умел изображать их довольно хорошо пером на бумаге. Мне, по малолетству моему, казались они тогда изящными картинами, и я не мог ими довольно налюбоваться; но каковую безделку сию корабли ни составляли, однако они вперили в меня первейшую склонность и охоту к рисованию, положили первое основание охоте к сему невинному и приятному художеству, которому я за бесчисленное множество приятных минут в жизни моей обязан и которую имею и поныне.

Кроме сего, помню я еще то, что мне случилось тут с сестрою моею крестить большого татарина, и как было сие зимою, то принуждено было производить сие действие на пруде, и он, вместо купели, должен был погружаться три раза в большую прорубь.

Еще памятно мне очень и то, что нашли тут каким-то образом в разрытом колодезе или роднике бесчисленное множество маленьких лягушек, сбившихся в кучу и сидевших тут между камней. Мы все приходили сию редкость смотреть и не могли довольно тому надивиться.

Кроме сих трех происшествий, не помню я ничего более, а только приходит мне в память, что пред окончанием зимы и на самой вербной неделе переехали мы на другую мызу, которая называлась Лайшлос, по причине, что находился тут древний развалившийся замок; но того уже не знаю, далеко ли она от прежней отстояла или недалеко и велено ли было тут полк и штаб перевесть или зависело то от произволения моего отца; но только то знаю, что тут получили мы для квартирования дом уже гораздо просторнейший, так что не только могли мы поместиться в нем со всем нашим увеличившимся семейством, ибо около сего времени приехал к нам и большой зять с сестрою, но поставлена была тут же в особых комнатах и полковая церковь.

Не успели мы в сие место перебраться, как подвержен я был опять величайшей опасности в свете. Полку нашего адъютанту Марылеву вздумалось как-то подарить меня маленькою лошадкою; я, по ребячеству своему, был сему очень рад, но лошадка сия чуть было не лишила меня жизни. Случилось сие следующим образом: как до сего времени никогда я еще на лошадях не езживал, то, получив тогда в собственность лошадь, получил я вкупе охоту и учиться на лошадях ездить. Меня посадили на оную и водили понемногу, а как несколько я к тому приобвык, то перестали придерживать и, может быть, по собственной моей просьбе, дали волю самому править; но не успели отважиться сие сделать, как проклятая лошадь, почувствовав легкость всадника, а может быть и неуменье управлять ею, недолго шла тихою ступою, но, выбравшись за хоромы, пошла час от часу скорее, а потом пустилась во всю прыть, так что ее уж и поймать и удержать не было способа. Я

не вспомнил тогда сам себя, но, ухватившись за гриву и за седло, кричал во все горло, а она от того еще больше разъярилась и поскакала со мною во весь опор и, к вящему несчастью, вдоль по плотине превеликого пруда, бывшего тут после развалин замка. Люди хотя бежали за мною, но ни догнать, ни остановить ее не было способа, и я не знаю, что б со мною было и куда б она меня занесла, если б не пришло мне в голову соскочить с оной. К сему побудило меня наиболее то, что скакала она со мною прямо к прудовому спуску, где, по случаю бывшей тогда половоди, вода ревела во весь спуск и производила шум превеликий. Мне казалось, что, испужавшись сего шума, она верно меня с себя собьет и низринет в бучило[95]; итак, не допуская до того, рассудил я спрыгнуть с ней долой. Но в сем случае, бежав от волка, чуть не попал я на медведя; прыжок мой был хотя довольно удачен, но размер взят был так худо, что я попал на самый край плотины, так что, не могши никак удержаться, покатился кубарем под оный, и недоставало очень малого, что не попал я в самое бучило. Одним словом, сам Бог хотел меня спасти, и я уже не знаю, каким образом и за что и как я ухватился и до тех пор удержался и не упал в воду, покуда не прибежали бегущие вслед за мною люди и меня оттуда не вытащили.

Родители мои перетревожены были чрезвычайно сим приключением, и лошадь моя сделалась им, а особливо матери моей, так ненавистною, что велели ее тотчас отдать обратно; но о чем и сам я не тужил, ибо случай сей так меня настращал, что я долгое время после того не мог отважиться сесть на лошадь; и почему знать, может быть, самый тот же случай положил некоторое основание и тому, что я во всю жизнь мою не был и не мог быть охотником до лошадей.

Вскоре после того случилась тут же надо мною другая напасть, однако не столь опасная, а более смешная. Наступил день Пасхи и Святая неделя. У отца моего обыкновение было всегда, когда ни случалось ему в полку праздновать сей праздник, приказывать во время заутрени и обедни стрелять из пушек; в этом находил он особливое удовольствие, почему приказано было от него и в сей раз сделать все нужные к тому приготовления, но для меня утеха сия была не весьма приятна: будучи в младенчестве стрельбою из пушек нечаянно настращен, боялся я с того времени оной чрезвычайным образом. Было сие еще в то время, когда отец мой находился во Пскове для ревизии и когда я был еще сущим ребенком; ему случилось праздновать какой-то большой праздник и делать для всех лучших в том городе людей у себя пир. Что-то вздумалось ему придать пиру сему более пышности пушечною

[95] Водоворот, омут, пучина.

пальбою, и как было небольших пушек несколько у тамошнего воеводы, то выпросил он их на сей случай и приказал поставить на улице за воротами, чтоб стрелять из них во время питья здоровьев. Мы ничего о том не знали и не ведали, за строением из дома не видать было, а узнали уже во время самого обеда. Как мне до сего времени от роду моего пушек вблизи видать никогда еще не случалось, то весьма любопытен я был их видеть: почему, не успел услышать, что пушки привезены и стоят на улице, как вмиг очутился я уж у ворот, чтобы видеть сии орудия. Но, к несчастью моему, так случилось, что в то время, как только высунулся я из калитки на улицу, надобно было по данному сигналу начать стрелять, а что того еще вяще, то из самой той пушки, которая стояла подле той калитки и не далее от меня, как сажень. Громкость выстрела, учиненного ею и никогда мною в такой близости не слыханного, и самое зрелище, необыкновенное для меня до того времени, так меня, испугав, поразило, что я вмиг очутился лежащим на земле без памяти. Весь скопившийся тут народ перетревожился сим зрелищем, ибо все подумали, что меня каким-нибудь образом убило выстрелом. Поднимается превеликий шум, делается в стрельбе остановка, бегут сказывать о сем в палаты; люди наши занимаются услугою при столе, перетревоживаются, отыскивают старуху, мою маму; сия без памяти бежит ко мне на улицу, а вскоре за ней приходит и сама моя мать, испужавшаяся до бесконечности; она приметила перешептывание и бегание людей и, догадываясь тотчас, что, верно, что-нибудь особливое произошло, допытывается у оных. Утаить долго было не можно. Сердце обмирает у ней, как услышала, что со мною что-то сделалось; она позабывает всю благопристойность, вскакивает из-за стола, бежит без памяти сама на улицу, некоторые из гостей последуют за нею, и все встречают меня, препровождаемого уже мамою за руку обратно в палаты и обгрязнившегося об грязь при упадании на улице, ибо со мною не сделалось ничего, кроме того, что я испужался до чрезвычайности. Я был еще тогда побледневшим, как мертвый, и старался обеими руками затыкать уши, чтоб более стрельбы не слышать.

Испуганная до бесконечности и нежно меня любящая мать обрадовалась неописанно, увидев меня целым и здоровым. Стрелять велели тотчас перестать и меня повели, власно как в торжестве, в палаты, но там принужден я был от отца моего вытерпеть великую гонку за мою резвость и беганье на улице и смех над собой за мою трусость. Он хотел было приказать продолжить стрелять и меня вести туда опять, чтоб приучить к стрельбе, однако гости упросили уже, чтоб сего не делать. Но старухе моей маме досталось довольно за то, что она упустила меня одного бегать на улицу.

Сим образом кончилось тогда сие происшествие, но последствием от того было то, что я несколько лет после того всякой стрельбы, а особливо пушечной, смертельно боялся, хотя после, и по прошествии нескольких лет, страх сей не только миновался, но я до стрельбы сделался особливым охотником.

Но как в тогдашнее время, как стояли мы в помянутой мызе Лайшлос, страх мой еще продолжался, то сердце у меня обмерло, как увидел я полковые пушки, устанавливаемые перед нашею квартирою. Они казались мне ужасными громадами пред теми, которые настращали меня во Пскове, и я не знал, что со мною тогда будет, когда из сих начнут стрелять; со всем тем, боясь, чтоб опять не было мне за трусость мою от отца гонки, скрывал я всю боязнь мою в глубине сердца и помышлял только о том, чем бы себе сколько-нибудь пособить было можно, и вот что я выдумал и сделал.

Церковь полковая поставлена у нас была в самом том же доме, где мы жили, ибо хоромы были преогромные и покоев множество. Я распроведал, что стрелять станут в то время, когда запоют впервые "Христос воскресе" и станут входить с образами в церковь. Дождавшись сего времени, рассудил за лучшее куда-нибудь уйтить и скрыться, а чтоб удобнее сие сделать, то рассудил воспользоваться стеснением народным, когда выходить станут из церкви с образами. Сие и учинил я с таким искусством, что никто не видал, как я скрылся и ушел. Далече бежать мне было некогда, но я ушел в отдаленнейшие покои того же дома и, в самой задней комнате нашедши кровать, лег на оную и укрылся подушками и одеялами так, что меня совсем было не видать, и пушечные выстрелы едва были слышны. От каждого выстрела трепетало у меня сердце, но, по счатью, было их немного и число оных было мне известно.

Между тем как я, сим образом закутавшись, лежал и трепещуще считал выстрелы, в церкви происходила уже тревога: родители мои меня встрепенулися и везде меня спрашивали и искали, но как никто не мог ничего обо мне сказать, то пришли в недоумение и разослали повсюду людей меня искать.

Некоторые из них приходили в самую ту комнату, однако никак меня не приметили, и верно б никто не нашел, если б по окончании стрельбы я сам уже не вышел и не явился в церкви.

Тут начались тотчас спросы и расспросы, и, как утаить истины не было способа, я принужден был признаться; то посмеявшись тому, в наказание за мое плутовство определено было во время обедни держать меня в церкви уже под честным арестом. Покойный родитель мой поставил меня уже перед собою на скамейке, и я во время стреляния из пушек, при читании Евангелия, хоть со всяким выстрелом приседал, но принужден был выдержать все оное, не зажимая даже уши.

Не успела пройтить Святая неделя, как старания отца моего обо мне стали простираться от часу далее. Ему не хотелось, чтоб я вырос у него неучью и болваном, и он судил, что уж время отнять меня из рук женских и учить чему-нибудь дальнейшему, кроме грамоты русской. Паче всего хотелось ему, чтоб я знал также немецкий язык, которым он сам умел говорить, и коим он в жизнь свою очень много пользовался, также и арифметики. Учители немцы и французы не были еще тогда в нашем отечестве таковы многочисленны, как ныне, их было очень мало, а сверх того и достаток отца моего не был так велик, чтоб мог он, а особливо в тогдашнее время, нанимать и содержать у себя в доме учителя нарочного, к отдаче же в люди был я еще слишком мал; итак, другого способа не оставалось, как искать какого-нибудь иного способа, и к удовольствию таковой скоро нашелся.

В полку его было не только офицеров, но и унтер-офицеров множество немцев; из сих последних вздумалось ему отыскать какого-нибудь поспособнее и приставить ко мне для научения немецкого языка. Но как большая часть сих немцев состояла из лифляндских и эстляндских дворян и наиболее из небогатых, всего же меньше учившихся в молодости своей каким-нибудь наукам и разумеющих что-нибудь порядочное, то трудно было и между ними отыскать человека, и по долгом искании иного не оставалось, как взять прибежище и обратить внимание свое на одного унтер-офицера, родом из Германии и приехавшего за немногие годы до того из Любека для принятия нашей службы. Прозвище ему было Миллер, а впрочем, назван он уже был у нас на службе Яковом Яковлевичем, поелику у нас всем иностранцам дают тотчас имена и отечествы. Богу известно, какого он был роду, но только то мне известно, что он никаким наукам не умел, кроме одной арифметики, которую знал твердо, да и умел также читать и писать очень хорошо по-немецки, почему заключаю, что надобно быть ему какому-нибудь купеческому сыну, и притом весьма небогатому и воспитанному в простой школе, и весьма просто и низко.

Но как говорится в пословице, что "на безлюдье и сидни в честь"[96], то в недостатке лучшего был отец мой и сему уже рад, ибо для первого случая довольно уже было и его знаний, потому что читать и писать мог и он уже меня научить, равно как и арифметике.

Таким образом назначен был сей иностранец мне в учители, взят в наш дом, и я препоручен ему на руки. Для нас с ним отведен был особый уединенный покоец, и он начал меня учить всему, что знал, вдруг, то есть читать, писать по-немецки и самой арифметике понемногу.

[96] Сидень — тот, кто много сидит: разбитый параличом.

Мне шел в сие время хотя девятый еще год, однако мои родители и сам учитель были понятием моим довольны. Я очень скоро научился читать, а и писать учиться мне немудрено было; но не столько я доволен был своим учителем. Человек он был особливого характера, нрав имел строптивый и своенравный, не мог терпеть никаких шуток, сердился и досадывал на всех за сие, а сие и побуждало других еще более над ним смеяться, и тем паче, что и собою был он очень дурен и губаст. Со мною обходился он не так, как хорошему учителю должно, но так, как от неуча и грубого воспитания человека ожидать можно, и нередко принужден я был претерпевать от него лихо и проливать слезы.

Со всем тем и каков он был, но я за первое основание своего немецкого языка и арифметики обязан сему иностранцу; он научил меня читать и писать, но говорить научить был не в состоянии, а мучил меня только вокабулами[97].

Мы простояли в сем месте недолго, ибо как скоро наступила весна и трава выросла, то велено было иттить полку нашему под Ригу и там сие лето стоять лагерем. [...]

Во время сего летнего похода, который в первый еще раз мне случилось видеть, расстался я впервые и с моею матерью, ибо как отцу моему с собою ее взять и в лагере при себе держать не годилось, то отпустил он ее вместе с большою моею сестрою в деревню ее мужа во Псков, а меньшую мою сестру с мужем — в их кашинскую деревню; меня же, как начавшего уже учиться, взял с собою, и как с сего времени начинается новый период моей жизни, то я сим письмо сие и кончу, сказав вам, что я есмь, и прочая.

В лагере и во Пскове

Письмо 7-е

Любезный приятель! Первое расставание с моею матерью и со всеми родными моими, с которыми от самого рождения жил я неразлучно, и притом в столь нежных молодых летах, было мне, как сущему еще ребенку, весьма горестно и чувствительно. — Было сие в городе Дерпте или Юрьеве, ибо оттуда поехала мать моя во Псков, а я с покойным родителем моим в поход под Ригу. Не могу и поныне забыть того, в какой расстройке находился тогда дух мой, когда час разлуки нашей начал приближаться, и какою грустью и тоскою преисполнилось сердце мое; мне казалось, что все стихии тогда иной вид воспринимали и все переменялось в свете. Колико слез пролито было в сей день! Колико вздохов испущено, и сколько раз оглядывался я назад, в ту сторону,

[97] Слова; здесь: списки слов для затверживания наизусть.

в которую поехали мои родные. С каким вожделением желал я пробыть с ними хоть еще несколько минут вместе и видеть их еще однажды!

Таким образом, вступив в новый род жизни, начал я час от часу далее и с множайшим прилежанием свою науку, и как я наиболее занят был оною, то не мог я знать все, что тогда происходило, а помню только то, что лагерь назначен нам был несколько верст от Риги, что стояли мы тут все лето, жили в палатках и что приехал к нам туда и большой мой зять из деревни.

Во все сие время продолжал я учиться и упражняться более в писании. Походная жизнь и стояние в лагере было для меня совсем новое: частые полковые строи, и смотры генеральские, и ежедневные перемены, и ученья, и вся военная жизнь, и происхождения были такими предметами, каких я до сего не видывал и которые меня и удивляли, и веселили, почему она мне довольно и полюбилась. Между прочим, помню я еще и то, что однажды приехал смотреть наш полк и сам старик фельдмаршал Лесий, живший тогда в Риге, и что отец мой возил однажды меня с собою к нему в Ригу, ибо он его считал себе милостивцом и приятелем. Случай сей для меня, ничего подобного тому еще не видавшего, был весьма поразителен: как в городе Риге, так и в замке у фельдмаршала не мог я всему довольно насмотреться.

По наступлении осени велено было полку нашему итить на зимние квартиры в столичный наш город Петербург, и как маршрут назначен был через Псков, то отцу моему был наиудобнейший случай заехать к моему зятю и свидеться с своими родными. Тут имел я неописанное удовольствие увидеть опять мою мать и сестер, которых любил я чрезвычайно.

Отец мой пробыл в сей раз у зятя недолго, но отправился с полком своим в назначенный путь и взял с собою и мать мою.

Из приключений, случившихся со мною около сего времени, памятны мне только два, из которых одно имело великое влияние на всю мою жизнь и чуть было не лишило меня жизни, а именно.

Родителю моему, в бытность его у зятя в деревне, вздумалось однажды с некоторыми приезжими гостями поехать с собаками на охоту. [...] Но как и в тогдашнее время была такая же у многих глупость, какою заражены многие и ныне, то есть чтоб брать с собою на охоту маленьких детей и оных от младых когтей[98] приучать к сей вредной и разорительной охоте, то все гости убедили родителя моего, чтоб и меня взять с собою на охоту, на маленькой моей и смирной лошадке, и тем паче, что я около сего времени умел уже сидеть на лошади и ездить, а охоты от рождения моего еще не видел; но что ж воспоследовало?

[98] "Коготь" употребляется и в значении "ноготь" у человека. Смысл этого выражения подобен современному — "с пеленок".

Не успели мы въехать в лес и на одну вырубленную в оном обширную поляну, наполненную множеством высоких пней, каких везде в тамошней местности много и каковые места называются там "суками", как появился заяц, и началась травля. Собаки полетели за оным, и все охотники на лошадях своих поскакали во весь опор за оными. Лошадь моя, какова ни была смирна, но, увидев таковую дружную скачку, сопровождаемую криком, вздумала для компании скакать вместе с ними, и что ни есть поры мочи. Я ее держать, я останавливать, ибо мне скакать нимало не хотелось, не тут-то было: силы мои были слишком слабы к удержанию сего животного, она и не чувствовала всего моего тащения поводами, но ярилась все более. Увидев сие и что лошадь взяла верх и меня не слушается, обмер я, и испужался, ибо как ни был мал, но заключил, что она меня собьет и я легко могу лишиться жизни. К вящему несчастью, я никогда еще добровольно не скакивал, кроме того случая, о котором упоминал я прежде и при котором едва я не лишился жизни; иному же лошадь мою остановить было некому: все без памяти поскакали вслед за зайцем, и я находился позади всех. В сей крайности находясь, другого я не нашел, как ухватиться обеими руками за холку у лошади и прилечь к седлу, думая, что через то удержусь я лучше; но сие положение было для меня еще того труднее и опаснее. Меня зачало тресть и взметать немилосердно, и я всякую минуту ждал, что полечу с лошади долой. До сего времени все еще я молчал, но как сделалось сие, то отчаявшись в жизни, поднял я ужасный вопль:

— Ай! ай! ай! ай! ай! ай! ай!

Но криком сим сделал себе еще того хуже: из господ охотников никто оного не услышал и не оглянулся, а моя лошадь сочла, что я ее еще более понукаю, и начала скакать еще прытче прежнего. Тогда-то считал я уже погибель свою неизбежною, и тем паче, что вскакала она в такое место, где пень на пне почти находится, и я того и смотрел, и ждал, что она спотыкнется и меня и себя разобьет вдребезги. Что было тогда делать?.. Удержать не было способа, ибо, между тем как я лежал на седле, вырвались у меня и повода, и я не мог уже и достать оных. Крик и вопль мой был тщетен, никто меня не видел и не слышал, все уже из виду ускакали, лошадь неслась во всю прыть и то и дело цепляла за пенья и коряги. В таковой крайности находясь, другого не оставалось, как искать по-прежнему спасения своего в прыганье; по крайней мере, думал я, что тут нет никакой вершины и буерака, и убиться мне будет не можно. Итак, недолго думая и улучив такое место, где пенья были пореже и не таковы часты, как в других местах, прыг я с лошади долой; но надобно было, чтоб сие не к спасению моему, но к вящему еще приумножению моей опасности послужило. Рассудок мой был не

так еще велик, чтоб взять предосторожность в рассуждении ног моих: одну из них я из стремя освободил, а о другой и позабыл вовсе, а она благополучно и просунулась сквозь стремя, и я, упав на землю, повис одною ногою в стреме.

Всякому можно теперь рассудить, не на единый ли волос или не на пядень ли я был от смерти? Упасть на всем скаку с лошади между пеньев и повиснуть на стреме! Долго ли было убить лошади меня ногою либо раздребезжить о пенья и коряги. Однако ни того, ни другого не воспоследовало, но провидению, бдевшему о целости моей жизни и назначившему мне жить многие годы на свете, угодно было распорядить инако и сделать то, чтоб самый сей, повидимому, бедственный и наиопаснейший случай не только не послужил мне ни к малейшему вреду, но обратился еще мне в существенную пользу.

Лошади надобно было падение мое почувствовать, а в самое то ж время заступить ногою за повод и от самого того тотчас остановиться; а самое сие и спасло меня от смерти. Я успел ногу свою из стремя высвободить и от лошади откатиться прочь; и как падение было несовершенное, то и не убился я нимало, но был цел и невредим. Польза же произошла та, что сей случай и родителя моего, и самого меня так настращал, что он с сего времени не стал уже меня никогда брать с собою на охоту, а я никогда не помышлял уже и проситься, но получил к ней совершенное отвращение, что спасло меня от того, что я не мог в молодости своей к сей пагубной охоте пристраститься; но во все продолжение жизни моей не находил я в ней никакого удовольствия и не потерял на нее ни единого часа времени, но был всегдашним ее ненавистником.

Что касается до другого приключения, то оно не составило никакой дальней важности, и я упомяну о нем только для того, чтоб изъявить чрез то одну черту характера моего учителя. Было то уже в походе и в самом городе Пскове, куда мы из зятниной деревни приехали и нашли полк, нас тут дожидающийся. Во все продолжение сего похода отводима была обыкновенно мне, с учителем моим немцем, особливая квартира, ибо как я учиться беспрерывно у него продолжал, то, дабы нам никто в том не мешал, и приказано было квартермистру назначать нам всегда особливую избу. По обыкновению сему получили мы и в сем городе особый домик. Тут, учась однажды после обеда, чем-то таким не угодил я своему учителю. Я уже сказывал, что человек он был мудреного нрава и не угодить ему легче и скорее и всем было можно, и нередко за самую безделицу и ничего нестоющее дело не только серчал, бранился, ярился несколько часов сряду, но и бивал и секал меня немилосердным иногда образом и чрез то произвел то, что я его не столько любил, сколько боялся и страшился.

Итак, не успел я ему угодить и приметить, что начинает он сердиться, как вострепетал душою и сердцем, слезы покатились у меня из глаз, и я просил его, чтоб он отпустил мне мой проступок. Но не такого нрава и расположения был мой учитель, чтоб ему тронуться моими слезами и признанием, что я виноват; он возъярился еще более и, желая умышленно нанесть мне более страха и боязни, схватил стоявшее тут у стены, по случаю, ружье, зарядил оное и собирался выстрелить в окно на улицу, ведая, что мне стрельба всего была страшнее. Я вострепетал, сие увидев, просил его сколько мог, чтоб он сего не делал и меня не стращал; но как увидел, что все мои просьбы тщетны и он им только насмехался и меня дразнил, то действие страха и боязнь столь близкой стрельбы до того меня довело, что я вскочил, упал ему в ноги и со слезами просил лучше меня сколько угодно ему высечь, но только не стрелять. Но упрямца сего ни слезы, ни обнимания его ног, ни все жалостные умаливания не могли тронуть; но он выстрелил и находил удовольствие в том, что я насмерть перестращался.

Но судьба не оставила его за таковое жестокосердие без наказания: ружье, отдавши назад, произвело ему такой толчок в плечо, что он насилу на ногах устоял и у него оно недели две болело. Однако и сего было еще недовольно, но скоро увидел он, что его и разорвало. Сие явление произвело тогда сущую комедию; учитель мой, приметив сие, столько ж испужался тогда, сколько сам я был настращан до того времени. Ружье было хорошее и принадлежало квартермистру; он легко мог заключить, что как сие дело откроется и узнают все происходившее, то для него будет весьма трудно отвечать; он радовался хотя, что отделался сам цел и что ружье хотя разорвало, но не совсем испортило, а только в одном боку раздуло, и что можно еще было поврежденное место чем-нибудь замазать и тем все дело на время скрыть; однако мнение, что я не премину обо всем том рассказать, устрашило его несказанным образом. Сие обстоятельство превратило его из прежнего лютого зверя в наисмирнейшего агнца; низкость духа его была так велика, что он стал меня просить, чтоб я никому сего не рассказывал, и всячески улещать, чтоб я ему угождение сделал, обещая сам мне то заменить и не наказывать меня за вины мои. Я сколько ни огорчен и ни раздосадован на него ни был, но чего не согласится ученик для учителя, и для учителя такового, сделать? Посмеявшись внутренно его трусости и помучив несколько своим молчанием, согласился я наконец на его просьбу, и обоим нам удалось так хорошо скрыть сие дело, что никто не узнал истины, чем дело сие и кончилось.

Из дальнейших происшествий, бывших во время сего похода, ничего особливого я не помню, кроме того, что мы шли через город Гдов[99] и приехали в Петербург уже по зазимью.

Вид сего нашего города и столицы был мне поразителен. Я никогда еще его до тогдашнего времени не видывал, а только наслышался довольно и потому нетерпеливо хотел видеть. Желание мое и удовольствовано было с избытком: я при самом въезде уже глаза растерял на прекрасные дома и раскрашенные повсюду заборы и решетки и только что, сидючи с покойной матерью в коляске, восклицал:

— Ну, Петербург! Прямо Петербург!

Когда же увидел дворец и прочие огромные здания, то не знал, как и изобразить свое удивление.

Квартиры для нашего полка назначены были тогда на Петербургской стороне и были довольно изрядные. Нам случилось получить дом подле самой церкви Введения Богородицы, и мы были квартирою своею очень довольны.

Не успели мы по сим квартирам расположиться, как случилось в Петербурге нарочито великое наводнение. Явление сие было для меня также новое: все улицы вокруг нашего дома поняты[100] были водою, и люди принуждены были ездить на лодках и на воротах; но, по счастью, продолжалось сие наводнение недолго и не произвело никакого дальнего вреда.

Вскоре после нас приехала к нам и большая сестра с мужем… сей был тогда уже аудитором[101]. [...] Что касается до меня, то как я был еще сущим ребенком, то по тогдашним временам ничего еще со мною учинить было не можно[102], а все, что я помню, то родитель мой учинил только то, что взял меня однажды с собою во дворец, желая показать мне сие пышное императорское жилище.

Я не могу изобразить, с каким удивлением и подобострастием взирал на тогдашний огромный дом царей наших; он был тогда хотя сущая малость против нынешнего и немногим чем лучше нынешних домов знатных бояр, но для меня казалось все велико и удивительно. В особливости же поразился я его внутренности; мне показался он сущим раем, и я не знал, на что смотреть и чему удивляться больше. Все казалось мне величественно, а паче всего утешали меня зеркальные стены на галерее, на которые я не мог довольно налюбоваться. Впрочем, ходил я за отцом моим ни жив, ни мертв от подобострастия и боялся прикоснуться самых стен сих священных чертогов наших монархов.

Со всем тем самую императрицу сколько я ни желал, но не удалось мне тогда видеть; а отец мой представлял меня только гофмаршалу Дмитрию Андреевичу Шепелеву, которого он считал себе милостивцем и другом. Другой же знакомец и приятель был у него гвардии Измайловского полку майор Гаврила Андреевич Рахманов. Сего я также видел, но как я был ребенком, то и не удостоен я от них никакого уважения.

Другое и также для меня удивительное зрелище составлял бывший, не помню в какой день, фейерверк; но как я все еще боялся стрельбы, то видел я его несовершенно, и только издали верхние огни и ракеты, которые не могу изобразить, как показались мне удивительными.

Впрочем, препровождал я время свое в продолжении моих наук и был безотлучно от учителя. Он жил у нас же в доме, в особливой пристройке, и там сидели мы с ним от утра до вечера. Сколько мне помнится, то умел уже я около сего времени изряднехонько писать понемецки, а впрочем, учил уже грамматику немецкую. Но, судя по теперешнему знанию, все мое учение было пребеднейшее, ибо о том, как учат люди по грамматике, то все учение его состояло в том, что выписывал он все слова и вокабулы и заставлял меня вытверживать их наизусть. До глаголов же и до прочих частей нам с ним и дела не было, и потому можно сказать, что все учение было, прямо скажем, топорной работы, почему и неудивительно, что не было от того и дальнего успеха, ибо память моя отягощаема была только множеством вокабул, но которые я столь же скоро опять, по молодости своей, позабыть мог, как и выучивался, пользы же от того было очень мало.

Перед приближением Нового года вздумалось учителю моему сочинить поздравительное письмо родителю моему от имени моего с Новым годом и заставить его меня переписать на белой бумаге с золотым обрезом. В работе сей упражнялся я несколько времени, ибо становил всякое слово с превеликою осторожностью и боязнью, чтобы не испортить; бумага сия почитаема была властно как некакою святостью, и я трепетал, писавши оную, и ныне весьма дорого б заплатил, если б кто мог мне отыскать оную. Я надселся б со смеху тогдашнему моему писанию, а не столько писанию, сколько русскому переводу, который вздумалось учителю моему приобщить на другой странице и который, как теперь помню, был наиглупейший и вздорнейший и содержал такую нескладную галиматью, чтоб тому довольно нахохотаться было не можно. Но, к сожалению, время похитило у меня сию грамоту и монумент глупости моего учителя.

[99] Ныне город Лужского округа Ленинградской области.
[100] Залиты.
[101] Чиновник военного суда.
[102] Т.е. нельзя было еще определить в службу.

Кроме сего, продолжал я учиться арифметике и около сего времени был уже далек в оной, ибо за понятием моим не было ни малейшей остановки: я понимал все хорошо и довольно скоро, а недоставало только порядка в учении и хорошего учителя.

Как в доказательство тому, так и в дальнейшее изображение странного характера моего учителя, расскажу я теперь один случай и происшествие со мною, бывшее около сего времени.

Однажды, обучая меня арифметике, вздумалось учителю моему мне сказать, что в последующий за тем день задаст он мне такую задачу, над которой я довольно посижу и едва сделать буду в состоянии. Я, каков ни был мал, но как сам о себе ведал, что арифметика мне довольно знакома, то тронуло сие мое честолюбие; я любопытен был узнать, чтоб за такая мудреная была та задача, о которой он с превеликою надменностью о своем знании говорил, и почему б такому сомневался он, что я ее не сделаю. Побуждаем сим любопытством, просил я его, чтоб он мне сказал существо задачи, и, по несчастью моему, он сие и исполнил.

Задача в самом деле была для меня новая и такая, какой я до того времени не делывал. Она принадлежала к фальшивым правилам и всем арифметистам довольно известная, а именно касающаяся до стада гусей и повстречавшемуся с ними одного гуся.

Не успел я услышать и узнать, в чем состояла задача, как, не хотя поставить себя в стыде, начал я еще тогда же мысленно доискиваться, какому б числу надлежало быть, если положив оное еще раз, да половину, да четверть числа, да еще гуся одного, пришлось бы ровно сто; и как любопытство, так и желание до того добраться было так велико, что я, легши спать, до полуночи не спал, а все думал и прежде не уснул, покуда не добрался, что число гусей было 36. Сей случай был первый, при котором разум мой оказал свою способность и принужден был действовать собою. Я несказанно обрадовался, добравшись до желаемого, и заснул в мечтательных воображениях о том удивлении и удовольствии, какое будет иметь мой учитель при скором моем решении его задачи, и с нетерпеливостью дожидался того времени, как мне оная задана будет. Сколь я ни мал был, но рассудил, что дурно будет, если сделаю я ее слишком скоро, а потому и положил притвориться и наперед минуту, другую цифров пописать, а потом уж сделать, что и исполнил я в самой точности.

Но что ж воспоследовало и сколь много обманулся я в моем чаянии и ожидании и сколь худо заплачено было за мое усердие и труды! Не успел я известное мне число на доске написать и задачу сделать, как, вместо ожидаемых за то похвал, учитель мой вздурился. Обстоятельство, что он в ожидании своем обманулся и ему не удалось меня помучить, так его взбесило, что напал на меня, как лютый зверь, и насильно требовал, чтоб я признался, что я у него число сие, написанное на аспидной доске, повешенной на стене, подсмотрел, а не сам собою доискался. Я, ведая его бешеный нрав, вострепетал, сие увидев: я клялся ему небом и землею, что того и не ведал, что у него задача сия была написана на доске, и призывал всех святых в свидетели, что целую почти ночь не спал и доискался сам; но все мои клятвы и уверенья были тщетны: он и слышать того не хотел, чтоб сие возможное было дело, и я принужден был вытерпеть от него целую пытку. Вовеки не позабуду сего случая и того, сколь чувствительно и несносно было мне тогда терпеть сию сущую пытку понапрасну. Немец мой сделался тогда сущим извергом: он не только меня иссек немилосерднейшим образом хворостинами по всему телу, без всякого разбора, но грыз почти меня зубами и терзал, как лютый зверь, без всякого человечества и милосердия. Он так разъярился, что пена стояла у него во рту, и до тех пор меня мучил, покуда выбился сам уже из сил и запыхался так, что принужден был меня покинуть; ни слезы, ни умаливания, ни целования рук и ног его, ни повторяемые клятвы не могли смягчить сего чудовища. К вящему моему несчастию, комнатка моя была в самом углу и отдалении, что никому крика и вопля моего было не слышно и никто не мог приттить и меня отнять у сего тирана. Вот какого имел я учителя.

Насытившись сколько душе его было угодно и не добившись от меня всем сечением своим ничего, ибо мне в самом деле сказать было нечего, утолился он наконец сам от своей ярости и смотрел на меня, хлипующего и сидящего в наижалостнейшем состоянии. Слезы текли у меня из глаз ручьями, и горесть, которую я тогда чувствовал, была неописанна.

Но сколь удивление мое было чрезвычайно, как в самое сие время увидел я учителя моего, вставшего, подошедшего ко мне, превратившегося из прежнего лютого зверя в наикротчайшего агнца и начавшего нежно трепать меня по щеке и ласковейшим образом уговаривать, чтоб я перестал плакать:

— Ну! ну! — говорил он. — Бог тебя простит! Перестань плакать, помиримся.

Явление сие и таковые неожиданные слова еще более усугубили мою горесть и слезы.

— Не в чем меня, — отвечал я сквозь слезы, — ни Богу, ни вам прощать, я ничего не сделал, и вы Бога, сударь, не боитесь, что так меня измучили совсем напрасно; батюшка и матушка как изволят, а я упаду к ногам их и буду просить, чтоб они меня помиловали.

Сей ответ мой еще более встревожил его, ибо надобно знать, что таковое дружное и скорое превращение его было по причине: он приметил, что

во время сечения и ярости своей поступил он слишком неосторожно и розгами попал мне в лицо и произвел превеликий рубец на щеке и в самой близости подле глаза. Сего обстоятельства я и сам тогда еще не ведал, а он, как ни зол был, однако легко мог предвидеть, что за сие будет ему от родителей моих превеликая гонка. Он раскаивался тогда, но уже было поздно, что поступил со мною так бесчеловечно, и не знал чем пособить сему злу и чем и как бы скрыть и утаить сие дело от узнания моих родителей. Самое сие принудило его надеть на себя овечье платье, сделаться сущею лисицею и всячески стараться меня улещивать и уговаривать, чтоб я сказал, что рубец сей получил не от сечения, а будто бы ходил в сад и застегнул себе лицо нечаянно хворостиною. Но я не таков был глуп, чтоб тотчас на сие предложение и согласиться, но, узнавши сие обстоятельство, восторжествовал над моим мучителем: смеялся внутренно его трусости и малодушию и в некоторое отомщение за претерпенные от него невинно побои помучил его часа три своею несговорчивостью и нехотением утаить сего дела от родителей, и довел его наконец до того, что он перетрусился в прах, не знал, что делать, ласкал меня всем, чем можно, надавал тысячу клятв и обещаний, что впредь меня сечь не станет, насулил мне ягод и конфектов; и всем тем и неотступными просьбами убедил меня наконец к тому, что я согласился по крайней мере не приносить родителям моим на него жалобы.

Сие слово я хотя и сдержал, однако дело сие не могло никак утаиться в доме: сестра моя, любившая меня весьма горячо, приметив рубец, тотчас меня стала спрашивать; я хотя и не хотел сказывать, но догадались и сами. Тотчас узнала и покойная моя мать, и не только учителю моему дала превеликую за то гонку, но поссорилась за то почти и с моим отцом; но сей, не узнав всей истины, не уважил сего дела по достоинству и чрез самое то дал учителю моему поползновение и вперед предпринимать дела тому подобные. Говорил ли он от себя что-нибудь учителю, того уж я не знаю; но как бы то ни было, но тем история сия тогда не кончилась, и учитель мой несколько времени был посмирнее, однако не надолго, а скоро принялся опять за свое глупое ремесло, как о том упомянется впоследствии.

Из прочих приключений, случившихся со мною около сего времени, помню я только одно, и довольно странное и удивительное. Одному из самых передних верхних моих зубов во рту вздумалось что-то рость совсем превратным образом, а именно вверх, и не только прорезать собою верхнюю десну, но произвесть рану и на самой верхней губе изнутри и пройтись уже почти наполовину сквозь оною. Таковое странное и необыкновенное явление озаботило и смущало моих родителей, они не знали, что со мною и с зубом сим делать, и тем паче, что он рос кверху острым концом и мне много мешал уже и говорить. Они советовали уже со многими врача-

ми, но для всех явление сие было новое и необыкновенное и никто не отважился взять на себя комиссию его выдернуть. И я истинно не знаю, чтоб со мною воспоследовало, если б не стал сей опасный зуб сам качаться и не раскачался в скором времени так, что полковому нашему лекарю никакого почти труда не стоило оный пальцами, повернув немного, выдернуть и чрез то избавить меня от опасности быть уродом.

Примечания достойно, что на сем месте не выросло уже у меня никогда зуба, а дабы число зубов не сделать у меня недостаточным, то произвела натура новый зуб, хотя подле того же места, но в необыкновенном месте, а именно в небе, которым зубом я и поныне еще отличаюсь от всех прочих людей на свете, ибо во всю мою жизнь случилось мне видеть и найтить у одного только человека, у которого был зуб точно подобный моему, а именно у одного из господ Бакеевых, дальнего моего родственника с матерней стороны; он назывался Сила Борисович, жил неподалеку от нас в деревне, и об нем иметь я буду говорить впредь, при другом случае. Впрочем, все родственники мои сначала боялись, чтоб сей удивительный зуб не стал мне мешать говорить, однако после оказалось, что он дальнего помешательства мне не делал, но я прожил с ним целый век и говорил как надобно.

Между сими происшествиями протек тысяча семьсот сорок седьмой год, который был достопамятен в жизни моей тем, что я в оный начал впервые учиться иностранным языкам и подвержен был два раза величайшей опасности, но от которых счастливо освободился; а как кстати и письмо сие довольно увеличилось, то, отложив дальнейшее повествование до последующего, сие теперь окончу, сказав вам, что я есмь, и прочая.

В Курляндии

Письмо 8-е

Любезный приятель! Преследующее письмо пресек я окончанием 1747 года, а теперь, продолжая повествование мое, расскажу вам, что случилось со мной в наступивший после его новый 1748 год, который не менее достопамятен был бывшими со мною разными приключениями.

Полк наш простоял в Петербурге недолго, ибо не успело наступившего нового года пройтить одного месяца, как вдруг и совсем нечаянным образом сказан нам был опять поход, и велено было немедленно итти в Курляндию. Причиною движения сему была горевшая около того времени в Европе война и намерение нашего двора отправить в Германию к Цесареве вспомогательный корпус[103]. Неожиданность сия нас не менее удивила,

[103] Речь идет о войне за австрийское наследство (1741—1748). Цесарева — Мария-Терезия — старшая дочь австрийского императора Карла VI, вступившая после

сколько и порасстроила; но как бы то ни было, мы должны были повиноваться и выступить в поход еще в начале февраля месяца.

Поход сей, продолжаемый зимним путем, был мне только приятен тем, что мы получали везде прекрасные квартиры, ибо оные отцу моему отводимы были обыкновенно на почтовых дворах[104], из коих в каждом находили особые и отменные от других украшения и убранства, сколько досаден тем, что учитель мой и во время самой дороги заставливал меня учить наизусть и твердить вокабулы и требовал, чтоб я из многих тысяч выученных наизусть слов не позабыл ни единого; но как сие составляло сущую невозможность, то и принужден я был терпеть от него за то превеликое зло и лихо. Все обещания его меня не сечь были позабыты, и я нередко принужден был страдать от него жестокосердного; но он так много меня не секал, как при одном случае во время сего путешествия. Как теперь подумаю, то кажется, что он существительное находил увеселение и утешение в том, чтоб меня терзать и мучить. В сие время затеял он однажды все вокабулы, сколько я их в разные времена ни выучил, прослушать и, дав мне только сутки времени протвердить, наперед сказал, что он за каждое позабытое мною слово неотменно влепит мне по три удара розгою в спину. Я удостоверен был, что он сие действительно исполнит, и сие нагнало на меня такой страх и привело мысли мои в такую расстройку, что я множество и таких слов позабыл, которые действительно помнил, а особливо тогда, когда начал меня прослушивать и все забытые слова считать и радоваться, что будет ему случай насытить свою лютость и хорошенько меня помучить. Розги приуготовлены уже были превеликие и лежали на столе, и сие зрелище привело меня в такую робость, что я и на самые известнейшие вопросы не мог ему ничего ответствовать. Наконец кончилось прослушивание, и он насчитал всех позабытых слов более двухсот и со зверским хохотом возвещал мне, что получу 600 ударов. Я обмер, испужался, увидев, что он действительно сие исполнить предпринял, и не знал, что делать. К несчастью, случилось сие в одном селе на особой и отдаленной квартире, в которой никого не было, кроме одной хозяйки; я упал ему в ноги и, облившись слезами, просил о помиловании; но все мои умаливания были тщетны, прощать не его было свойство, и я принужден был шествовать на двор, где вознамерился он произвесть надо мною сию экзекуцию и, собственно, для того, чтоб тем меньше можно было кому-нибудь мой вопль услышать.

его смерти во владение всеми землями австрийской монархии. Россия активно выступала на стороне Австрии (2 июня 1747 г.), послав корпус на Рейн.

[104] Почтовая станция, где сменялись лошади.

Тут, ущемив меня между ног, начал он меня тиранить и действительно считать все разы; я кричал, вопил, а наконец и вопить уже более не мог, и уже не знал, что б со мною было, если б не сжалилась со мною хозяйка и не избавила меня от сего мучителя. Уже насчитал он двести раз и начал считать третью сотню, и я уже осип от кричанья, как выбежала на двор сия добросердечная женщина и, прибегши к нам, силою отняла меня от него и, оттолкнув его прочь, сказала:

— И что ты за лукавый! Ведь ты ребенка-то до смерти засечешь! И есть ли тебе Бог, бусурман проклятый!

Он было вздумал противиться и отнять меня у ней опять, однако она так его от себя толкнула, что он чуть было не упал, и повела меня прямо со двора, чтоб весть к моей матери. Но самая сия выдумка усмирила моего мучителя, он побожился ей, что не станет более сечь, и она послушалась и оставила.

Со всем тем, как мне в сей раз было уже слишком несносно, то я не преминул уже формально на него матери своей пожаловаться и, рассказав все, показать, сколь жестоко я иссечен; и сие так много воздействовало, что ему от родителей моих досталась не только превеликая гонка, но и формально запрещено впредь без их ведома меня наказывать. И с сего времени сделался учитель мой уже гораздо смирнее, и я не помню уже ни однажды, чтоб он меня так сильно секал.

Мы препроводили в сем походе немалое время, ибо надлежало проходить всю Ингрию[105], Эстляндию и Лифляндию, а полки, как известно, ходят не скоро и притом все с растахами, посему и не могли прежде в Курляндию приттить, как в марте месяце. Для стояния нашему полку назначено было местечко или городок Бовск с его окрестностями, куда пришед мы и расположились.

Местечко сие было изрядное, лежащее при реке Неманте в том месте, где впадает в нее Муха[106]. Подле самого устья сей последней реки находился старинный каменный, но наполовину развалившийся замок с полверсты от нынешнего жила[107]; в нынешнем же городке были многие изрядные домики, и для отца моего отведена была изрядная квартира, а учителю моему прямо насупротив у одного пекаря, куда я к нему и хаживал учиться.

[...]

[105] Ингерманландию.

[106] Немант — Неман — река балтийского бассейна. Муха — небольшой приток Немана.

[107] Жилье, селенье, дом, изба.

Между тем как мы сим образом тут стояли, продолжал я попрежнему учиться немецкому языку и арифметике, и как я был уже несколько постарее и понятнее, то ученье мне было уже не таково скучно, и тем паче, что учитель был уже смирнее; сверх того и труды мои услаждаемы были частыми отпусканиями меня гулять, да и сверх того особыми удовольствиями, ибо, во-первых, угодно было родителю моему в сию весну записать меня в военную службу и поместить в полк свой в число солдат, а через месяц произвесть в капралы[108]. Определение в службу малолетних было тогда не таково легко, как ныне, и родителю моему сего бездельного дела не можно б было сделать, если б на тот раз не находились мы за границей и вне своего отечества, ибо Курляндия и тогда нам на принадлежала. Сверх того помогло к тому и то, что имел он фельдмаршала себе приятелем.

Но как бы то ни было, но для меня имя солдата обращалось в превеликое удовольствие, а как сделали мне маленький мундир и нашили капральский позумент, то я уж не знал от радости что делать.

Вступив сим образом в военную службу, был я хотя по десятому году, но начал помышлять уже о военном и в праздное время и утешать себя такими забавами, которые к тому были приличны. Я спознакомился со многими мещанскими детьми сего местечка, уговорил и набрал из них целое капральство и человек до тридцати выбрал из них ефрейторов[109] и барабанщиков, снабдил их всех деревянными ружьями, а барабанщиков — маленькими барабанами. Потом, научившись сам бить в барабан и метать ружьем артикул[110], переучил их всех к тому же, и наилучшая моя забава состояла в том, чтоб с ними порядочно маршировать и экзерцироваться[111] ружьями; но не могу и поныне надивиться тому, как я тогда мог их довесть до совершенного послушания и до того, что я мог с ними делать, что хотел. Всякий раз, когда надобно мне было их собрать, так нужно было только послать ефрейтора, как все безоговорочно и являлись.

Обыкновенное наше учение было в праздничные и воскресные дни; тут, собравшись, маршировали мы порядочно взводами через весь город; выхаживали в поле и делали разные экзерции, а нередко прохаживали до вышеупомянутого старинного замка, и, разделяясь надвое, некоторые приступали к оному, а другие, засев в оном и вскарабкавшись на стены и в проломах, оборонялись. Но дивиться надобно было, как не случилось нам тут никогда друг друга перебить: вокруг всего сего на-

[108] Тогдашний унтер-офицерский чин.

[109] Низший военный чин между рядовым и унтер-офицером.

[110] Собственно — отдел, глава; затем — воинский устав; здесь: ружейные приемы.

[111] Упражняться.

половину развалившегося замка лежало еще множество чугунных пушек с отрубленными ушами и между ими и мусором валялось множество больших ядер, а всего более пушечных картечей. Я не понимаю и дивлюсь еще и поныне, каким образом они уцелели тут от древности и не растасканы были поселянами; но как бы то ни было, всякий раз, как мы к сим развалинам ни прихаживали, наилучшее наше утешение состояло в том, чтоб собирать и выкапывать из мусора сии ядры и картечи и ими швыряться при делаемых нами приступах и оборонах, — и сам Бог нас охранял, что мы никому из нас на проломили ими голову.

Из сих детских игрушек явствует, что я с малолетства имел великую склонность к военному делу и, может быть, вышел бы из меня и воин, если бы судьбе угодно было расположить обстоятельства мои иначе, но провидение назначило меня не к тому, чтоб мне быть генералом, а совсем к иному. Но я возвращусь к истории.

Препровождая в таковых воинских игрушках нередко свое время, угодил я тем весьма много моему родителю и сделал то, что он хотя и скуп был на раздачу чинов, а особливо мне, однако по неотступной просьбе офицеров, которые все меня любили, произвел меня в подпрапорщики, а потом в каптенармусы и дал мне другой позумент.

Сие было опять мне причиною к великой радости. Я начинал уже мечтать о себе, что я уже нечто составляю, и как чин мой ни мал был, но я гордился уже оным. Я приумножил еще более мою военную команду и, перенимая все, как маленькая обезьяна, у старых, восхотел завесть и такую строгую дисциплину, какая наблюдалась в полках, и не только учить их экзерциции, но ослушных и наказывать по-военному, не предвидя того, что самое сие в состоянии было всем забавам конец положить и все дело испортить.

Один негодный мальчишка был тому причиною. Будучи несколько раз бранен за ослушание команды и за неприход в повеленное время и не хотя исправиться, побудил он нас всех сделать общий совет, чем бы нам за то его наказать, — и все мы были так глупы, что осудили по общему приговору высечь его пред фрунтом порядочным образом батожьями[112]. Сие и учинили мы во всей форме и бедняка сего, разложив, порядочно выпороли. Но бездельник сей разрушил все наши забавы и утешенья: он расплакался и разжаловался матери, сия разжаловалась своему мужу и подожгла иттить просить. Итак, дошла просьба о том моему родителю, и следствием от того было то, что все общество наше было разрушено, корпус кассирован[113], а мне учинена превеликая гонка.

[112] Бадаг, бадег, бадажок (более старинное — батог) — хлыст, хворостина, розги; множ. число — батоги и батожья.

[113] Распущен.

Однако забавам сим и без того не можно б было долго продолжаться, ибо покойный родитель мой, видя меня час от часу возрастающего и приметив, что способности во мне ко всему от часу оказываются более, давно уж помышлял о дальнейшем поспешествовании моим наукам. О тогдашнем моем учении мог он уже сам усмотреть, что из всего оного мало прока выйдет, ибо я хотя и знал несколько тысяч немецких слов, но говорить был вовсе не в состоянии, ибо учитель мой вовсе не так меня учил, как надобно, или, прямее сказать, не умел как учить; и я думаю, что хотя бы я проучился у него еще три года, но и тогда говорить бы был не в состоянии, а особливо потому, что я, живучи дома, имел всегда случай говорить по-русски. По всем сим обстоятельствам и хотелось родителю моему уже давно отдать меня куда-нибудь в лучшую школу или к лучшему учителю, и как он узнал, что у одного соседственного курляндского дворянина содержался в доме для обучения детей учитель, то сведя с ним знакомство, и отдал меня к сему учителю.

И как с сего времени начинается новый период моей жизни и начало самого учения, то я предоставлю говорить о том в предбудущем письме, а сие сим кончу и остаюсь ваш и прочая.

В мызе Пац

Письмо 9-е

Любезный приятель! Тот курляндский дворянин, к которому в дом меня отдали учиться, назывался господином Нетельгорстом и жил от местечка Бовска верст с 16 или около 20, на самой польской границе. Он был не убогий человек, имел в мызе Пац изрядный у себя дом и подле его прекрасный регулярный сад, украшенный множеством статуй, сам он был уже старик, и старик угрюмый и несговорчивый, но жену имел молодую, боярыню бойкую и прекрасную. Она была ему уже вторая жена, а от первой имел он двух сыновей, уже довольно взрослых: одного из них звали Ернстом и который ныне заступил место отца своего и владеет всею мызою, а другого — Оттою или Оттоном; сей находится ныне в Дерпте, комендантом или плац-майором[114]. От упомянутой же второй жены имел он только одну дочь, и ту еще маленькую; сыновья же его были несравненно меня больше и такими, каких ныне у нас более уже никто не учит. Но у курляндцев такого глупого обыкновения не было, чтоб оставлять детей полуобученными и сущими еще ребятками пускать в службу, — но они и тогда уже продолжали учиться, хотя б большого время было и женить. Для обучения их содержал сей дворянин не такого француза ветра, какие бывают у

[114] Плац-майор — помощник коменданта.

нас, а порядочного и ученого человека родом из Саксонии и прозванием Чааха. У сего не столько учились, сколько студировали они философию на латинском языке, ибо языкам и прочим прелиминарным[115] наукам они давно уже выучились.

Учитель сей был весьма степенный, важный и порядочной жизни человек; он студировал в лейпцигской академии или университете и, кроме прочих наук, умел довольно изрядно рисовать. Для спокойнейшего учения сделан был для него на дворе и окошками в сад особый домик, где он жил с сыновьями господина Нетельгорста.

Сему-то человеку поручен я был на руки, с тем, чтоб меня не только доучивать по-немецки, но начать учить и по-французски, также и рисовать; а господин Нетельгорст был столько к отцу моему благосклонен, что взялся содержать меня при своем столе бесплатно. Меня привез туда сам покойный родитель и оставил меня тут, придав мне только одного моего прежнего дядьку для одевания и раздевания. Мне отвели место в том же маленьком домике, где жили сыновья господина Нетельгорста.

Таким образом вступил я совсем для меня в новый род жизни; до сего времени никогда еще не отлучаем я был из дому моих родителей, и это случилось еще в первый раз. Но отлучение сие и отдание меня в чужой дом, а особливо такой, каков был сей, послужило мне в бесконечную пользу, так что я и поныне еще благословляю священный для меня прах моего родителя за то, что он сие сделал, ибо тут не только в полгода я гораздо множайшему, а немецкому языку столько научился, сколько не выучил во все время у прежнего учителя, но и вся моя натура и все поведение совсем переменилось, и в меня впечатлелось столько начатков к хорошему, что плоды проистекли из того на всю жизнь мою.

Обстоятельство, что во всем этом доме не умел никто по-русски говорить ни единого слова, весьма много поспешествовало к тому, что я весьма скоро начал уже говорить по-немецки и научился сопрягать слова нечувствительно. Ибо как дядьку моего я видел только по утрам и по вечерам, а все прочее время принужден был препровождать и говорить с немцами, то самая неволя заставила меня перенимать и учиться с ними говорить их языком. За тихое мое поведение, переимчивость и охоту к наукам меня скоро все полюбили, а хозяева сего дома содержали меня не инако как своего сына и не только ласкали наивозможнейшим образом, но и старались поправлять мои поступки и поведение, однако не строгостью и не браньями, а все ласкою и благоприятством. Во все время у них пребывания не слыхал я от них ни единого бранного слова, а ласки их и попечение обо мне были так велики, что я

[115] Предварительным; здесь: общеобразовательным.

и поныне еще благословляю прах их и за все их благодеяния чувствую благодарность. Сам учитель мой так меня любил и столько понятием моим был доволен, что я ни однажды не только не терпел от него таких пыток, как от прежнего, но и легкого сечения, и сколько помню, то однажды только погрозился и хотел было меня высечь розгами, да и то за какую-то непростительную шалость, так что я сам себя признал того достойным. Что касается до моих соучеников, то как они были меня старее, то и не можно было мне иметь с ними компанию детскую и резвиться. Они содержаны были очень строго и в совершенном повиновении у родителей, не смели предпринимать ничего худого, воспитаны были очень хорошо, были хорошего поведения, имели охоту к наукам; а сие много помогло тому, что я от них не мог перенимать ничего худого, а напротив того, перенимал все хорошее и нечувствительно получил склонность как к наукам, так и к рисованию.

Словом, жить мне было тут так хорошо, весело и приятно, что я не только тогда очень скоро позабыл дом родителей моих, но и поныне, напоминая тогдашний период жизни, чувствую в душе моей некое удовольствие и почитаю оный наилучшим и приятнейшим временем моего младенчества. Мы учивались каждый день до обеда и после обеда, и я учился когда читать по-французски, когда писать и рисовать, а между прочим получил начальные понятия и о географии; каждый час приносил мне пользу, и не только учебный, но и всего прочего времени. Обедать и ужинать хаживали мы обыкновенно в большие хоромы к старику, а после обеда важывал меня нередко учитель с собою гулять по саду, а в иное праздное время, а особливо по вечерам, бывали мы в хоромах, и я принужден был вести себя кротко, благочинно и порядочно. В праздники же и в воскресные дни нередко отпускали меня к моим родителям в местечко Бовск, а иногда старик сам меня туда важивал; а иногда приезжал и покойный родитель к нам.

В сем-то месте и в сие-то время впечатлились в меня первейшие склонности к наукам, искусствам и художествам, продолжавшиеся потом во всю мою жизнь и производившие мне столь бесчисленные и приятные часы и минуты в жизни. Всему хорошему, что есть во мне, начало положилось тут, а сверх того имел я и ту пользу, что, живучи в таком порядочном доме, имел я первый случай узнать и получить понятие о жизни немецких дворян и полюбить оную.

Я жил и учился тут во все то время, покуда полк наш стоял в Курляндии, что продолжалось более года. В сие время нередко видался я с моими родителями; они жили сначала все в том же местечке, куда приехала потом и большая моя сестра с мужем. Для сего свидания обыкновенно езживал я к родителям с моим дядькою, летом верхом

или в одноколке, а зимою в пошевенках[116] и, пробыв у них воскресенье, возвращался обратно к понедельнику на свою мызу.

Самые сии недальние, но частые переезды и путешествия и подали случай к некоторым особливым и хотя не важным, однако таким со мною около сего времени приключениям, которые так впечатлелись в мою память, что я и по ныне их забыть не могу, и к коим наиболее характер дядьки моего был поводом.

Сим дядькою у меня был один из служителей нашего дома по имени Артамон. Он был сын старухи, бывшей у покойной родительницы моей еще нянею, и человек не глупый, умеющий грамоте, ходивший за мною довольно изрядно, но подверженный той проклятой слабости, которой так многие наши рабы подвержены бывают: т.е. любил иногда испивать. Другой порок в нем был тот, что он чрезвычайно любил курить табак; в прочем же был лучший у нас слуга, и любил меня как должно; что ж касается до меня, то я любил его чрезвычайно, но это и не удивительно, потому что он всегда за мною ходил, а тогда и жил только один со мною в чужих людях. Одно из вышеупомянутых приключений было следующее.

Некогда, побывав у родителей моих, случилось мне с ним из Бовска поехать обратно на мызу, в одноколке. Было то летом, и не рано, а часа за полтора или два до вечера. Одноколка была у нас с ним легонькая мызничья, в одну лошадь, и я обыкновенно сиживал в ней, а он у меня позади и правил. Сим образом бывало мы с ним одни и едем, и дорогою обыкновенно о чем-нибудь разговариваем. Он читывал довольно наших церковных книг, и часто рассказывал мне все, что знал о сотворении мира, о потопе и о прочем, относящемся до библейской истории, которая была ему нарочито сведома[117]. И я могу то в похвалу ему сказать, что первейшими понятиями о создании мира, а отчасти и о Законе[118] обязан я ему, а потому и слушивал я всегда его с удовольствием, и мне с ним помятуемым образом ездить никогда было не скучно.

Но в сей раз случилось совсем тому противное. Пред самым отъездом какому-то приятелю захотелось его попотчивать и вкатить в него рюмки две-три лишних. Мы не знаем того не ведаем, и ни мне и никому иному и в уме не приходило заприметить, что дядька мой был и в то уже время на девятом взводе, как я садился в одноколку. Но не успел я с ним выехать, как его так начало разнимать, что я, каков ни мал был, но мог уже приметить, что дядька мой пьян. Вскоре после выезда над-

[116] Сани.
[117] Особенно известна.
[118] Законе Божьем.

лежало нам переезжать реку Муху и спускаться подле развалин замка, под гору; уже и тут он меня напужал, будучи не в состоянии довольно сильно держать лошадь, которая чуть было нас с ним не опрокинула. Однако как бы то ни было, но мы реку благополучно переехали, и поднялись на гору. Тут к несчастию моему случись корчма; дядька мой не успел ее увидеть, как захотелось ему выпить винца еще. Он стал меня уговаривать, чтоб я подержал на минуту лошадь, а он зайдет на часок в корчму и раскурит свою трубку. Я хотя и догадывался, что у него не трубка на уме, и хотя старался его уговаривать, чтоб не ходил, однако просьбы мои остались тщетны. Он пошел себе в корчму и я принужден был нехотя стоять и его дожидаться. Что он там делал, того уже не знаю, но после нескольких минут возвратился с трубкою во рту, но при том гораздо уже пред прежним пьянее, и так, что почти на ногах стоять не мог. Обмер я, испужался сие увидев, и не знал, что мне с ним делать; ехать еще было очень далеко, я легко мог заключить, что править лошадью был он совсем не в состоянии. Назад возвращаться было также уже версты три и при том переезжать опять реку и страшную гору. Сверх того не хотелось мне и на гнев привесть моих родителей, и дядьку своего наказанию подвергнуть. Сколько мне ни горестно и ни досадно на него было, однако, при всем том было его жаль. В сей крайности находясь, решился наконец я посадить его с собою в одноколку, и, предавшись в волю судьбы, продолжать путь далее и править уже лошадью самому. Время тогда было еще хорошее, дорога гладкая и мне довольно знакомая, а и вечер еще был не слишком близок, и так, думал я, поеду себе потихоньку, авось либо как-нибудь доеду и его довезу. Но тут великого труда мне стоило преклонить его к тому, чтоб он сел рядом со мною. Пьяные обыкновенно много о себе и о силе своей думают, и так насилу-насилу я его уговорил и посадил с собою, но что ж воспоследовало?

Не успели мы еще версты отъехать, как дядьку моего уже не путем и так розняло, что он не в состоянии был и одного слова порядочно выговорить, а более мычал, нежели говорил. От вихлянья и качанья его во все стороны я приходил ежеминутно в страх и трепет, того и смотрел, что он у меня полетит чрез голову одноколки. Я поддерживал его сколько было силы, но как выбился из сил, а притом приметил, что он дремлет, то уговорил его, чтоб он к одному углу прилег и себе заснул. Он тому и рад был, а мне хотя и тесно было уже сидеть, но я также рад был уже тому, что он заснул и храпел как боров, и я не имел нужды его держать.

Сим образом продолжая путь потихоньку, доехали мы с ним благополучно до одного большого и густого леса, который находился уже неподалеку от нашей мызы, простирался версты на три длиною и сквозь который надлежало нам необходимо проехать, и притом узкою, дурною и колеистою дорогою. До сего места ехали мы все-таки хорошо, дорога была гладкая, лошадь смирная, ехали мы все полями и лугами и притом днем и еще засветло; но как пред въездом в сей лес уже начало смеркаться, то стал я уже и заботиться о том, как бы скорее проехать лес, а притом гораздо уже и потрушивать. Густота высокаго леса темноту вечернюю умножала еще больше и нагоняла на меня тем паче ужас, что мне никогда еще не случалось бывать в таком лесу, и еще одному, ибо дядька мой что был, что нет, все равно, он храпел только и спал наиспокойнейшим образом, как убитый. К вящему несчастию пришло мне на память, что я слыхал, что в сем лесу водилось множество волков. Сие еще меня пуще смутило и озаботило; я не знал что делать и рассудил испытать, не могу ли я разбудить моего спутника; но он так крепко почивал, что все кликанья, трясенья и толканья ни малого не производили действия: он вовсе их не чувствовал и только что сопел. Тогда перетрусился я еще того больше, ибо до того все-таки надеялся, что его разбужу и мне с ним с несонным не таково страшно будет ехать.

Между тем ночь приближалась уже скорыми шагами. Сумерки уже оканчивались и становилось уже совсем темно, а мы еще и половины леса не проехали, а только добрались до самой его густоты и дурнейшего места. Тут восхотелось мне еще раз испытать его побудить, я собрал все свои силы сколько их ни было и, не пронявшись трясением и толканием, начал его приподнимать, но самым тем все дело еще хуже испортил. Несчастие мое хотело, чтоб в самое то время, когда я с ним сим образом возился, вошло одно колесо одноколки моей в преглубокую колею, и одноколку мою от того в ту сторону, где он сидел, так качнуло, что он полетел как чурбан чрез колесо и прямо в грязь. Не могу вспомнить, как я тогда испужался, и надивиться тому, как он и меня с собою не утащил. Но как бы то ни было, но я остался почти висящим на одноколке и столько еще имел памяти, чтоб остановить лошадь. По особливому счастию сия была весьма смирная скотина, и тотчас велению моему повиновалась. Я сошел тогда с одноколки, старался еще всячески разбудить моего товарища и спутника: но он так был пьян и так спал крепко, что и самое падение не могло его растрогать. Он лежал себе в грязи, как на мягкой постели, и ни о чем не помышлял, только всхрапывал. Тогда потребен был для меня хороший совет: но к несчастию мне дать было его некому, а сам я был еще слишком к тому мал, чтоб мог придумать, что бы мне в таком случае сделать было лучше. Правда, мне и пришло было на мысль, чтоб, оставя его тут, сесть опять в одноколку и ехать одному до мызы, и оттуда прислать за ним, что б и лучшее было средство. Но статочное ли дело, чтоб я мог тогда на сие отважиться и решиться. Любовь к дядьке моему не так

была мала, чтоб я мог оставить его одного, и в таком состоянии, в лесу: я не инако заключил, что его съедят тут волки и потому тотчас сию мысль откинул, а приступил к делу самому детскому, совсем невозможному и силы мои превосходящему, а именно, я начал его совсем бесчувственного тащить ближе к отъехавшей на несколько шагов одноколке, и возмечтал себе, что я могу его как-нибудь поднять и положить в оную. Но всякому можно рассудить, в силах ли я был сие сделать и не тщетно ли мое было предприятие. Но как бы то ни было, однако я приступил к сему делу, и не зная даже, страх ли, или самая крайность нужды, силы мои столько подкрепила, что я, хотя с превеликим трудом, однако кое-как дотащил его до одноколки и, приподняв верхнюю половину тела, прислонил уже к оной. Легко можно рассудить, что сей необъятный для меня труд меня крайне изнурил, я запыхался на смерть и, сделав сие, принужден был отдыхать и собирать вновь силы, чтоб докончить желаемое предприятие. Но я сколько ни старался, но верно бы его не исполнил, ибо на одноколку поднять не было уже никакой для меня возможности, и я истинно не знаю, чем бы кончился мой тщетный труд, если б в самое то время, как только начал я с дядькою моим вновь ворочаться, новый нечаянный случай всего намерения моего не разрушил и смятения моего и страха еще больше не умножил. Откуда ни возьмись и порхни из-за куста какая-то большая птица, и думать надобно, что сова: лошадь моя, стоящая до того как вкопаная, какова была ни смирна, но нечаемым шумом и шорохом сим так была испужана, что вдруг шарахнулась и что ни есть мочи с одноколкою поскакала и оставила меня одного с упавшим опять в грязь и спящим моим дядькою.

Теперь вообрази себе всяк, каково было мне тогда, будучи десятилетним ребенком, остаться одному посреди большого густого и в самом деле страшного леса, и притом еще ночью, и с одним только опьянившимся до бесчувства человеком! Состояние, в котором я тогда находился, было действительно таково, что я его изобразить никак не в состоянии. Внезапность и неожиданность сего происшествия так меня поразила, что я лишился и последнего ума и рассудка. Когда действовала до сего во мне единая боязнь, так постигло меня тогда уже совершенное отчаяние. В единый миг вообразилась мне тогда вся великость опасности, в которой я тогда находился, я не инако полагал, что меня съедят тут волки и что я за верное в ту ночь погибнуть буду должен: вообрази же теперь всяк, каково ребенку быть в таковых помышлениях и готовиться к смерти! Боязнь моя превратилась в сущее отчаяние, я так оробел и в такое пришел малодушие, что залился слезами, поднял превеликий вопль и крик, бегал и метался как сумасшедший и не знал,

что делать. Несколько раз предпринимал я бежать вслед за ушедшею моею лошадью, и несколько раз, будучи не в состоянии ее догнать, опять назад возвращался. Не успею отбежать несколько сажень и забежать за кусты, почувствовать, что я один, как страх так меня обымет, что я опрометью побегу назад к моему бесчувственному спутнику. Сей сколь ни слабою составлял мне тогда подпору, и сколь не мало мне мог служить защитою и обороною, но я в отчаянии своем рад уже был тому, что хоть он со мною остался. Надежда, что авось либо он как-нибудь проснется и сколько-нибудь опамятуется, подкрепляла меня в моем страхе и отчаянии.

Я позабыл уже тогда всю мою на него досаду, прилеплялся к нему как к единой моей защите и обороне, будил, умолял, обливал его слезами, и всем тем добился только до того, что он однажды промычал, но сие в состоянии уже было меня неведомо как обрадовать, и подействовало столько, что я пришел сколько-нибудь опять в рассудок, и мог уже рассудить, что я криком и воплем своим ничего себе не помогу, а в состоянии только буду скорее волков к себе приманить. Сия мысль столько подействовала, что я тотчас плакать и шуметь перестал, а, вытащив кое-как дядьку моего из грязи на травку, сел подле него и, прижавшись к нему наиплотнейшим образом, сидел молча ни жив ни мертв, дожидаясь его пробуждения или того, что судьбе со мной учинить будет угодно.

Но сия и сжалилась, наконец, над моим состоянием. Приведя меня нечаянностию в отчаянный страх и действительную опасность, восхотела она таковою же нечаянностию и освободить меня из оного. Одному мужику, принадлежащему господину Нетельгорсту и работавшему во весь тот день у нас на мызе, властно как нарочно велено было не прежде домой ехать, как по окончании одного порученнаго ему дела, и за самым тем замешкаться до самой ночи. Он возвращался тогда в свою деревню, и как ему сквозь самый сей лес ехать было надобно, то не успел он к нему подъехать, как повстречался с моею лошадью и пустою одноколкою. Хотя был он латыш, однако легко мог заключить, что это не даровое, и что лошадь людей конечно выпрокинула и сбила; а как случилось к тому так, что ему и самая лошадь и одноколка, как принадлежащая господину его, была знакома, а и то было ведомо, что я на ней езжал, то легко он мог догадаться, что ехал на ней я. А поелику сему добросердечному крестьянину было и то известно, сколь любили меня господа его, то все сие так его встревожило, что он бросился тотчас и перехватил мою лошадь, привязал к своей телеге, поскакал по дороге к нам и чтоб ему нас не проехать, стал то и дело аукать и кричать, чтоб мы услышали.

Слух кричанья сего весьма скоро и достиг до нас, и тут я уже не знаю, как изобразить мне ту радость, которую почувствовал я, сей крик и называние самого моего имени услышав. Я думаю, что если бы был то глас и самого ангела, то не больше бы ему обрадовался. С превеликим восхищением вскочил я и, забыв всю горесть, побежал на встречу добродушному мужичку, меня призывающему, ведущему за телегою своею мою лошадь с одноколкою, и не знал, как возблагодарить ему за его одолжение. Он удивился, нашед меня одного в лесу, а того больше еще, как я довел его до моего спутника и показал ему оного. С негодованием и бранью поднял он его и, бросив в свою телегу, был столь добродушен, что сам сел со мною в одноколку, а телегу привязал сзади и довез меня до мызы.

Сим образом кончилось сие происшествие, и дядьке моему надлежало бы получить за то наижесточайшее наказание: но как, поспавшись, стал он у всех валяться в ногах и просить, чтоб его тут наказали, а родителю моему сего не сказывали, а особливо, валяясь у ног, просил о том меня, то и отделался он небольшим за то наказанием от мызника.

В другой раз самый тот же мой дядька, и на таковом же путешествии, но уже и не пьяный, да и днем, стравил было меня действительно волками. Было сие следующим образом.

Однажды случилось нам с ним ехать, но не летом, а зимою, в санях из помянутой мызы Пац в местечко Бовск, к моему родителю. Обыкновенно езжали мы с ним в пошевенках, я, окутавшись, в них сиживал, а он у меня правливал. В сей раз поехали мы поутру и спешили поспеть к обеду. Но не успели мы вышеупомянутый большой лес проехать, как увидел дядька мой в стороне небольшую деревеньку, отстоящую от дороги не более как сажень на сто. Вид оной возбудил в нем охоту раскурить трубку его с табаком, до чего был он, как я уже упоминал, превеликий охотник. Но как огнива с ним не случилось, то захотелось ему сбегать в сию деревню и раскурить там оную. "Постойте, батюшка, здесь, — говорит он мне, — а я на минутку сбегаю в сию деревушку и раскурю трубку". Мне и не весьма хотелось его отпустить от себя и остаться одному, однако он убедил и уластил меня своими просьбами: "и день-то теперь, и бояться нечего, и жило близко, и опасности никакой быть не может, и лошадь он завернет, и она уйтить не может", коротко, он столько мне наговорил и так меня улестил, что я и склонился на его просьбу и сбегать туда дозволил. Но надобно же было как нарочно случиться так, что не успел он уйтить у меня из глаз и вбежать в деревню, как где ни возмись ни один, а целое стадо волков, и не далее от меня впереди как сажень тридцать. Я обмер, испужался, их увидев, ибо такого большого стада волков не случалось

мне никогда видывать, и как считал я себя уже погибшим, то кровь леденела от ужаса в моих жилах, и я не знал, что мне делать, и сидел ни жив ни мертв, прижавшись в уголок моих санок. Однако страх мой был по пустому. У волков и на уме не было на меня нападать, но они около сего времени ходились и шли вереницею один за одним, вслед за волчицею. Было их волков с двадцать, однако все они, перешед дорогу, прошли спокойнейшим образом далее в лес. А между тем прибежал и мой дядька, и насмерть испужался, как услышал, что без него со мною случилось. Тут пошли опять просьбы и умаливания, чтоб я и о сем приключении отцу моему не сказывал, и как страх мой был кратковременный, то я наконец, любя и жалея его, на то и склонился.

Из прочих происшествий, бывших в течение сего 1748 года, памятно мне только то, что однажды приезжали мы с стариком господином Нетельгорстом к покойному родителю моему, в какой-то большой праздник обедать, и что я при сем случае наделал смех и проказу. Так случилось, что, приехав в Бовск довольно еще рано, не застали мы покойного родителя моего дома, который в самое то время находился еще в лагере для слушания обедни и молебна, и оттуда еще не возвратился. Как лагерь нашего полку не далее отстоял от города, как на версту, то приди старику моему охота ехать туда, отчасти чтоб посмотреть лагеря, а отчасти чтоб видеть нашу божественную службу, которой он никогда еще не видывал, почему и велел он кучеру туда ехать. Но что ж воспоследовало? Не успели мы подъехать к шатру, в котором поставлена была церковь, как вдруг увидел я расстановленных подле нея моих злодеев пушек, и канониров подле них с курящимися фитилями. Я и не знал о том, не ведал, что в тот день производиться будет толь страшная для меня пальба из пушек, почему неожидаемое сие зрелище так меня поразило, что я побледнел и вся кровь во мне взволновалась от ужаса. И как мы остановились подле самых пушек и я со всякою минутою ожидал стрелянья, то что ж я сделал?.. Таки не долго думая, сиг из кареты в опущенное с моей стороны окно, и дай Бог ноги! Побежал куды зря, и на прорезь сквозь весь лагерь и даже за обоз и до тех пор неоглядкою как стрела летел, покуда только бежать мог и покуда не остановило меня болото, в которое вбежал я по кочкам по колено.

Между тем как я сим образом без памяти бежал, происходила у церкви сущая комедия. Так случилось, что скачка́ и бегства моего никто не приметил. Старик мызник в самое то время выходил из кареты и был ко мне спиною, следовательно ему видеть было не можно; а лакей, который один только у нас позади и был, упражнялся тогда в придерживании старика, своего господина, и помогании выходить ему из кареты, а потому за ним и ему приметить бегства моего было не можно.

Кучер наш и форейтер, вылупя глаза, смотрели на церковь и на пушки, а всех прочих случившихся тут людей глаза обращены были на выходящего из кареты мызника, и всем и не ума было взглянуть, что делалось позади кареты и в той стороне, куда я воспринял бегство; к тому ж, как тут в близости стояли ящики и солдатские палатки, то я в один миг за них забежал и от глаз их скрылся. Словом, так случилось ненароком, что бегство мое было совсем не приметно.

Но теперь вообрази себе всяк, в какое изумление пришел наш лакей, когда, выпустя мызника, хотел помогать из кареты выходить мне и вдруг увидел, что в карете никого нет! Он глядь туда, глядь в другую сторону, глядит позади кареты, обегая кругом, но столько же видит. "Господи, помилуй, — говорит он, — да где ж маленькой боярин, куда он девался?" — кричит, зовет меня по имени, но никто ему не отвечает! "Батюшки мои! — говорит он, продолжая бегать кругом кареты и соваться как угорелая кошка, — да где ж это он?" Спрашивает у кучера, спрашивает у форейтера, но те говорят, что не знают и что не видал никто меня, и хотят с каретой отъезжать, но слуга кричит "стой и погоди" и продолжает искать меня далее. Между тем старик, не оглянувшись, отошел несколько шагов от нас, и подходит уже к самой церкви и к тесноте народной. Но тут вздумалось ему оглянуться назад, дабы меня взять за руку и провесть: но как изумился он, когда позади себя ни меня, ни своего лакея не увидел. Он остановился и стал нас поджидать, но как увидел, что оба мы не показываемся еще и в ограду церковную, которая была по обыкновению плетеная и превысокая, то удивление его умножалось с каждою минутою и наконец, придя в нетерпеливость, принудило его иттить назад и нас кликать. Но сколь изумился он, когда увидел лакея своего помянутым образом бегающего только около кареты и меня ищущего.

"Что вы там стали, — закричал он на него, — и что нейдете?" — "Да чего, сударь, иттить, я не найду молодого боярина". — "Как это не найдешь, он тут был, дурак! И со мною сидел в карете". — "Я сам знаю, что он тут был, и с вами приехал, но воля ваша, его нет и я не нашел его ни в карете, ни за каретою". — "Врешь ты, дурак, как это не найтить, куда ему деться. Он был в карете, как я выходил, разве ты не видал, как он вышел и не ушел ли вперед?" — "Какое, сударь, в карете, в ней-то его и не было, как вы выходили; тому-то я и дивлюсь и не понимаю куда он делся". — "Что ты врешь! Как это! Он был со мною — нельзя статься… куда ему деться?" — "Да воля ваша, а его не было, и я готов присягнуть в том, что его в карете не было, а вы один вышли". — "Господи, помилуй! Что это? Либо ты пьян, либо я себя не помню. Я кажется сам с себя не сколок, и знаю всего уже вернее, что он остался в

карете, как я пошел из оной". — "Ну! Что ни извольте говорить, а его не было, и дверцы другия заперты, как были, и никто их не растворял, а в те, в которыя вы вышли, я готов умереть в том, что он не выходил".

Таковыя уверения смутили моего старика и привели его в такое изумление, что он не знал, что думать и заключить; в самое то время закричали из церкви, чтоб начинали стрелять. И тотчас из пушки бух! Лошади в карете шарахнулись и начали прыгать. Кучер силится держать, кричит форейтеру; тот не удержит. Из пушки еще раз бух! Лошади давай беситься, закусили удила и понесли карету куда зря; народ бросился за нею, поднялся крик и вопль: лакей бежит за нею, мызник за ним; один кричит "стой! стой!", другой "держи! держи!", мызник охает: "Эх! разобьет и исковеркает карету. Экое горе! экая беда!" Шум увеличивается, и распространяется до церкви, весь народ перетревожился и бежит из церкви; один говорит то, другой другое, а все не знают истинной причины. За народом выходит и покойный родитель мой со всеми офицерами, спрашивает, что такое? не убило ли опять канонира? — никто не знает и не отвечает. Наконец усматривает моего мызника: "Ба! ба! ба! Господин Нетельгорст! Откуда это вы взялись и давно-ль приехали сюда, к нам?" — "Сей только час, господин полковник. Но чего, сударь, лошади мои перепугались вашей стрельбы, и помчали теперь и коверкают карету, и я думаю, что всю ее в дребезги расщелкают". — "Но мальчишка-то мой уж не в ней ли? — спросил встревожившийся отец мой. — "Нет! Нет, ваше высокоблагородие; в ней-то его нет но… но… но…" — "Что но…?" — подхватил испугавшийся мой родитель и не дал ему далее выговорить. — Уж не убили ли его, господин Нетельгорст? Да где ж он, я не вижу его, а вы хотели привезти его с собою". — "Я привез его, господин полковник, но такая диковинка! Истинно не знаю сам, что сказать…"

Легко можно всякому себе вообразить, что слова сии еще пуще родителя моего смутили и встревожили, его с ног до головы как морозом подрало. — "Батюшка ты мой! — возопил он, — сказывайте, ради Бога, скорей, что с ним сделалось и где ж он, когда вы его привезли? Конечно, он там же в карете, и вы мне только не сказываете. Государи мои, обратясь он к офицерам, закричал, бегите ради Бога и велите как-нибудь остановить и удержать, и спасайте мне ребенка, у меня он один только и есть! Ах, господин Нетельгорст, что вы со мною сделали? Ну-ка его убьют!.." — "Нет! Нет! Господин полковник, этому быть не можно, право не можно, не извольте тревожиться, его ей-ей нет там". — "Но где ж он?"

На сей вопрос паки[119] не знал старичок мой, что сказать, и опять замялся и остановился; но как начал покойный родитель мой уже не путным де-

[119] Здесь: по-прежнему (старослав.).

лом приставать, то принужден он был наконец сказать: — "Чего, господин полковник, он приехал со мною до самого сего места благополучно, но, между тем как я выходил из кареты, он, оставшись в ней, такая диковина, в одну минуту сгиб у нас и пропал, и мы оба с слугою не знаем, не ведаем, куда он делся: выходить не выходил, а в карете уж его, и за каретою нигде не нашли, и нигде его нет, сколько ни искали".

Сии слова не уменьшили, а умножили еще смущение моего родителя и его недоверчивость. — "Умилосердитесь! — сказал он, — господин Нетельгорст. Можно ли сему поверить? Куда ему деться, если б он привезен сюда был? Нет, нет, а конечно есть что-нибудь иное?" Но как он начал клясться и божиться, что говорит правду, а и пришедший слуга подтверждал тоже, то не только родитель мой, но и все офицеры впали в великое недоумение, не знали, что обо мне заключить и, разослав повсюду солдат и людей меня искать и спрашивать, сами только сему странному случаю дивились.

Что касается до меня, то я, между тем, как у них все сие тут подле церкви происходило, стоял по колено в болоте и считал только пушечные выстрелы, и как стрельба пресеклась, то выдравшись из грязи, пошел себе как ни в чем не бывал, прямо чрез обозы и чрез лагерь к церкви. Тут увидел я уже многих людей, бегающих и ищущих меня и обрадовавшихся, когда меня увидели. Они взяли молодца под руки и привели к родителю моему, которой нечаянному явлению моему так обрадовался, что, вместо брани за мою трусость, расцеловал меня и в глаза и в щеки. Не могу вспомнить, какой смех тогда у всех поднялся и как начали иные хвалить мое проворство, когда узнали, каким образом я скрылся и как в окно из кареты выскочил; однако после не прошло без хорошей мне за то гонки.

Сим образом кончилось тогда сие происшествие, а как вскоре после меня привели и карету с лошадьми, ничем почти не поврежденную, то поехали мы все в Бовск и, погостив у покойнаго родителя, возвратились в свою мызу.

Случилось мне опять быть в Бовске. В сие время какой-то генерал для смотрения полку нашего и был покойным отцом моим угощаем. Я при сем случае пожалован был сим генералом в сержанты[120], ибо сам покойный родитель мой не хотел никак на то согласиться, чтоб меня произвесть в сей чин, совестясь, чтоб его тем не упрекали. Но как сему гостю я отменно полюбился за то, что, будучи ребенком, умел порядочно бить в два барабана вместо литавр при играний на трубах, то,

[120] Сержант — старший унтер-офицер, фельдфебель. Дворянских детей записывали сержантами для скорейшего получения офицерских чинов.

взяв сие в предлог, сделал он сие учтивство в знак благодарности за угощение хозяину.

Я не могу довольно изобразить, как обрадован я был сим происшествием и как мил мне был третий позумент, нашитый на обшлага мои. Я думал тогда о себе, что я превеликий человек, и стал действительно оттого учиться ревностнее и прилежнее. А как между сим кончился и 1748 год, то окончу и я свое письмо, сказав вам, что я есмь, и прочая.

Поход в Петербург

Письмо 10-е

Любезный приятель! Из бывших в начале 1749 года происшествий не помню я никакого такого, которое бы стоило повествования. [...]

Не успела весна вскрыться и наступить лето, как полку нашему сказан был поход и велено было иттить в Финляндию, и как отцу моему одного меня и в таких летах и в такой отдаленности оставить было никак не можно, то принужден был нехотя взять меня с собою.

Таким образом, принужден я был оставить то место, которое сделалось мне так мило и приятно, что я и поныне еще напоминаю оное с некаким удовольствием. Сам старик-мызник, жена и дети его провожали меня, как родного, а учитель столь меня полюбил, что у него слезы даже на глазах навернулись, когда он со мною прощаться начал. Отец мой, приезжавший сам за мною, был столько тронут всем явлением сим, что не мог довольно слов найтить к возблагодарению им за все ласки и благоприятства, оказанные ими ко мне, и одолжение, ему сделанное.

Польза, полученная мною во время пребывания моего на сей мызе, состояла наиболее в том, что я научился порядочно говорить по-немецки, что для покойного родителя моего всего было приятнее. Он, любя сей язык, не мог довольно тем навеселиться и радоваться по крайней мере тому, что он успел сие сделать; а сверх того, и то послужило ему к великому удовольствию, что я и французскому языку сделал хорошее начало, также получил охоту к рисованию, а что всего лучше, во всех поступках и поведениях моих несравненно пред прежним поправился и из прежнего перезвого баловня сделался постоянным мальчиком, обещающим собою многое.

Шествие наше или поход простирался самым тем же путем, которым мы шли в Курляндию, а именно через Ригу, Дерпт, Нарву и в Петербург. Во время сего путешествия не помню я ничего особливого и достойного, кроме того, что по приходе к пограничному городу Риге полку нашему велено было иттить чрез город церемониею, и я первый раз от роду был в строю и в сержантском мундире и с маленьким ружьишком вел свой взвод. Боже мой, какое было для меня тогда удовольствие! Мне казалось,

что на меня весь город тогда смотрит, как и действительно видел я весьма многих, на меня указывающих и говорящих:

— Ах! Какой маленький сержант!

В тогдашние времена и действительно было сие в диковинку и в великую редкость.

Мы дошли до Нарвы благополучно, но тут у покойного родителя моего произошла какая-то ссора с нарвским комендантом Штейном за шествие через город церемониею; немец комендант вздумал было строить капризы и требовал чего-то многого, а родителю моему не хотелось удовлетворить излишнего его честолюбия. Тот запер ворота и не пустил чрез крепость, а сей, почтя за обиду, вошел в письменные команде представления, и так произошла вражда; но чем дело сие кончилось и кто из них остался прав, кто виноват — не знаю, а известно мне, что было только много переписки и что мы вскоре после того пришли в Петербург.

В сем столичном городе стоял полк в сей раз недолго, ибо ему назначено было иттить к Выборгу, и так простоял он тут несколько дней. Но в нашем доме и с семейством произошла в немногие сии дни великая перемена: родитель решился мать мою с меньшею замужнею сестрою, которая была с нами, отпустить из сего места в деревню за Москву с тем, чтоб она заехала в деревню к сестре моей, где она еще не бывала, а более для того, что она была беременна и почти на сносях, а меня расположился оставить в Петербурге и отдать в какой-нибудь пансион учиться французскому языку. Он имел у себя близкого родственника, живущего тогда в Петербурге и служившего в конной гвардии ротмистром: то был господин Арсеньев, по имени Тарас Иванович. Он был двоюродный брат отцу моему и в малолетстве своем живал у него и воспитывался; они любили друг друга очень, и потому вознамерился он поручить ему меня на руки. При вспоможении его тотчас был приискан пансион и учитель и тотчас с ним обо всем нужном условлено и договорено. Наилучшим пансионом почитался тогда в Петербурге тот, который содержал у себя кадетский учитель старик Ферре, живший подле самого кадетского корпуса и в зданиях, принадлежащих к оному; в сей-то пансион меня и отдали.

Легко можно вообразить себе, что как я тогда принужден был разлучаться вдруг и с отцом и матерью и в первый раз остаться один и находиться от обоих их в удалении, то сей пункт времени был для меня весьма тягостен, и что прощание с моими родителями было весьма трогательно и плачевно. […]

Жизнь в пансионе

Письмо 11-е

Любезный приятель! Итак, по отъезде матери моей в деревню, а родителя с полком — в Финляндию, остался я один в Петербурге, посреди людей, совсем мне незнакомых, и власно, как в лесу. Не могу никак забыть того дня, в который привезли меня в дом к учителю и оставили одного: мне казалось, что я находился совсем в ином свете и дышал другим воздухом: все было для меня тут дико, все ново и все необыкновенно. Я принужден был начать вести совсем нового рода жизнь, и совсем для меня необыкновенную: не мог я уже ласкаться, чтоб мог пользоваться той негою, какою наслаждался в родительском доме. Маленькая постелька и сундучок с платьем составляли весь мой багаж, а дядька мой Артамон был один только мой знакомый, прочие же все были незнакомы, и я долженствовал со всеми ознакамливаться и спознаваться, а особливо с теми, которые тут также по примеру моему жили.

Учеников было тогда у учителя моего человек с двенадцать или пятнадцать; некоторые были на его содержании, а другие прихаживали только всякий день учиться, а обедать и ночевать хаживали домой. Из числа первых и знаменитейших из всех был некто господин Нелюбохтин, сын одного полковника гарнизонного, да двое господ Голубцовых, которые были дети одного сенатского секретаря. Сии жили вместе со мною, и каждому из нас отведена была особливая конторочка в том же покое, где мы учились, досками отгороженная. Мне, как новичку и притом полковничьему сыну, отведена была наилучшая вместе с господином Нелюбохтиным, который был мальчик нарочито уже взрослый и притом тихого и хорошего характера, и потому я скоро с ним спознакомился и сдружился. Голубцовы были также меня старее, ибо мне было только 10 лет от роду, однако уже не таковы, как Нелюбохтин. Одного из них звали Александром, а другого позабыл. Я познакомился скоро и с ними, ибо были они не из числа дурных детей. Что ж касается до приходящих к нам учиться, то были они разные, и между прочим одна нарочитого уже возраста девушка, дочь какой-то майорши; по проишествии долгого времени позабыл я, как ее звали, только помню, что она при мне недолго училась, а и прочие из приходящих часто переменялись и то прибывали, то убывали. Как мне никто из них не был слишком короток, то и не помню я из них почти ни одного, что неудивительно по моему возрасту.

Учитель мой был человек старый, тихий и весьма добрый; он и жена его, такая же старушка, любили меня отменно от прочих. Он сам нас мало учивал, потому что по обязанности своей должен был всякий

день ходить в классы в кадетский корпус и учить кадетов, и так доставалось ему самому нас учить двенадцатый час да в вечер еще один час. Прочее же время учил нас старший из его сыновей, которых было у него двое. Одного звали Александром, и он был нарочито уже велик и мог уже по нужде обучать и был малый изрядный, а другой еще маленький, по имени Фридрих, и малый огненный, резвый и дурной; за резвость и бешенство его мы все не любили.

Что касается до содержания и стола для нас, то был он обыкновенно пансионный, то есть очень, очень умеренный; наилучший и приятнейший кусок составляли булки, приносимые к нам по утрам и которыми нас каждого оделяли. Они были, по счастию, отменно хороши, и хлебник, пекущий оные, умел их так хорошо печь, что мне хороший вкус их и поныне еще памятен. Обеды же были очень, очень тощи и в самые скоромные дни, а в постные и того хуже. Но привычка чего не может сделать! Сколько сначала ни были мне такие тощие обеды маловкусны, однако я наконец привык и довольно бывал сыт, а особливо когда поутру либо лишнюю булочку, либо скоромный прекрасный кренделек купишь и съешь, которые так нам казались вкусными, что подберешь и крошечки; нередко же случалось, что иногда и ложка, другая, третья хороших щей с говядиною, варимых для себя слугою моим, помогали обеду, и которые нередко казались мне вкуснее и сытнее всякого обеда.

Как я учению французского языка начало сделал еще в Курляндии и тут стоило только продолжать оный, то успех учения моего был весьма хорош. Я столь был понятен и прилежен, что менее нежели в полгода обогнал моих сотоварищей и сделался первенствующим в школе, и каков был ни мал, но мог всем указывать и за всеми поправлять. Учение наше состояло наиболее в переводах с русского на французский язык Езоповых басней и газет русских; и метода сия недурна: мы через самое то спознакомливались от часу больше с французским языком, а переводя газеты, и с политическим и историческим штилем и с званиями государств и городов в свете.

Как обещано было, чтоб выучить меня и географии, то чрез несколько времени принял учитель наш или пригласил какого-то немца, чтоб приходил к нам и учил нас часа два после обеда сей науке. Для меня была она в особливости приятна и любопытна, я пожирал, так сказать, все говоренные учителем слова, и мне не было нужды два раза пересказывать. Европейская карта, которую он одну нам только и трактовал, впечатлелась так твердо в уме моем, что я мог всю ее пересказать по пальцам. Но жаль, что учение сие недолго продолжалось: не знаю и не помню, что тому причиною было, что он ходил к нам не очень долго, почему и учение было весьма слабое и короткое. Со всем

тем получил я чрез сей случай нарочитое о географии понятие, но что более моей удобопонятности, охоте и любопытству приписывать должно; а судя по учению, то оное не принесло б мне дальней пользы, так как прочим пользовало оно очень мало.

Что принадлежит до истории, то сей науке в пансионе нашем не было обыкновения учить. Но сие едва было и не лучше, нежели таким образом, как учат ныне (1789) в пансионах, где теряется только на то время, а пользы никакой не производится, ибо заставляют детей учить обе сии науки наизусть во французском языке, и они ничего не понимают.

Но недостаток сей наградил я некоторым образом собственным своим любопытством и чрезвычайною охотою к читанию книг, полученною около сего времени. За охоту к тому обязан я книге "Похождения Телемака"[121]. Не могу довольно изобразить, сколь великую произвела она мне пользу! Учитель наш заставливал меня иногда читать ее у себя в спальне для науки, но я ее мало разумел по-французски, а по крайней мере узнал, что она такое, и, достав не помню от кого-то русскую, не мог довольно ей начитаться. Сладкий пиитический слог пленил мое сердце и мысли, влил в меня вкус к сочинениям сего рода и вперил любопытство к чтению дальнейшего. Я получил чрез нее понятие о митологии[122], о древних войнах и обыкновениях, о Троянской войне, и мне она так полюбилась, что у меня старинные брони, латы, шлемы, щиты и прочее мечтались беспрерывно в голове, к чему много помогали и картинки, в книге находившиеся. Словом, книга сия служила первым камнем, положенным в фундаменте всей моей будущей учености, и куда жаль, что у нас в России было тогда еще так мало русских книг, что в домах нигде не было не только библиотек, но ни малейших собраний, а у французских учителей того меньше. Литература у нас тогда только что начиналась, следовательно, не можно было мне, будучи ребенком, нигде получить книг для чтения.

Но не одним сим я, живучи в сем пансионе, воспользовался: я уже упоминал прежде, что я с самого малолетства получил великую склонность к рисованию и маранию красками. Еще в то время, как я учился

[121] "Похождения Телемака, сына Улиссова" сочинено господином Фенелоном, учителем короля французского, бывшего потом архиепископом камбрейским и князем Римской империи, переведено в 1734 г. Напечатано при Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге в 1747 г.

Фенелон (1651—1715) — знаменитый французский писатель; "Похождения Телемака" — главное его произведение, в котором Фенелон отдал дань своему увлечению классицизмом, взяв у Гомера не только сюжет, но и целые эпизоды. "Похождения" полны намеков на современный автору строй.

[122] Мифологии.

писать по-русски, то писаришка, учитель мой, вперил в меня первую охоту рисованием своих кораблей, церквей, колоколен и прочего; дядька мой также умел гваздать[123] колокольни и чернецов, и я насмотрелся у него. Охота сия возросла еще того более в Курляндии, когда учитель мой Чаах научил меня держать кисть в руках и безделицы ими мазать красками. Словом, склонность моя к сему искусству была так велика, что в то время, когда ехали мы из Курляндии в Петербург, почитал я наивеличайшим благополучием в свете, когда б мог я иметь котел с кранами вокруг, такой, чтоб из каждого крана текла мне из него разная краска, и какой бы я отвернул, такая бы и потекла. Но тут жил я окружен будучи вокруг рисовальными мастерами и имел наивожделеннейший случай насмотреться, как они рисуют и как составляют разные краски, и получить ближайшее понятие о сем искусстве; меня оно столь прельщало, что я досадовал, для чего меня не учат, и писал к родителю моему, чтоб он сделал милость и велел меня учить. Он и сделал мне сие удовольствие: живущий с нами об стену рисовальный мастер Дангауер нанят и приговорен был меня учить; итак, начал я к нему ходить и по нескольку часов учиться. Но какая досада была для меня, что учить меня начали не так, как мне хотелось, красками, а карандашом и рисовать все фигуры. В этом прошло все время, и мне не удалось поучиться рисовать красками и любимые свои ландшафты, которые мне всего милее, но по крайней мере имел я тут случай насмотреться и узнать многое. Сам учитель рисовал очень хорошо, и наиболее яйца гусиные красками; я же научился у него изрядно рисовать карандашами.

Между тем как я, сим образом живучи тут, учился французскому языку, географии и рисованию, не оставлял я в праздное время, а особливо в праздники, ходить к дяде моему, господину Арсеньеву. Благоприятством и ласками его и тетки, жены его, я был очень доволен; они принимали меня всегда как близкого родственника и любили меня очень за тихое и скромное мое поведение. Они имели у себя другого племянника, жившего в кадетском корпусе и записанного в оном; он был и мне внучатый брат, звали его Тимофеем Ивановичем Тутолминым, и он самый тот, который ныне наместником в городе Архангельском. Судьбе угодно было произвесть его далеко предо мною, но тогда имел я преимущество пред ним, и дядя любил меня более, нежели его, ибо он был резв и вертоголовой. Мы всегда почти бывали с ним вместе у дяди и всегда ночевали, ибо ходить должно было чрез весь Петербург, и были друзья между собою.

[123] Марать, мазать, т.е. неумело рисовать.

В сих происшествиях кончился 1749 и начался 1750 год. Бываемые около сего времени и в другие торжественные дни увеселения, а особливо иллюминация из разных фонарей, прельщали меня до бесконечности; для меня были новым зрелищем, и я не мог их довольно насмотреться. Ко всему любопытному был я с малолетства склонен. Таким образом утешали меня чрезвычайно кадетские строи и их учения, бывшие летом: всегда, когда они ни бывали, хаживали мы смотреть, ибо парадное место было подле самых нас.

Пред приближением масленицы восхотелось родителю моему меня видеть; он прислал за мною повозку и лошадей и просил учителя, чтоб он недели на две меня к нему отпустил. Учитель не только на то охотно согласился, но поступил еще далее и отпустил со мною и старшего своего сына. — Итак, ездили мы к моему родителю в полк и гостили у него недели две. Он стоял тогда с полком между Выборгом и Петербургом, на винтер-квартирах[124], и имел квартиру свою в селе, называемом Красным; хоромцы были самые маленькие, но в этакой стране, какова Финляндия, и требовать было лучше не можно. Родитель мой был нам очень рад и о успехе учения моего изъявлял свое удовольствие. Все время нашего пребывания у него препроводили мы весело и приятно: он бирал нас с собою, когда случалось ездить ему куда в гости. Все полковые офицеры ласкались ко мне наперерыв и все хвалили за мою прилежность и охоту к учению; в сие-то время вьпросил я у родителя моего прежде упомянутое дозволение рисовать учиться; он охотно на то согласился и велел купить для меня рисовальную книгу и все нужное.

Здоровье родителя моего начало около сего времени гораздо слабеть; он уже жаловался ногами, но сие время чувствовал и во всем себе слабость. Как теперь помню, однажды идучи вместе с ним к церкви, которая была неподалеку от хором, обратившись он к идущим позадь его офицерам, сказал:

— Нет, государи мои, недолго уже мне жить, чувствую одышку и отменную слабость во всем моем теле, которая меня очень устрашает.

Все утешали его, говоря, что лета его еще не так велики, чтоб скорой смерти опасаться было можно; однако он оставался при своем мнении.

Другое, что мне из сего периода времени памятно, было то, что родитель мой издевками своими вогнал меня однажды в превеликие слезы. — Идучи однажды в баню, угодно ему было взять меня с собою. Не успели мы раздеться, как вздумалось ему надо мной пошутить:

[124] Зимние квартиры.

— Ну, брат Андрюша, — сказал он мне, — ты у меня теперь уже жених, и пора уже тебя женить.

Меня сие так поразило, что слезы у меня как град покатились, ибо природная застенчивость моя против женского пола была так велика, что я не мог рассудить, что это была одна шутка; и можно ли быть правде, когда я тогда не более по одиннадцатому году был: женят ли кого в такие лета?

Погостивши у родителя моего недели две-три и на первой неделе великого поста исповедовавшись и причастившись, возвратился я опять в Петербург и стал продолжать свои науки и жить по-прежнему у моего учителя. С сего времени, сколько я помню, упражнялся я в переводе какой-то французской книжки, — мне и поныне жаль, что у меня пропал сей перевод; без всякого сомнения, он был весьма несовершенен и недостаточен: некто господин Барынков нашего полку выпросил у меня его прочесть и увез.

Сим образом продолжал я тут жить и учиться во весь остаток зимы, во всю весну и лето; а между тем родитель мой перешел с полком своим в самый город Выборг, ибо полку его велено было стоять тут во все лето лагерем. Желал бы он охотно, чтоб я прожил у учителя моего еще год, но усиливающаяся его слабость и болезненное состояние принудили его прервать, против хотения своего, мое учение и взять меня к себе из Петербурга. Он прислал за мною нарочных лошадей, и я принужден был, оставив Петербург и все свои науки, к нему в Выборг ехать.

Сим окончу я сие письмо, предоставляя в последующем рассказать дальнейшее, что со мною случилось; а между тем, при уверении о моей непомерной дружбе, остаюсь и прочая.

В Выборге

Письмо 12-е

Любезный приятель! Таким образом, не продолжалось учение мое в Петербурге более одного года, и заплачено за меня с небольшим сто рублей, но сии сто рублей принесли мне великую пользу. Лета мои, сколь ни были еще нежны и малы, однако я тут многому набрался не столько учася, сколько наглядкою. Что ж принадлежит до французского языка, то оному, судя по летам моим, я довольно выучился и не только мог говорить, но и переводить по нужде. Напротив того, немецкий язык и совсем почти позабыл, ибо как во всей нашей школе ни один человек не разумел и не говорил по-немецки, то, не имея случая целый год ни с кем ни единого слова промолвить, и разучился я оному так, что не умел и пикнуть. Вот что делает отвычка и не употребление! Однако читать, писать и разуметь я все-таки еще мог.

По приезде моем в Выборг нашел я родителя моего стоящего на маленькой квартирке по ту сторону города и подле самого поля по конец всего форшмата, где неподалеку стоял и полк его лагерем. Он лежал уже в постели и врачуем был полковым нашим лекарем. Большой мой зять находился тогда в отпуску, а меньшой был в полку, однако стоял на другой квартире. Родитель мой не преминул меня проэкзаменовать во всех моих знаниях. Он доволен был, что я по-французски сколько-нибудь научился, любовался моими рисунками, а паче всего мило ему было, что имел я некоторое понятие о географии. Он сам любил и знал сию науку и не мог довольному моему знанию нарадоваться, а не менее и я рад был, что нашел у него целый атлас с ландкартами[125] и мог любопытство свое по желанию удовольствовать. Одно только родителю было не весьма приятно, что я за французским языком совсем немецкий позабыл. Чтоб пособить сему сколько-нибудь, то заставил он прежнего учителя моего Миллера, который у него в доме жил, по нескольку часов в день возобновлять мне язык сей. Я принужден был ходить к нему в сарай, где он имел свое жилище, и там препровождать с ним по нескольку часов в читанье и говоренье; однако хотя продолжалось сие более месяца, но пользы от него получил я мало, ибо он совсем не способен был к учению.

Сию скуку заменял я в праздное время другими и приятнейшими для меня упражнениями. Я узнал, что у родителя моего был целый ящик с книгами. Я добрался до оного, как до некоего сокровища, но, к несчастью, не нашел я в них для себя годных, кроме двух, а именно: Курасова[126] сокращения истории и истории принца Евгения[127]. Не могу, однако, довольно изобразить, сколько сии немногие книги принесли мне пользы и удовольствия. Первую я несколько раз прочитал и получил через нее первейшее понятие об истории, а вторую не мог довольно начитаться: она мне очень полюбилась, и я получил через нее понятие о нынешних войнах, об осадах крепостей и многом, до новой истории относящемся. Пуще всего было мне приятно и полезно, что в книге сей находились планы баталиям и крепостям. Я скоро научился их разбирать и получил такую охоту к военному делу, что у меня одни только крепости, батареи, траншеи, ретраншементы и прочие укрепления на уме были. Нередко просиживал я по нескольку часов, читая сию

---

[125] Географическая карта.

[126] Курция Руфа — см. примеч. 79 на с. 106.

[127] Принц Евгений Савойский (1663—1736) — известный австрийский государственный деятель и полководец. В 1740 г. на русском языке было издано подробное описание его жизни и деятельности ("Описание жития и дел принца Эвгения Савойского...").

милую для меня книгу и рассматривая чертежи и рисунки. И читание сие подало однажды повод к особливому происшествию: как я однажды ее сим образом читал, то вздумалось родителю моему, лежащему в комнаточке, отгороженной от того покоя, где я читал, спросить меня, что я делаю.

— Читаю, батюшка, книгу, — сказал я.

— А какую, мой друг?

— Принца Евгения.

— О мой друг! — сказал родитель мой, сие услышав. — Книгу сию читать тебе еще рано.

— Но почему же? — спросил я. — Я ее довольно понимаю и разумею, и мне она очень полюбилась.

— Ну, хорошо, мой друг, — сказал родитель мой, — ежели так, то пожалуй себе читай.

А услышав, что я ее уже в другой раз читаю, а Кураса три раза прочел, похвалил меня за охоту мою к чтению и за мое любопытство особливое.

Другое и весьма приятное для меня упражнение было в хождении смотреть, как артиллеристы учились стрелять из пушек в цель. Учебная батарея их была подле самой нашей квартиры, и как я около сего времени давно уже перестал бояться стрельбы, но паче получил к ней особливую охоту и склонность, то не пропускал я ни единого случая, чтоб не быть на батарее, когда стреляли, и нередко имел удовольствие сам зажигать нацеленные пушки. Но никогда я сам собою так доволен не был, как при одном случае: артиллеристам сим вздумалось однажды, не знаю для чего, кинуть из мортиры одну начиненную бомбу, с тем, чтобы ее разорвало в воздухе. Как офицер артиллерийский был мне уже знаком, то выпросил я дозволение, что мне ее бросить, то есть зажечь мортиру. Сперва не хотели было мне на то позволить, боясь, чтоб меня не оглушило, однако я убедил их моею просьбою, и удовольствие было неописанное, когда увидел я брошенную мною бомбу кверху разрывающеюся. День был тогда прекрасный, бомба рассеялась в самой высоте и произвела наиприятнейшее зрелище своим сперва маленьким и на облачко похожим дымом, а потом своим громом.

Другое, но еще вящее[128] удовольствие имел я при следующем случае. Известное то дело, что полки во всякое лето не только учатся, но наконец все солдаты стреляют и в цель пулями в нарисованных на щитах людей; каждый солдат должен выстрелить три раза, и всякий раз записывается, кто и во что попал. Сей обряд должен был производить

[128] Большее.

около сего времени и наш полк; я, как сержант, находившийся в действительной службе, должен был находиться также в строю. Правда, никто бы не взыскал, если б я не был, но мне самому того хотелось: ружье было у меня маленькое и по моей силе, и мне восхотелось также с прочими стрелять. Сие было в первый раз от роду, что я стрелял из ружья моего пулею, и какое неописанное удовольствие мое было, когда из всех трех пуль не потерял я ни одной, но всеми попал в щит и одною прямо в сердце, что посчиталось за превеликую редкость. Похвалы загремели мне отовсюду, и я не вспомнил сам себя от радости; но для ребенка все было мило и приятно.

Далее, нередко хаживал я в самую крепость и город Выборг; многие из офицеров наших имели там свои квартиры, и как они все меня любили, то хаживал я к ним иногда в гости. [...]

В сих-то и подобных сему упражнениях препровождал я свое тогдашнее время, и оно было мне приятно и весело. Но, увы! приятное сие время не долго продолжалось: судьбе угодно было положить предел дням моего родителя и произвесть через то во всех обстоятельствах моих великую и весьма важную перемену.

Лета родителя моего были хотя весьма еще немногочисленны, но болезнь, чувствуемая им за несколько уже лет до того в ногах, а потом и во всем теле, свела его в гроб и лишила его той жизни, которая для меня весьма еще была нужна и надобна, ибо я был сущий еще ребенок. Недели за две до кончины болезнь его так усилилась, что все старания полкового нашего и искусного лекаря не могли подать ему ни малейшего облегчения, но он, напротив того, со всяким днем приходил в вящую слабость. Тогда не только все окружающие его, но и сам родитель мой предвидел, что конец его жизни приближается. Он требовал сам, чтоб приготовили его к кончине по долгу христианскому; итак, исповедали его и приобщили святых тайн, а потом особоровали елеем.

При производстве сих церковных обрядов сердце мое поражено было наивеличайшею тоскою. Вместо прежних удовольствий текли из глаз моих слезы; меня хотя старались все утешать и льстили надеждою, что авось-либо родителю моему полегчает и он от болезни своей освободится, но изображающаяся на лицах у всех печаль и господствующее во всем доме уныние и печальное молчание не то мне предвещало. Я ходил повеся голову и утирал только текущие из глаз слезы.

Поелику родитель мой был до самого конца своей жизни в совершенной памяти и рассудке, то и не упустил он сделать все, что должно. Он написал духовную и поручил попечение обо мне и о моей матери наилучшему своему другу, Ивану Михайловичу Дурнову, одному соседственному по деревням нашим дворянину; но сия духовная осталась

потом без всякого действия. Потом распрощался он со всеми нами и домашними. Все домашние обмывали руки его своими слезами и наполняли воздух своими рыданиями. Что касается до прощания со мною, то было наитрогательнейшее и для меня наипечальнейшее.

Он подозвал меня к себе и, собрав последние свои силы, обняв меня, залился слезами и прерывающим голосом, сколько помню, говорил следующие слова: "Смерть моя, мой друг, приближается, — вижу я сам уже, что мне умереть... Небу не угодно было, чтоб дни мои до того времени продлились, чтоб мог я иметь удовольствие видеть тебя в совершенном возрасте... Я оставляю тебя ребенком и сиротою..." Слезы покатились у него при сем слове и тяжкий вздох излетел на небо. — "Но что делать, — продолжал он, держав меня за руку стоящего почти вне себя, — угодно так всемогущему Богу. Его святая воля и буди! Он будет тебе вместо меня отцом. Я поручаю тебя Его покровительству и не сомневаюсь, что Он милостию своею тебя не оставит... Но слушай, мой друг, и не позабывай никогда последнего наказания отца твоего... Помни, что он приказывал тебе сие при последнем своем издыхании... Старайся во всю жизнь твою и всего паче бояться, любить и почитать сего всемогущего Бога и Творца нашего, и во всем на него полагаться. Никогда ты в том не раскаешься, он во всех нуждах будет твоим покровителем и помощником. Будь к нему приближен с самых теперешних твоих лет, и всегда возлагай надежду и упование свое на него. Ты счастлив будешь, ежели сие исполнишь..."

Слабость воспрепятствовала ему далее говорить; однако он, отдохнув несколько и собравшись с духом, продолжал тако:

"Не грусти обо мне и не плачь, ты остаешься теперь с матерью; люби ее и почитай, покуда жизнь ея продлится, она тебя родила и воспитала и проливала о тебе много слез, ты должен утешать ее при слабости своим поведением; живи, мой друг, порядочно и постоянно. Будешь хорошо жить, и тебе самому хорошо будет, а худо себя поведешь, будет и тебе худо. Помни это твердо и никогда не забывай. Люби и почитай обеих своих сестер и их мужей, они о тебе оба будут теперь попечителями и тебя не оставят; а паче всего, еще напоминаю тебе, люби и почитай Бога, его милость и покровительство тебе всего нужнее, молись к нему всегда и проси, чтоб Он к тебе был милостив, и не лишил тебя любви своей. Я поручаю тебя Ему и Его святое благословение и вкупе мое грешное, буди над тобою!"

Сказав сие, не мог он более от удручавшей болезни и горести говорить, но, поцеловав меня и смочив щеки мои своими слезами, приказал мне выйтить вон и затворить в комнатке двери; я обливался тогда слезами, но принужден был повиноваться его повелению.

Сие было в последний раз, что я его видел, ибо с сего времени не велел он пускать никого к себе, кроме отца своего духовного, да и начал почти с самого сего часа страдать к смерти. В сем страдании препроводил он не более одних суток, и наконец, 26 сентября был тот несчастный для нас день, в который затворил он на веки свои очи и переселился в вечность.

Самую кончину его мне не удалось видеть, воспоследовала она по утру очень рано и покуда я еще спал. Не успел я проснуться, как необыкновенная тишина в доме, ладонный запах и слезы у всех на глазах меня поразили. Сердце мое затрепетало, я спешил спрашивать у всех: жив ли батюшка? и не скончался ли? Но никто не хотел мне ответствовать; наконец принуждены были мне сказать, что его уже нет на свете. Я завыл тогда и зарыдал, облившись слезами, но множество офицеров и зять мой, вошедши в самое то время, не дали мне более надрываться; они велели меня силою отвесть на квартиру зятя моего и там оставить, приказав не выпускать никуда со двора. Тут принужден я был пробыть до самаго того времени, как изготовилось все нужное к печальной церемонии его погребения.

[...]

Погребение и в самом деле произведено было с пышною церемониею; весь полк был в параде, а знатный деташамент последовал за гробницею отца моего от самой квартиры до соборной церкви, где назначено было его положить. Гроб обит был сукном, украшен золотым галуном и позлащенными скобами. Он везен был цугом, покрытым черным сукном; несколько сот аршин крепу и других черных материй употреблено было на обвязку офицерских шляп, рук и шпаг, покрытие барабанов и на тысячу других излишностей, затеваемых теми, кому чужих денег не жаль, и которые готовы сорить ими на что ни вздумается. Я одет был в глубочайший траур и должен был идтить за гробницею. По обеим сторонам меня шли помянутые генералы: один из них был генерал-поручик Салтыков, по имени Иван Алексеевич, а другой генерал-майор Михаил Семенович Хрущов; оба они восхотели сами честь сделать родителю моему и препроводить тело его до церкви, несмотря хотя расстояние было нарочито велико и шествие простиралось более версты. Полк поставлен был в два ряда по улице подле собора, и, по приближении тела, отдана была оному всем полком последняя честь, с барабанным глухим тоном и печальною музыкою. В церковь внесли оное на себе некоторые офицеры полку нашего, отменно любившие отца моего и обливающиеся слезами; слезы не один, а весьма многие проливали. Покойный родитель мой любим был так всем полком, что не осталось солдата, который бы не плакал или по крайней мере не ту-

жил и не сожалел об оном. По внесении в церковь, поставили меня с правой стороны подле гроба, где принужден я был стоять во все продолжение обедни и отпевания. Легко можно всякому себе вообразить, каковы были для меня сии минуты и в каком состоянии я тогда находился! Я походил более на истукана, нежели на печального ребенка. Взоры мои устремлены были беспрерывно на лежащее тело моего родителя, которое я тогда впервые еще увидел безодушевленное; я воображал себе, что вижу оное в последний раз в моей жизни и что скоро оное погребут и зароют в землю, и мысль сия поражала сердце мое наивеличайшею грустию и тоскою и выгоняла новые слезы из глаз моих, от которых во всю обедню лицо мое не обсыхало.

Как пришло время уже опускать гробницу в землю, то велели мне в последний раз облобызать тело произведшего меня на свет и проститься с оным. Я учинил сие и смочил руки родителя моего слезами, и имею по крайней мере ныне то удовольствие, что слезы мои погребены вместе с ним в землю и составляли единую малую мзду за все труды и старания, употребленные им на мое воспитание. Меня оттащили от гроба силою и спрятали в тесноту народа, дабы я не видел дальнейшего происхождения. Чрез несколько минут после того услышал только я звук пальбы пушечной и треск беглого ружейного огня, производимого полком нашим, что доказало мне, что тело опущено уже было в гробницу и предано земле. Могила выкопана была внутри самой сей соборной церкви, подле самого второго среднего столба, в левой стороне находящегося. Сие обстоятельство замечаю я для того, чтоб в случае, если судьбе будет угодно завесть в сей город кого-нибудь из детей или потомков моих, могли бы они безошибочно отыскать то место, где покоятся кости и прах сего их предка, достойного того, чтоб оросили они оное своими слезами.

По окончании сей печальной церемонии и по распущении полка в свой лагерь, приглашены были все штаб- и обер-офицеры, как нашего, так и других полков, присутствующие при погребении, на погребальный обед. Для сего отыскан был наипросторнейший дом в самом городе и все трактованы были столом, а потом по обыкновению одарены были золотыми кольцами.

Сим кончилась вся сия печальная церемония, которая хотя и стоила нам весьма многого, но по крайней мере имею я то удовольствие, что никто еще из предков и сородичев моих не удостоился погребен быть с толикою честию и славою, как покойный родитель мой, который по справедливости и достоин был оказания ему таковой почести.

Можно без любославия, но беспристрастно сказать, что из всех тогдашнего времени полковников, а особливо стариков, был он едва ли

не самолучший. По крайней мере все почитали его наипорядочнейшим, степеннейшим и важнейшим. Везде где ни случалось ему с полком своим быть, приобретал он почтение и любовь. Никогда не случалось ему от главных командиров получать за что-нибудь выговоры и репреманты[129]. Он всегда исправно наблюдал свою должность и знал свое дело. Во все продолжение военной своей службы, в которой он родился, воспитан, препроводил всю свою жизнь и умер, имел он время всему относящемуся до военной службы научиться и узнать оную из основания, почему и не удивительно, что он был во всем исправен. Полк его был в тогдашнее время из наилучших и исправнейших. Правда, хотя и не было в нем такой чистоты и щегольства, какие заводимы были уже в некоторых других полках молодыми полковниками, но зато солдаты были родителем моим довольны, и все его не инако как своим отцом почитали. Любовь их сохранил он многие годы и по своей кончине. Не однажды и многие годы спустя имел я удовольствие слышать от всех старых и при нем служивших солдат наилестнейшие об нем отзывы. Всякий не инако говорил об нем как с искренним сожалением и отзывался, что это был не полковник, а отец наш.

Службу свою продолжал он с самого малолетства, сперва в пехотных полках, потом, как начали составлять Измайловский гвардейский полк, то взят был в оный, в котором дослужился до капитанов, и был в походах с Минихом[130], против турок и на приступе очаковском[131]; а как выпустили его в сей полк в полковники, то ходил он во время шведской войны[132] с Кейтом на галерах.

Что касается до наружного его образа и личных его свойств и характера, то был он роста высокого и собою плотен, лицом был смугловат и кругл, волосы имел черные, глаза большие темно-карие и наполненные некоею благоприятностию, привлекающею к нему с первого взгляда любовь ото всех. Вид имел он осанистый, был собою взрачен, и мог одним своим видом привлекать к себе почтение; голос имел важный и степенный, но в произношении слов немного картав, однако так, что почти было неприметно.

Что принадлежит до душевных его свойств, то разум имел он острый и довольно просвещенный. Говорил весьма хорошо по-немецки,

---

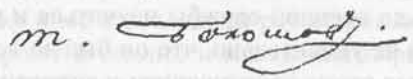
[129] Упреки, нарекания.

[130] Миних, Бурхард Кристоф (1683—1767) — русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Во время русско-турецкой войны командовал русскими войсками в Крыму и Бессарабии.

[131] Турецкая крепость Очаков была взята русскими войсками 2 июля 1737 г.

[132] Русско-шведская война 1741—1743 гг., в которой большую роль сыграли русские отряды гребной флотилии.

которому языку обучен он был еще в малолетстве, знал арифметику и географию и мог переводить с немецкого языка довольно изрядно. Мне достались некоторые остатки трудов его, состоящих в переводе Лифляндской экономии, и сего же княжества истории, но были то единые отрывки. По-русски писал он свободно, скоро и мелко; в письме его была та особливость, что он литеру Д писывал превратным с следующим образом ∠. Имя же свое подписывал он наиболее сим образом:



Что касается до расположения его души, то было оно наичестнейшее в свете. Он не любил никакой неправды и не терпел обманов. Обхождение его было откровенно и дружественно; всякое лукавство и притворство было от него удалено; он не разумел нынешней зловредной политики, не умел притворно льстить, ласкаться, гнуться и согибаться наподобии змеи, и потом жалить и язвить, по примеру кошек, спереди ласкаться и виться около души, а позади вредить и царапать, но он обходился со всяким просто, чистосердечно и говорил прямо то, что у него на сердце. Он не любил дальних церемониалов и ненавидел всякое коварство, шильничество и мытарство, а буде случалось, что кто предпринимал что-нибудь против его чести, достоинства и справедливости, то был неуступчив, но любил защищать свою честь и правду. Сие заводило его иногда в некоторые небольшие ссоры с таковыми бездельниками и негодными людьми, несмотря хотя бы были они и выше его чином. Однако неприятелей и врагов не имел он у себя никаких важных, но умел поступками своими их злобу преодолевать и заставливать иметь к себе почтение. По причине любления справедливости и всегдашнего хорошего поведения, кроткого, тихого и миролюбивого своего нрава, был он всеми добрыми и честными людьми любим, а бездельники и негодные люди редко таких людей любят.

Нрава был он не угрюмого и не слишком веселого. Он любил с людьми обходиться, но компании его были всегда небольшие и степенные; частых банкетов и пиршеств он не заводил, может быть не дозволял ему того и достаток, но за столом его всегда бывало по нескольку человек посторонних: ибо угостить он всякого любил и был гостеприимчив. В особливости же любил он обходиться с немцами, а особливо разумнейшими из оных, ибо любил с ними говорить и рассуждать по-немецки, да можно сказать, что и они его за то отменно любили.

К закону имел он должное почтение, и не будучи ханжею и суевером, был довольно набожен и приближен к церкви. Он имел о украше-

нии оной особое попечение, и, будучи охотником до музыки, завел в полку прекрасный хор певчих.

Что принадлежит до склонностей его, то имел он небольшую склонность к псовой охоте, однако умеренную и весьма благоразумную. Он не держивал у себя никогда более двух или трех борзых собак и езживал в поле более для компании с другими, и то весьма редко. Любимая его собака в мою бытность называлась Дегерби, прозванная по одному шведскому местечку, где он ее достал будучи в походе на галерах. К лошадям имел он также, но небольшую охоту. Любимая его лошадь, на которой он всегда езжал, называлась Шелма, и была небольшая, лифляндской породы, и карая шерстью. До игры карточной и азартной не был он охотником, но в ломбер по самой маленькой цене игрывал охотно. К музыке он имел особливую охоту, и игрывал сам довольно хорошо на флейтузе. Старанием его была у нас полковая музыка очень изрядная, и он умножил ее другим хором, составив оный из маленьких солдатских детей, которые вкупе были и певчими, а прочими певчими были у нас писаря, которых всех вывел он в люди, пережаловав чинами. Впрочем, любя играть на флейтузе, произвел он целый хор из флейтузов с фаготами. Сею музыкою он увеселял архиереев и, по тихости оной, называл ее монашескою.

К щегольству и пышности не имел он ни малейшей склонности и на убирание волос не терял многого времени, как тогда и не было еще сие в дальней моде. Наилучшая уборка волос состояла в завивании на верху головы маленькой плетенки и в плетении ее в косы, а пукольки[133] тогда были развивающиеся и завиваемые на конце тупенькими щипцами. Платье любил он хотя чистое и опрятное, но не пышное и не богатое, а хотел, чтоб было оно хорошо, но ему спокойно и тепло. Кроме обыкновенных мундиров, не было у него никакого иного: но тогда и не было обыкновения носить штатское. Самым экипажем он никогда не щеголял, и как карет тогда еще не было в дальнем употреблении, а особливо в полках, то довольствовался он небольшою четвероместною колясочкою, да и то сделанною в полку своими мастеровыми, ибо он, любя мастерства и художества, завел их в полку своем всякого рода.

Впрочем был он весьма воздержного жития. Компании бывали у него хотя нередко, но никогда не помню я, чтоб видел его подгулявшим, несмотря в какой бы ему компании быть ни случалось; а таковую ж воздержность наблюдал он и в прочем; всяких дебошей был он чужд и мне неизвестно ни одного порока, которому бы он был в особливости подвержен. Не было в нем ни запальчивости, ни дальней склонности к

[133] Букли, букольки.

гневу, лютости и жестокости; люди и домашние его не могли приносить в том на него жалобу и не стенали от жестокости, как у прочих. Ему не трудно было всякому угодить, а потому они его и любили. Наилучший и вернейший у него слуга был Андрей, по прозвищу Клест, отец нынешнего ткача моего Федора, который вкупе был у него и ключником, и казначеем, и славным поваром; другой повар назывался Дрозд, а камердинером был у него и любимый слуга Косой, бывший у меня после того садовником, помогавший мне разводить сады мои. С сим служителем своим, которому, кроме вина, мог он все вверивать, нередко ссоривался он за то, что доставал хищническим образом из погребца его глоток себе вина. Он узнавал тотчас по глазам, как скоро хотя несколько он выпил, и любимая его проба и обличие состояла в том, что он заставливал пройтить его в комнате по одной дощечке, так как покойный король прусский делывал то после с одним своим слугою.

С покойною родительницею моею жил он всю свою жизнь согласно и мирно, несмотря хотя была она не совсем согласного с ним нрава; она нередко надоедала и наскучивала ему своими докуками, жалобами и излишним говорением, но он наиболее отходил от нее и отделывался молчанием. Со всем тем любили они друг друга чистосердечно и жили, как надлежит верным и честным супругам.

Что принадлежит до нас, детей его, то любил он нас потолику, сколько отцу детей своих любить должно, но без дальнего чадолюбия и неги. Он сохранил от всех детей своих к себе любовь, однако и страх и почтение. Самые зятья мои его побаивались и не смели ничего предпринять худого и безрассудного, тотчас бывала за то им гонка. Покуда сестры мои были еще в девках, то не имел он о пристроении их к месту дальнего попечения и таких забот, какими иные мучатся, но возлагал упование свое на Бога, говоря, что Он ему их дал, Он постарается уже и пристроить их к месту и всякую наделить ея долею. Упование сие и не было тщетно, он и видел надежду свою совершившеюся. Что касается до меня, то по малолетству моему не можно еще ему было ничего со мною учинить, в тогдашние времена не таково легко или паче вовсе невозможно было производить с малолетними детьми таких игрушек и переворотов, какие производятся ныне с оными к стыду наших времен и к удивлению потомков; однако, если б жизнь его продлилась долее, то не оставил бы он, конечно, постараться как об обучении моем множайшим наукам, так и о скорейшем доставлении мне офицерского чина. Полковником был он уже давно, и ему чрез год досталось бы по линии в генерал-майоры и тогда бы мог он взять меня к себе в адъютанты; но небу было сие не угодно.

Вот слабые и немногие черты характера моего покойного родителя. Отпустите мне, любезный приятель, что я, изображая оныя, касался

иногда самых мелочей и безделок. Я делал сие не без причины. Письмы сии назначиваются мною не для одних вас, но вкупе и для детей моих и потомков; мне хотелось сохранить и для них память как о себе, так и о моих предках; а как для нас, потомков, мила и любопытна и самая малейшая черта из жизни наших предков, то и рассудил я заметить все, что я мог только помнить.

Сим окончу я теперешнее мое длинное письмо, а в последующих расскажу вам, как я, оставшись один и сиротою, начал далее жить и горе мыкать; а между тем, уверив вас о непременности моего дружества, остаюсь ваш и прочая. [...]

Публ. по: Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков: В 4 ч. СПб, 1870. Ч. 1 (полное издание); Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим: В 3 т. М., 1993. Т. 1 (сокращенное издание).

ДЕРЖАВИН Гавриил Романович (1743—1816)

Принадлежал к мелкопоместному, но старинному дворянскому роду. С 1759 г. учился в Казанской гимназии при Московском университете. Не завершив гимназического курса, в 1762 г. стал рядовым солдатом Преображенского полка. Прошел всю лестницу служебных чинов. В 1786 г. был назначен губернатором г. Тамбова. Первые его действия были направлены на улучшение судопроизводства, содержания заключенных, на строительство общественных зданий (училищ, богаделен, театров). Особое внимание Державин уделял просвещению: в своем доме он устроил "классы" для юношей, проводил концерты и любительские спектакли. В ряде городов губернии были его радением открыты народные школы. В 1793 г. Державин стал тайным советником и сенатором, а в 1802 г. — министром юстиции и членом Государственного совета. В 1803 г. уволен в отставку "за слишком ревностную службу". Дом Державина стал одним из центров культурной жизни Петербурга. Написанная в 1782 г. ода "Фелица" положила начало поэтической славе Г.Р. Державина. До конца жизни он занимался литературным творчеством и был признан современниками одним из лучших поэтов своего времени, работал также в жанре прозы и драмы. Примерно с 1804 г. вокруг Державина сложился литературный кружок, который к 1807 г. преобразовался в общество "Беседа любителей русской словесности", игравшее значимую роль в литературной жизни России того времени. С "Беседой" связано создание Державиным пособия для "молодых наших сочинителей" — "Рассуждения о лирической поэзии".

В 1809—1810 гг. Державин продиктовал "Объяснения на сочинения Державина", которые, по существу, представляют собой автобиографию поэта, посвященную его литературно-поэтическому творчеству. В 1812—1813 гг. он написал "Записки из известных всем

происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина", в которых в отличие от "Объяснений" он излагал в основном обстоятельства своей служебной карьеры и государственной деятельности, что придало им официальный характер.

"ЗАПИСКИ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ВСЕМ ПРОИСШЕСТВИЕВ И ПОДЛИННЫХ ДЕЛ, ЗАКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЕ ЖИЗНЬ ГАВРИЛЫ РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА"

Когда в 1744 году явилась большая, весьма известная ученому свету комета, то при первом на нее воззрении младенец[134], указывая на нее перстом, первое слово выговорил: Бог![135] Родители с взаимной нежностью старались его воспитывать; однако же, когда в последующем году родился у него брат, то мать любила более меньшего, а отец старшего, который на четвертом году уже умел читать. За неимением в тогдашнее время в том краю учителей, научен от церковников читать и писать. Мать, однако, имея больше времени быть дома, когда отец отлучался по должностям своим на службу, старалась пристрастить к чтению книг духовных, поощряя к тому награждением игрушек и конфектов. Старший был острее и расторопнее, а меньшой глубокомысленнее и медлительнее. [...] Старший, при вступлении в отроческие лета, то есть по седьмому году, по тогдашним законам, явлен был на первый смотр губернатору Ивану Ивановичу Неплюеву и отдан для научения немецкого языка, за неимением там других учителей, сосланному за какую-то вину в каторжную работу, некоторому Иосифу Розе, у которого дети лучших благородных людей, в Оренбурге при должностях находящихся, мужеска и женска полу, учились. Сей наставник, кроме того, что нравов развращенных, жесток, наказывал своих учеников самыми мучительными штрафами, о коих рассказывать здесь было бы отвратительно, был сам невежда, не знал даже грамматических правил, а для того и упражнял только детей твержением наизусть вокабул и разговоров, и списыванием оных, его, Розы, рукой прекрасно однако писанных. Чрез несколько лет, посредством такого учения, разумел уже здесь упомянутый питомец по-немецки читать, писать и говорить, и как имел чрезвычайную к наукам склонность, занимаясь между уроков денно и нощно рисованием, но как не имел не токмо учителей, но и хороших рисунков, то довольствовался изображениями богатырей, ка-

[134] Державин пишет о себе в третьем лице.

[135] Одна из самых ярких комет XVIII в. К этим строкам "Записок" Державин сделал примечание следующего содержания: "Два сии происшествия совершенная были правда, и, может быть, Провидением предсказано через них было, первым: трудный путь его жизни, что перешел, так сказать, через огонь и воду; вторым — что напишет оду "Бог", которая от всех похваляется".

ковые деревянной печати[136] в Москве на Спасском мосту продаются, раскрашивая их чернилами, простой и жженой охрой, так что все стены его комнаты были оными убиты и уклеены. В течение сего времени отец имел комиссии быть при межевании некоторых владельческих земель, то от геодезиста, при нем находившегося, сын получил охоту к инженерству. Наконец, когда отец его в 1754 году получил отставку, для которой ездил в Москву, в бытность в оной Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, то и сей любимый сын его был с ним, с намерением, чтоб записать его в кадетский корпус или в артиллерию; но как для того надобно было ехать в Петербург, а дела отца его, которые он должен был кончить в Москве, паче же недостаток, что издержался деньгами, ехать ему в сию новую столицу не дозволили, то возвратился он в деревню с намерением в будущем году непременно записать сына в помянутые места. Хотя ему и вызывались некоторые особы в Москве принять его в гвардию; но он по недостатку своему на то не мог согласиться; однако же, по приезде в деревню, в том же году в ноябре месяце скончался, и тем самым пресеклись желания отца и сына, чтоб быть последнему в таких командах, где бы чему-нибудь ему научиться можно было. И таким образом мать осталась с двумя сыновьями и с дочерью одного года в крайнем сиротстве и бедности... Страдание матери от неправосудия вечно осталось запечатленным на его сердце и он, будучи потом в высоких достоинствах, не мог сносить равнодушно неправды и притеснения вдов и сирот. При таковых однако напастях мать никогда не забывала о воспитании детей своих, но прилагала всевозможное попечение, какое только возможно было им доставить; а для того отдала их в научение, за неимением лучших учителей арифметики и геометрии, сперва гарнизонному школьнику Лебедеву, а потом артиллерии штык-юнкеру Полетаеву; но как они и сами в сих науках были малосведущи, ибо как Роза немецкому языку учил без грамматики, так и они арифметике и геометрии без доказательств и правил, то и довольствовались в арифметике одними первыми пятью частями, а в геометрии черчением фигур, не имея понятия, что и для чего надлежит. [...] Поелику же в 1758 году открылась в Казани гимназия, состоящая под главным ведомством Московского университета, то и отложена поездка[137], а записаны дети в сие училище, в котором преподавалось учение языкам: латинскому, французскому, немецкому, арифметике, геометрии, танцеванию, музыке, рисованию и фехтованию, под дирекцией бывшего тогда асессором[138] Михаила Ивановича Веревкина; од-

[136] Гравюра по дереву.

[137] Поездка в Москву для записи в гвардию.

[138] Асессор — заседатель, гражданский чин.

нако же, по недостатку хороших учителей, едва ли с лучшими правилами как и прежде. Более же всего старались, чтоб научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике, и быть обходительным, заставляя сказывать на кафедрах сочиненные учителем и выученные наизусть речи; также представлять на театре бывшие тогда в славе Сумарокова трагедии, танцевать и фехтовать в торжественных собраниях при случае экзаменов; что сделало питомцев хотя в науках неискусными, однако же доставило людскость и некоторую розвязь в обращении. Старший из Державиных оказал более способности к наукам до воображения касающимся, а меньшой к математическим; однако же, во всех классах старший своей расторопностью блистал поверхностью и брал перед меньшим преимущество, который казался туп и застенчив. Вследствие чего старший отличался в рисовании, а потому, когда директор в 1759 году собирался главному куратору Ивану Ивановичу Шувалову дать отчет в успехах вверенного ему училища, то и приказал отличившимся ученикам начертить и скопировать карты Казанской губернии, украсив оные разными фигурами и ландшафтами, дабы тем дать блеск своему старанию о научении вверенного ему благородного юношества. В числе сих отличных был и старший Державин. Когда же директор в 1760 году из Петербурга возвратился, то в вознаграждение учеников, трудившихся над геометрией, объявил каждого по желанию записанными в службу в полки лейб-гвардии солдатами, а Державина в инженерный корпус кондуктором; вследствие чего и надели все принадлежавшие званию каждого мундиры. Почему Державин при бывших торжествах в гимназии и отправлял должность артиллериста, быв при артиллерии и при представлении фейерверков. [...]

Публ. по: Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина // *Державин Г.Р.* Избранная проза. М., 1984.

ВИНСКИЙ Григорий Степанович (1752—1819)

Мелкопоместный украинский дворянин. Получил разностороннее гуманитарное образование в различных учебных заведениях. Юношей поступил в Петербурге на воинскую службу. В 1770 г. — солдат Измайловского полка, в 1775 г. — унтер-офицер, в 1776 г. вышел в отставку. Винский предавался в Петербурге разгульной жизни и, не имея достаточных денежных средств, завяз в долгах. За подделку документов и хищение казенных денег был лишен чинов и дворянского звания, сослан в Оренбургскую губернию, где служил секретарем и домашним учителем. Здесь у него пробудился интерес к литературным занятиям. Винский делал переводы с французского языка, знакомил своих воспитанников с идеями Ж.-Ж. Руссо, Гельвеция, Г. Мабли и др., его увлекали "занимательный слог и смелые истины" Вольтера. В 1806 г. он был помилован и поселился в г. Бузулуке.

Автобиографические записки Винский начал писать около 1813 г. События в них доведены до 1794 г.

"МОЕ ВРЕМЯ"

Введение

Все перечитавши, и несколько раз, что только нашлося своего или занятого, все передумавши и неоднократно, что только задержалось в моей старой голове, всем наскучивши, что только могла доставлять благодатная мечта, наконец с месяц нахожусь я в совершенном безделии, следовательно, в несносной скуке. Работать в огороде, или бродить по окрестностям моего самопроизвольного заточения? Препятствует ежедневный жар. Выезжать на охоту? Стрелять в сие время нечего, к тому оводы одолевают коней. Чем же наполнять день, особенно чем сокращать предолгие предобеденные часы? Писать... Правда, в средних моих летах я много писал, прелагая из иноземных на отечественный язык истины тогда у нас неизвестные. Но сие упражнение давно мною оставлено: затевать его вновь, по нынешним временам, и не из чего и не для чего. Я бы, кажется, забыл давно писать, ежели б не поддерживалось сие неважною перепискою, которая не может дать дельного вещесловия. Но что дельное? Пиши, как и все почти пишут, что попадать станет под кончик твоего пера. Так... но ничтожность не занимательна, следовательно не может быть продолжительна. Ин пиши, сыскав себе предмет и что ты лучше знаешь. Дельно!.. Я знаю самого себя лучше всего; так вот мой предмет: МОЕ ВРЕМЯ. Заглавие, однако, принадлежит венценосному сочинителю[139] — тебя с первого шага оговорят. Порфирородный жил, имел свое время; я живу, имею мое; и так каждому свое. Я хочу писать мою жизнь и какие мне памятны важнейшие, случившиеся в течение оной происшествия. Да не подумает кто-либо, что сим маловажным занятием я хочу втесниться в лик творцов сочинений? Нет, нет! Я знаю, какие потребны дарования, сведения, знания, учение, витийство писателям, посвятившим себя или пожалованным препровождать до позднейшего потомства громкие подвиги витязей, славу владык, бедствия народов. Я намереваюсь писать о себе, для себя, для своих; следовательно я буду писать, как умею, не поставляя себе образцами ни Ксенофонтов, ни Титов-Ливиев, ниже К... Слог мой, подобно деяниям, будет прост, но правдив, в чем призываю на помощь мою богиню, истину.

---

[139] Т.е. императору Фридриху Великому.

I

Шестнадцать лет, или Детство и юношество

Мое рождение

Родился я в Малороссийском городке Почепе, от родителей, ежели не знаменитейших, то от самых здоровых и молодых. Важное преимущество — говорит, надувшись, граф. — Гораздо важнее, ваше сиятельство, нежели вы изволите понимать. Отец, Степан Акимович Винский, юноша 21 года, женился по взаимной сердечной склонности на матери моей, 16-ти летней отроковице, Марее Артемьевне Пискаревской, и их счастливый союз Бог на десятом месяце благословил мною. Что же тут особого? — возражает сенатор. — Особое, граф. Извольте выслушать. Родиться первенцем от неискусобрачных[140] (за что буду крепко стоять, по меньшей мере с одной стороны), молодых здоровых родителей; быть воздоену матернею грудью, значит: получить с жизнию прочное членоустроение, чистую кровь, здоровые соки, что все вместе доставляет человеку крепкое тело и мужественную душу, такие преимущества, которые одни делают людей истинноблагородными и счастливыми. Сие наблюдается, как и вы изволите знать, по всем хорошим конским и другим заводам; но графские, княжеские и все отличающие себя дома сего не уважают, и от того сколько же в их семьях игрушек природы!

О любезный Шанди![141] Как бы я порадовался, встретившись с истинным последователем твоей глубокомысленной о зачатии и рождении системы! Ни десятилетняя в молодости самая распутная петербургская жизнь, ни шестинедельное в подземном сыром погребе заключение, ни заточение в суровой Башкирской край и 30-ти летнее в оном пребывание, ни все удары несчастия не могли совершенно разрушить или ослабить мое крепкое сложение. Теперь, имея 61 год от рождения, я многих еще заставлю себе завидовать по наружности; а внутренно? О! Я еще живу.

Шандеизм[142]

Остроумный Шанди, от одного неосторожно и не в пору сделанного вопроса "заведены ли часы?" выводит самое глубокомысленное умствование о зачатии, рождении и следствиях от того на всю жизнь человека. Дело с первого взгляда кажется неважным, шуточным; но, рассматривая оное терпеливо, освещая со всех сторон светом здравого рассудка, отстраняя при сем розыскания и высокопарные философские проблемы и Богом вдохновения богословские темы, а паче всего уклоняясь большинства голосов, шандеизм на сие вещесловие столько разливает ясности, что все почти затруднения касательно уродов, выродков, извергов, как естественных, так и нравственных, весьма много облегчаются. Вспомни, любезный Прокопович, как мы в 1806 году в Санкт-Петербурге, за дружескою трапезою у Плавского, решали по сей системе задачу: "как могли родиться от благородного, умного, храброго боярина три сына негодяя?". По ней же, почти показывая пальцем, можно говорить: "сей зачат украдкою… а сего восприяла сердитая от пьяного, как и сей добыт огнистою сладострастницею по найму". Взгляните же на сего благообразного, преисполненного любезности юношу: не являют ли все черты его лица и все движения его тела, что он есть произведение тихих, сладостных минут вечера, когда добрые, чувствительные два существа, проведши день полезно, после вечерней приятной прогулки, в уединенной мирной храмине, предаются восторгам целомудренной любви? Или, сей младый сын истинного кормильца всех других существ, не доказывает ли ярким румянцем своих щек, упругостию своих мышц, широкою грудью, звонким голосом, своею всегдашнею веселостию, что он чадо советного союза, засеянное дюжим, трудолюбивым земледельцем в ложесна дородные, здоровые подруги, вынесшей в поле сытный обед; или, после общих летних работ, в тени ли ветвистых рощ, или в холодке душистого стога? Так шандеизм может при тщательном розыскании развязывать запутаннейшие узлы, и по нему же, "дети порочной любви редко бывают добрыми существами; сын же распутный не может быть иное как изверг".

Мать моя, приживши еще сына Осипа, на 20-м году своея жизни овдовела, и, обижаема будучи по имению нашими родными тетками, а может быть и по иным видам, вторично поступила в замужество за Михаила Васильевича Губчица, в семью довольно знатную и достаточную; начала жить в имении своего второго мужа, куда и нас переселила.

Первые впечатления

Первые годы моего детства мне почти совсем непамятны. Отдаляясь однако напоминовениями сколько можно тем временам, вижу, как будто в тумане наш дом в деревне Котляковек; памятны сливные[143] деревья по дорогам в огороде; помню еще дальний огород, куда шедши единожды с матерью, захвачены мы были грозою; памятно мне также,

[140] Не искушенный в браке.

[141] Шенди — герой романа английского писателя Л. Стерна "Жизнь и мнения Тристрама Шенди" (1767).

[142] Шандеизм — рассуждения Тристрама Шенди, термин, ставший нарицательным в конце XVIII столетия.

[143] Сливовые.

что тут в пруде дядя мой Тихон утопил было меня. Но кажется, все сие я знаю более по рассказываниям домашних. Переезд отсюда на житье в местечко Баклань, куда вотчим[144] мой определен был сотником[145], гораздо явственнее помню. Как теперь вижу приготовления к сему путешествию; вывезенные из шопы: берлины[146], коляски, таратайки, несколько возов и полуботов, в которые я играючи лазил; кормление у стайни строкатых и буланых коней и самый в ночь подъем живо себе представляю. Посажен я был в берлине между вотчимом и матерью; кажется, в просонье помню, сделался между людьми шум, по причине перебежавшего чрез дорогу волка, и что вотчим говорил: "Се добрый знак; а коли б заяц, то не добре". Первые однако мои годы в сем местечке мне непамятны: дом, сад, река Судость, гребля, городище и проч., ежели и теперь еще представляются мне весьма явственно, сему виною долговременное тут даже до осьмого года пребывание.

Впечатление первых лет

С сего времени до 30 лет моей жизни все места, где только я ни жил, даже переезжал, до самых малейших подробностей весьма помню; с 30 же года по сей день, ежели и памятны мне вообще предметы, но подробности почти совершенно изгладились в моей памяти. Так напр., на пятом или шестом году моего века, едучи осенью из Почепа в Баклань, при захождении солнца, спускалася наша повозка с небольшого бугорка к реке Судости. От солнечных лучей, скользящих, что теперь знаю, по гладкой поверхности воды, казалась она огненною; чрез нее летело несколько сорок в лес ночевать. Глядя на все сие, я не знаю от чего, стало мне очень грустно. Сия картина и теперь еще так жива в моей памяти, что я, кажется, мог бы ее нарисовать. С того времени воззрение на заходящее осеннее солнце всегда в душе моей производит уныние. Киев, со всеми своими монастырями, церквами и примечательнейшими местами, гораздо явственнее начертан в моей памяти, нежели город Уфа, хотя в первом я жил не более четырех лет и оставил его назад тому 46 лет, в последнем же я жил 12 лет, а был в нем пред сим за пять. На 18-м году приехавши в Санкт-Петербург, виденные тогда предметы, как: недостроенные две стороны зимнего дворца, неочищенная пред ним площадь, зимовавший против Кунсткамеры, спущенный на Неву военный корабль, каменный сарай, где отливался Петра Великого памятник, кристальный у Семеновского моста завод; даже первые гренадеры Измайловского полку, в их древних шапках и унтер-офицерских пе-

[144] Отчим.
[145] Военный чин, начальник казачьей сотни.
[146] Кареты.

ревязях, так свежи в моей голове, будто я на них теперь гляжу. В генваре же 1806 года, ехавши чрез Ярославль в Санкт-Петербург, города: Кострому, Мологу, Тифин, Новую Ладогу весьма темно вспоминаю; а картинные места, по деревням вечерние игры, в богатых селах, каковы Дуванной, Васильевское и других, катающиеся нарядные белотелые молодицы, все таковое мною тогда виденное теперь как во сне представляется. Проживши шесть месяцев в сей великолепной столице, бродивши ежедневно по привлекательнейшим местам, еще довольно картинно я могу себе ее представлять; но подробности: вахтпарады, гулянья на светлой неделе и первомайское, прогулки на прекрасных булеварах и набережных, неизъяснимо привлекательный для меня вид, в летнем дворцовом саду, играющих по утрам малюток с их прекрасными, нарядными кормилицами и няньками, весьма темно в мыслях изображаются.

Начало учения грамоте

В Баклани, кажется, начали меня учить грамоте. Мечтается мне, что дом наш был насупротив церкви Св. Николая; что школа, принадлежащая ей, находилась чрез дорогу; что в сей школе жил дьяк[147], к которому меня водили, который, однако, чему и как учил меня, не помню; но что он часто и больно секал меня, особливо по субботам, сие помню. Сие глупо-варварское обыкновение было в употреблении почти во всех приходских школах, по причине дьяку некоторого доходишка.

Малороссийская субботка

После субботней вечерни все ученики собирались в школу и, не садясь по местам, а стоя, ожидали дьяка. При вступлении в школу, он был приветствован ото всех в один голос: "Мир ти, благий учителю наш!" На что он отвечал: "Треба секты вас"[148] и тотчас начинает екзекуцию: "учись, не пустуй, помни субботку" были его увещания при сечении. Те, которых матери присылали дьяку почаще млинцив, боланцив, паленыц и того-другого, получали удары по платью; а бедняки, или у кого матери были скупы, расплачивались голыми задницами. Проклятая поповщина! Где ты не злочинствовала?

Начало учения латинского языка

Первого же моего инспектора, т.е. домашнего учителя, поляка пана Мушинскаго, гораздо более помню не по его учению, а по тому, что он был охотником стрелять, удить рыбу, ловить птичек и меня нередко с

[147] Дьяк — учитель элементарной приходской школы при церкви.
[148] "Нужно вас сечь" (укр.).

собою важивал, и что он был крайне зол и нас секал без милости. После сего принят был пан Дворецкий, родом из Сосницы. При сем учителе я прошел латинский алварь[149]; по-российски же читал уже по вечерам для матери Четь-минею[150], а в церкви Апостолов и Паремии[151]; писал изрядно и по сказыванию[152]. Сей инспектор нрава был тихого, и я его душевно любил; бывали и от него наказания, но и редко и ненапрасно и нежестоко, так что ежели за шалости и непрестанные мои проказы в иной день мать, поленившись сама меня сечь, отсылала к нему, я считал сие помилованием. При сем инспекторе кончилось мое домашнее учение, и я послан был продолжать оное в Чернигов.

Важность первого десятилетия

Дитя, к десяти годам своего существования, являет уже начатки страстей, имеющих некогда образовать его свойство. Сие время есть важнейшее в жизни, потому что тут должно чрез воспитание добрые склонности в юноше посеять, возрастить, усилить, как дурные возникающие выполоть, искоренить, по меньшей мере ослабить. Но, увы, сие важнейшие дни моей весны протекли без малейшего обработания! Говорили вообще мне быть добрым, тихим, искательным, услужливым; но сделаться таковым предоставляли случаю. Можно сие уподобить брошенным на ниву несколькими горстями зерен хлебных, коих всходы, рост и созрелость оставлены судьбе. Как бы я ни желал начертать первые признаки моего рассудка, первейшие ощущения моего сердца, начальные порывы моих страстей, но все мое о сем старание тщетно: едва могу припомнить, что по многокровному моему сложению, преданный веселостям, рассеянию, забавам, я точно не был ни зол, ни скуп, ни завидлив. В детских играх душевно равнялся с низшими; но господствовать ни сам не любил, ни над собою не терпел. Сие, как бы врожденное, осталось во мне на всю жизнь мою. Да не помыслит читатель, чтобы я был противником властям и не повинующийся начальству. Нет, я смело могу божиться, что власть законная всегда для меня была священна; начальникам же я бывал неизменно покорен, и самые несправедливости правительства, коими преобременен я был, переносил терпеливо. Скажу торжественно, что я был бы лучший гражданин во всяком обществе, где бы законы хотя драконовские, но тяготели ровно на всех.

[149] Учебник латинского языка автора Альвареса.

[150] Четья Минея — книга для богоугодного домашнего чтения, в которой жития святых и поучения расположены по дням года согласно церковному календарю.

[151] Апостол и Паремия — богослужебные книги.

[152] Т.е. под диктовку.

Дом вотчима

Вскормленный в доме вотчима, я испытывал прежде несправедливости и обиды, нежели и милости, но я их тогда несильно чувствовал и по ребячеству скоро забывал. Вотчим мой, будучи от природы человек угрюмый и сердитый, к нам весьма был неласков; но сам, сколько помнится, меня никогда не бивал, а исправлял сие чрез нашу несчастную мать, которая, как теперь помню, при наказаниях иногда сама горько плакивала. Правда, резвости мои, шалости и непрестанные проказы и не в вотчимовском доме долженствовали бы быть унимаемы; а тут, как примечали их старательнее, взыскивали за них тщательнее, то наказания случались ежедневно, нередко с повторением и не обходя праздников.

Нечто о брате

Брат мой, ушибенный грудью еще в детстве, почитался хворым; потому его не принуждали учиться, никогда почти его не наказывали, больше ласкали; за то, а больше, что он великий плакса был, я худо с ним ладил и никогда не принимал в свои игры. Как по учению далеко от меня отстал, то я послан был в училище один, с ним уже никогда вместе не живал и очень редко видался. В сие же время, помнится, мать часто мне говаривала о богатстве нашего отца расхищенном и что мы бедняки против сестры нашей, рожденной ею от Губчица. Сие однако весьма мало действовало на меня; ибо я с юнейших лет не уважал богатства и не дорожил деньгами до того, что даванные мне иногда несколько копеек отдавал первому, кто захотел бы их взять.

Отбытие на чужую сторону

Наконец наступило время моего странствования. Два почепские панычи Самоцветы, учившиеся уже в Черниговской Коллегии под надзором инспектора Цвета, со вновь завербованным панычем Рославцем, заехали к нам в октябре 1762 года и, присоединив меня к себе, повезли в Чернигов. Расставанье мое с матерью и домом было самое плачевное; во всю дорогу я непрестанно плакал, ничего не примечал и ничем не занимался. Принятие меня в третью школу, т.е. грамматику[153], да и все мое пребывание в Чернигове, чуть-чуть помню. Знаю, что учитель мой был пан Дембицкий; памятно, что Самоцветы, бывши меня гораздо старее, часто меня обижали, и что пан инспектор нередко меня сек понапрасну. Посему, конечно, я взят был на ваканции[154] гораздо ранее

[153] В третий грамматический класс.

[154] Каникулы.

обыкновенного, т.е. до Троицына дня, и оставался без инспектора до осени. Кажется, в сентябре месяце мать моя с своею, а моею бабкою, для каких-то надобностей ездили в город Нежин. Я был с ними; очень помню виденных тут греков; в их лавках особое привлекали мое внимание каракатицы и колбасы; базар и улицы завалены были каунами[155], дулями, сливами, виноградом и пр. Оттуда поехали мы в Киев, где мать моя, исправивши с великою торопливостию свое богомолие, оставила меня тут на попечение какой-то женщине, именем Варваре. С сею женщиною, как кажется, ставшею моею нянею, я жил недели две в совершенной праздности; шатался с нею по монастырям и, по крайнему изобилию всех родов плодов, пресыщался ими. Потом я был переселен на квартиру к панычам, у которых был инспектором пан Разнатовский. Недолго, однако, оставался я при сем надзирателе: некто пан Щербацкий, старый богослов, то есть ученик богословия, выпросил меня у отца-префекта под его инспекцию.

Пребывание в Киеве

Описывать все подробности моего пятилетнего пребывания, хотя и весьма мне памятные, не считаю нужным; поелику во все сие время ничего со мною не случилося особенно любопытного. Жил я на наемных квартирах, под начальствованием разных переменявшихся инспекторов, всегда с моею Варькою. Учился довольно прилежно, не только не отставал от других, но всегда числился между отличными. Учителям, как публичным академическим, так и приватным инспекторам был послушен и добрых, особенно умных, душевно любил. Несправедливые однако их в рассуждении меня поступки я умел уже чувствовать и им того не прощать; так паны: Щербацкий и Самойлович, невзирая на всю ученость последнего, остались в моей памяти навсегда самыми низкими людьми; напротив, тогдашний ректор отец Самуил и учитель риторики отец Никодим никогда не воспоминаются мною иначе, как с сердечным почитанием и благоговением.

Академия

Киевская академия, по назначению своему для духовенства, пеклась наиболее образовать людей в сие звание. Посему науки, преподаваемые в ней, были: грамматика, пиитика, риторика, философия, богословие и языки: латинский — как основание, польской — как истолковательный; по них греческий и еврейский — как нужные для разумения церковных писателей; немецкому и французскому хотя также обучали,

[155] Арбузы (укр.).

но весьма недостаточно; прочие же науки там были совершенно неизвестны. Из сего можно видеть, что я, учившись весьма похвально, бывши в одной риторике три года, говоривши и писавши латинским и польским языками, как моим природным, имевши набитую голову тропами и фигурами, умевши состроить хрию[156] правильную и превращенную, выехал из Киева настоящим, касательно необходимейших знаний, дурнем до того, что ежели бы добрый человек, квартировавший тогда в Киеве, канонерского полка штык-юнкер Паченко, не показал мне первых правил арифметики, я бы принужден был считать по пальцам.

Пансион

В половине 1768 года я оставил Киев и, прибывши домой, тою же осенью помещен был для французского языка в новозаведенный в Стародубе г. Карповичем пансион.

Перейти из публичного училища в частное значит быть понижену в своих собственных очах; но я, по пристрастию к французскому языку, сим не затруднился. Лета мои, знание латинского языка и правил грамматических произвели в учителе некоторый род уважения ко мне, так что он, снисходя на мою просьбу, прошел для меня синтаксис Пеплиеров. Сие одно мне было нужно, и я чрез девять месяцев оставил пансион. Сим на 16-м году моей жизни школьное мое учение совершенно кончилося.

Переселение в Глухов

Осенью 1769-го я отвезен был в Глухов, где препорученный генеральному судье г. Журману, я долженствовал прожить зиму и потом с его заступлением ехать в заграничную армию. Кратковременное мое в сем городе пребывание было как бы образчиком имеющей быть жизни. Я находился под покровительством вельможи, у коего временно являлся и иногда обедывал; жил же на наемной квартире, располагая моим временем, делами и поступками самопроизвольно. Город Глухов в сие время, по причине пребывания в нем вышних властей малороссийских, был как бы небольшая столица. Шляхетство, начиная тут свое служение по значительному количеству и видной жизни, стечение всех состояний по делам казали сей город и многолюдным, и оживленным. Роскошь, хотя и не повсеместно, но уже водворялась; трактиры, и немецкий и греческий, не бывали пусты; шинки также не напрасно заводились, особенно, где были пригожие хозяйки или наймички. Молодые

[156] Хрия (греч. — польза) — термин школьной риторики, означающий совокупность приемов для развития предложенной темы.

шляхтичи, приписанные в разные присутственные места, вели жизнь по большой части праздную; уже ничего студентского в них не было видно, а многие и профессорами распусты[157] могли быть названы. Я был причислен к генеральному суду, но присутствовать в нем более трех раз не удосуживался. Первые дни определены бывши на приготовление необходимого для пристойного появления в большом городе, я провел их почти заключенным в квартире, занимаясь непрестанно пересмотром вещей, данных мне из дому. Не имевши никогда толикого количества и толикой разновидности, я любовался ими несказанно; самые безделушки я почитал драгоценностями и, пьючи свой чай, при услуге моего Матюшки, я почитал себя счастливее всякого князя. Знакомиться я весьма был туп; но делать знакомства поверхностные почти никогда не умел и прилеплением моим откровенностию всегда других опережал. Знакомиться начал с однолетками, но скоро введен был в круг гораздо старейших и тогда пустился, что называется, во все тяжкие. Скоро немецкие, греческие и всякие другие благодатные дома мне стали знакомы. Благодаря однако моей застенчивости, или лучше безденежью, я только был повсюду зрителем, но действователем нигде; да правду надобно сказать: глуховские моты и их шалости к петербургским так были, как 5 ко 100; посему мне не удалося тут научиться ни пить, ни в карты играть, нижé…

Рассматривая беспристрастно время моей юности, открывается, что оно протекло для меня весьма невыгодно. От всего моего многолетнего учения приобрел я знание латинского языка и небольшое умение писать; существенные же и необходимейшие для моего благоденствия знания, как святая нравственность и состав людских обществ, или яснее: "чем каждый человек обязан обществу, и наоборот, общество человеку", — до того мне были неизвестны, что я их и в числе наук, до 40 лет моей жизни, не считал. "Все науки, — пишет Мерсье[158], — даже и божественная астрономия, суть только роскошь ума человеческого, одни — мораль и политика ему необходимы". Сею важную истину я узнал поздно. Низринутый в бездну злополучий, свиделся и познакомился я со нравственностию, полюбил ее от всего сердца, прилепился к ней всею душою; но как можно было то исправлять, что в продолжении сорока лет портилося? Скажу чистосердечно, что все мои старания быть добрым, справедливым весьма неважные имели успехи; и я расстанусь с жизнию конечно не злодеем, но весьма мало и добрым. Из многих собственных опытов знаю, как трудно, ежели не совершенно невозможно, быть истинно добрым, когда в юных летах не обсеменено сердце добром. Железо, покрытое и во многих местах проникнутое ржавчиною, самое тщательнейшее очищение не может освободить совершенно от повреждения; хорошо хотя бы не допускать усиливаться ржавчине.

[157] Автор употребляет это слово вместо "распутство".

[158] Мерсье Л.С. (1740—1814) — французский писатель и философ (см. также сн. 218 на с. 241).

Точное начало просвещения в России

Несправедливо было бы требовать от тогдашних школ и учителей полезнейшего научения юношества: они сами точно не имели ни малейших по сей части сведений. Заря наук для нашего Отечества начала пробиваться сквозь мрак невежества в конце осьмого десятка протекшего столетия. Сколько бы излиха ни вопияли: "Распинайте французов!", но они одни гораздо более способствовали нашему научению, нежели совокупно вся Европа. Россия, по воле Петра Великого, находившись более полувека под ферулою[159] немецкою, даже и признаков не являла просвещения. Царствованию Екатерины принадлежит вся честь водворения в нашем Отечестве полезных наук, которые разительнейшим образом начали иметь влияние на нравственность. Повторю паки: сколько бы старообрядцы, новообрядцы и все их отголоски ни вопияли: "Распинайте французов!", но Вольтеры — не Мараты; Ж.Ж. Руссо — не Кутоны, Бюффоны — не Робеспьеры[160]. Ежели когда-нибудь настанут времена правды, тогда великие умы XVIII столетия, истинные благодетели рода человеческого, получат всю им принадлежащую честь и признательность.

Так, искренно судя, что первая существования моего четверть, долженствовавшая быть основанием моего благоденствия, была почти для меня потеряна, я не ропщу ни на мать свою, ни на моих наставников. Всему виною тогдашние времена. Но ежели бы оставили меня, по крайней мере, идти по той дороге, на которую я был Академиею выведен, я бы мог быть изрядным духовным, искусным врачом, а может быть, и порядочным писателем; следовательно, полезным членом общества и способным устраивать свое счастие. Но, увы, меня, как будто с умысла, возрастили у монахов, а заставили служить в гвардии! Переведенный из мирной, скромной, подчиненной жизни в мятежную, наглую, своевольную, чем мог я сделаться, как не самым несчастнейшим творением?

Так бывало, есть и ныне, что большая часть юношей заставляется занимать места в обществе, совсем несообразные ни с их склонностя-

[159] Ferula (лат.) — хлыст, розга; иносказательно — суровый режим, строгость.

[160] Вольтер, Руссо, Бюффон — французские писатели, философы, просветители; Марат, Катон, Робеспьер — французские революционеры.

ми, ни с их способностями. Научение в публичных и частных училищах есть для всех одно и то же. Мерсье пишет: "Надлежало бы завести особый род наставников, которые бы, по своему знанию и опытности, умели узнавать в детях склонности и способности, по коим бы назначили им учение". Так, распорядив детей к учению, скоро бы могли иметь в каждой части наук, художеств, даже ремесел, людей отличных; и сей, родившись быть зодчим или ваятелем, не потел бы понапрасну над соборным уложением; а природный витня и пиит не ломал бы головы алгеброю.

В России научение почти повсеместно принимается за воспитание. Я сам, скажу со стыдом, прожив более половины моего века и бывши по несчастию уже домашним учителем, различия в сем даже не подозревал. Не забуду никогда почтенного г. Реми за многие его мне одолжения, как и за пояснение сего различия.

Иноземец не может воспитывать

О, отцы, матери, и все вы, от коих зависят дети! Войдите в подробнейшее розыскание разности между воспитанием и научением; пекитеся ваших чад прежде воспитывать, потом научать. Знайте, что болтание чужеземными языками, балансирование, прыганье, бряцание на фортепиано и на гитаре не есть воспитание, но одно научение. Ведайте, что наемные иноземцы, из какого бы они народа не были, хотя бы нравственность их была без малейшего нарекания, не могут дать вашим детям воспитания, по тому одному, что они не знают ни законов наших, ни нравов, ни обычаев, ни преимуществ и прав, принадлежащих у нас каждому состоянию граждан, по которым необходимо должно прилаживать нравственность. Будем искренны: российский дворянин, по своему знанию, обязанностям и правам, ни малейше не сходствует ни с одним европейским дворянином, как купец, мещанин и крестьянин ничем не равны заморским. Сколько ни всеобща чистая нравственность, но состав обществ, нравы, обычай во всякой земле свои, и по ним одним народы удерживают свое отличие.

Россиянина должен воспитывать непременно россиянин; научение же можно попустить и иностранцу, только бы воспитание оному предшествовало и никогда из вида не потерялось.

Воспитание принадлежит родителям

Воспитание одно есть отличительная принадлежность человека; научение же не совсем чуждо и другим тварям. Сия важная должность от самой природы назначена родителям. Дать просто жизнь, по строгой

справедливости, не составляет великого благодеяния; одно воспитание может доставлять отцам неоспоримое право на детскую благодарность, повиновение и пособия. Признаться однако должно, что по нынешним временам ревностнейший отец, или искуснейший наставник, едва ли умеет обсеменить юное сердце чистыми правилами нравственности.

Общественное воспитание, непременным законом утвержденное и самим правительством назираемое, могло бы идти наивернейше к сей цели; ибо добрые нравы не иначе могут завестись и утвердиться, как когда правительство, согласуя с нравственностию, займется искренно попечением о благоденствии народа и присвоит воспитанию всю важность ему должную. Покуда о воспитании не будут радеть, нельзя ожидать, чтобы люди сделалися лучшими и счастливейшими. Правительство непременно обязано поддерживать нравственность; без того она бесполезна и не может иметь никакой власти над сердцами. Законы должны быть пополнением и доказательством нравственности, внушенной воспитанием.

Вопросят: можно ли целый народ воспитать, то есть внушить ему правила нравственности?.. Ясные и простые правила естественной нравственности гораздо легче для понятия, нежели догматы и заповеди духовные, которых не только поучающиеся, но и сами поучающие, по совести, не понимают.

Способ к облегчению воспитания целого народа

Правительство, которое возымело бы искреннее намерение завести в своем народе добрые нравы, могло бы, учредивши для детей общественные воспитательные дома, для народа выгодно употребить священников, дав им в руки катехизис чистой нравственности, по которому б они своих прихожан в проповедях наставляли и на духу поверяли. К сему присоединя знаки отличия для добродетельнейших, не корыстные, но почетные, как строгое и неупустительное взыскание и наказание для порочных и злых, сопровождаемое общим отвержением, произвели бы непременно желаемые успехи.

Ликург[161], хотя против правил здравой нравственности написал свои законы, но нельзя не согласиться, чтобы он не чувствовал могущества общественного воспитания. В Спарте оно было под непосредственным назиранием правительства, единообразное для всех и утвержденное законом. Ежели сей свирепый законодатель мог чрез воспитание образовать исступленных воинов, презиравших болезни и смерть: почему законодатели, более человеколюбивые и более благоразумные,

[161] Ликург — легендарный законодатель древнегреческого города Спарты.

не могли бы также образовать людей доброжелательных и рассудительных? Бюнианы в Индии, квакеры в Америке и сарептцы[162] у нас в России не могут ли также быть сему доказательством?

Лета невинности

Первый выезд мой из благословенной Малороссии поставивши пределом моего юношества, я не могу о сем времени вспомнить без сердечного умиления, как о летах моея жизни, проведенных в истинной невинности. Я оставил Глухов, не могучи себя, по строгой справедливости, ничем укорять порочным или вредным. Шалости мои и проступки точно были ребяческие, могущие быть достаточно изглаженными одним признанием. Как сладостно воспоминать и теперь, что я тогда не был еще виновен ни пред людьми, ни пред собою!

При расставании с милою родиною и дабы быть чисту от всего, я должен учинить исповедь, для всякого чувствительного сердца самую трудную. К четырнадцатому году нельзя было не ощутить в сердце чувствования, нудящего всех — искать любезных, глядеть на них, любоваться ими и желать от них чего-то неисповедимого. Первый позыв на сие познал я в Киеве, но без малейшего удовлетворения. Правда, приглашен бывши в одно лето прожить несколько недель в доме одного сельского священника и познакомившись там с его дочерью, девушкою лет 20, полною, румяною, веселою, резвою, простушкою, я тут научился целоваться, прикосновение также отведал, но пройти далее не умели: я по причине моего малолетства, она же, как кажется, по причине неопытности. Сия моя склонность весьма долго была мне памятна. В Стародубе, находясь в пансионе, как учитель жил прежде в Москве, то имел почти всю прислугу из русских, в том числе двух девок, настоящих московских, посему целомудрие мое неминуемо должно бы уничтожиться: наслаждение скотское, которым я тогда же мерзил. Паночка С.в.ч.в.[163] особое возбуждала во мне к себе благоволение; но тут я лакомился одними глазами. В Глухове по сей части я действовал уже гораздо вольнее; славные тут часовщица и трембачиха имели и меня прицепленным к своим таратайкам; с ними я игрывал, лобызался; но по причине великого стечения, и паче, что тут требовалися доказательства любви наличные, коих у меня немного водилося, я принужден был довольствоваться платонизмом. Вот все, что лежало на душе и чего, кажется, за один порядочный грех почесть нельзя. Кстати поместить здесь происшествие, следствия коего я почти во все продолжение

[162] Представители различных религиозных сект.

[163] Так в тексте (видимо, сокращение имени).

жизни чувствовал. На четвертом моем году посетила меня лютая рода человеческого враговка, воспа[164]. Не помню самой болезни, но признаки ее бытности оставила она мне вечные, которые в самых молодых летах приносили мне много досады: кроме того, что меня дразнили дзюбаным, со всеми употребляемыми приговорками, я слышал весьма часто, что меня не будут девки любить, как мерзеного. Сие так мне бывало чувствительно, что я с горя сам в себе говаривал: "и я их не хочу любить". К природной застенчивости чрез сие сделался я осторожным и равнодушным, и какое б ни чувствовал влечение к красавице, но на искание в ней никогда не решался. По сему легкие приобретения были для меня сходнее, хотя самым пользованием я душевно мерзил.

Окончу, повторив: ежели, как сказал прежде, не имел я самых худых свойств, то по совести же не могу похвалиться, чтобы обладал отличительно добрыми. Сострадание, благотворение и все сладостные ощущения человеческого сердца, кажется, в сем времятечении моей жизни едва ли были мне известны. Я совершенно не склонен был обижать, себе чужое присваивать, еще меньше хищничать; но вступиться за обижаемого, плакать о несчастии другого, пособить нуждающемуся я точно не умел. Вот и сие может быть доказательством, что человек ничего не имеет врожденного, и что все он приобретает, перенимая от тех, с кем живет в теснейшем сообщении. Нравственность нашего дома была средняя между самою хорошею и между самою худою, по коей и мое сердце обсеменялось. Я не навык мучить несчастных слуг, глядеть покойно на брызги их крови, слушать хладнокровно их вопли, не трогаться их стонами, видеть их голодных, холодных и всегда готовых забавлять своих мучителей; не навык потому, что в нашем доме сие не виделось. Так и все занятое мною во время моего детства, как доброе, так и худое, было средней руки.

Общие моей отчизны нравы

В сие время малороссияне жили только между собою; кроме греков и поляков иностранцы им вовсе не были известны; даже с великороссиянами почти не имели сообщения, почему нравы их были также ни худшие, ни лучшие. Злодеяния, каковы: убийство, разбои, грабеж и пр., весьма были редки. Пороки: пьянство можно бы почесть всеобщим, поелику не только мужчины, даже женщины в лучших домах пили водку, наливку и пр., но напиваться до забвения почиталося зазорным, и истинные пьяницы всеми были презираемы. Скупость, родная сестрица расчетливости, родственница бережливости, свойственница хо-

[164] Оспа.

зяйства, довольно была у соотчичей моих приметна; но скряжничеством и лихоимством, кажется, они душевно гнушались. Тяжбы и ябедничество были весьма употребительны и преимущественно между шляхетством. Ссоры и драки у простолюдинов случались, но не продолжительные и неувечные, ибо наиболее разделывались чубами; забиячества же были редки. Явная распуста была строго наказываема; волокитство, ежели сим именем назвать жениханье, было терпимо в простом народе, но никогда почти не простиралося до порочного и по большой части имело в виду супружество.

Сказавши худое, справедливость требует молвить сколько-нибудь о добре. Добронравие малороссиян обнаруживалося разительно тем, что они в сие время имели уже общее мнение, т.е. не только злодей, порочный, даже своевольник, были у всех и каждого в омерзении; начинающего сочлена беспутствовать каждый отец семейства считал своим долгом уговаривать, оговаривать, стыдить, унимать и, в случае неуспеха в том, по крайней мере искренно отвергать[165]. Дети у родителей были в полном повиновении, простиравшемся так далеко, что ни лета, ни звание не освобождали от оного; сие, за смертию родивших, относилося к старшим родственникам. Молодые люди обязаны были почтением всем вообще старикам. Вот черты, коих я, по выезде моем из отчизны, нигде не приметил, и противодействия коим с первых дней для меня были крайне удивительны, даже несносны. Странноприимство и гостеприимство во всей Малороссии были исполняемы с истинным усердием и удовольствием. Супружеское состояние было беспорочно, надежно и тем похвальнее, что жены полновластны во внутреннем хозяйстве и в своем поведении. Откровенность и дружелюбие были общи всему народу. Праздничать, веселиться, петь, плясать — все любили; музыку умели чувствовать. Наряжались охотно; чистота и опрятность жилищ были повсеместны. Женщины, как и повсюду, убранством старались усилить свои прелести; но поддельных нигде не терпели, и набеленная, нарумяненная обегаема была, как явная к…

К вере малороссияне все имели душевное прилепление, и по причине, что тамошнее священство было довольно просвещено, нужнейшие члены закона и церковное служение каждый знал основательно. Сие, я думаю, воспрепятствовало завестись у них разнотолковщине или бестолковым расколам. В храмы ходили охотно, привлекаемые нарядным

[165] Дающих пристанище ворам и заведомо принимающих краденое законы наказывают равно с преступником, в справедливом смысле: "ежели б некуда было сбывать краденого, на что воровать?" Обратите сие правило на злочинцов, кишащих теперь в обществах; авось и они, подумав "к чему злочинствовать?", уймутся хоть трохи (*Примеч. авт.*).

служением и согласным пением. Но, суеверие?.. Увы! Сие адское детище и в благословенной Малороссии было почти повсеместно.

II

Одиннадцать лет, или Молодость

Отъезд в С.-Петербург

2-го марта 1770 года повезли меня из Глухова в С.-Петербург. Утопая в слезах, простился я с любезною Малороссиею, как бы предчувствуя вечное мое из оной удаление. До Орла я ничего не видал, не чувствовал. Тут, для облегчения, посоветовали мне завестись собственною кибитчонкою, которая, в сотовариществе корнета Чигиринского, доставила меня к берегам Невы. Переезд мой до северной столицы не заслужил никакого моего примечания. Все города и самая Москва не произвели во мне ни малейшего внимания; я полагаю сему виною, что, живши в Киеве и видевши там строения довольно огромные и величественные, я по их размеру смотрел и судил о попадавшихся моим взорам; посему славимый русскими Иван Великий пред киевскою лавринскою колокольнею был в моих глазах столбик, как и Успенский собор гораздо у меня меньше значил киевобратской церкви. От сего и с.-петербургские тогдашние строения ни малого не возбуждали во мне удивления; поелику, зная киевские, я об них воображал несравненно выше.

12-го апреля того же года флигель-адъютант графа Кирила Григорьевича Разумовского, Петрищев, посадя меня с собою в карету, отвез в полк и представил как принятого его сиятельством в службу к г. премьер-майору Александру Ильичу Бибикову. Сей, заглянув в бумагу, тогда же ему врученную, что верно была моя челобитная, спросил меня, где я учился и, отдавая бумагу стоявшему подле него офицеру, сказал: в школу. Отходя только от него, я увидел, что все его комнаты набиты были офицерами и унтер-офицерами, томящимися в двух передних, которые проходя, как полумертвый, я слышал со всех сторон слово — недоросль.

В сие время умным и благотворительным Бибиковым заведомо было в Измайловском полку училище под названием инженерной школы для записывающихся в сей полк дворян, из которых большая часть едва знали грамоте. Заведение, без прекословия, весьма полезное, ибо тут учили: языки, фортификацию, артиллерию и еще некоторые науки. Для языков и высших частей математики были нанятые учители; для низшей же математики и арифметики употреблялись солдатские дети.

Определение в школу

Снабженный аспидною доскою и грифелем, я был введен и помещен между учащимися сложению. Представьте себе малороссиянина

между москалями, киевского студента между школьниками, сидящего вместо важного профессора, в оборванном солдатского сукна сюртуке, с сковерканною рожею Артамонова, который его вопрошает: умеешь ли ты писать?.. цифры?.. Вообразите, что он, остолбеневши от удивления, едва ли что отвечал, и потому г. учитель, сказавши двум школьникам: "поучите его, братцы", сам удалился. Первый, взявшийся меня учить, коль скоро услышал мою речь, тотчас меня попотчивал: хохол! Другие, вслушавшись, немедленно начали меня величать — безмозглый! и пр.

Встреченный так неблагоприятно учителем и столько злостно товарищами, я вдруг, как и каждый бы на моем месте земляк, претворился в скотину. Потупивши глаза в доску, молчал и страдал. После обеда, решившись сесть особенно, я будто нарочно выставил себя для всеобщих нападков, от которых и добрый наш фельдфебель Сумароков едва мог меня защитить. Чрез несколько дней привыкши, как к карканью ворон, к ругательствам русского благородства, я приложил все мое старание открыть, на чем вообще основали свое мнимое преимущество гг. москали над малороссами. Смотря на бедняков и мизерных, составляющих две трети благородного сословия, весьма ясно видел изо всех приемов, поступков и речей, что они были сущие мужики; приближаясь иногда к достаточнейшим, хотя и царапаемый, я примечал, что большая часть и от них, даже воспитанные иностранцами, весьма ограничены в знаниях, особенно касательно словесности. Откуда же и от чего подобное предубеждение? По строжайшему розысканию, виною сему старинная, как бы прирожденная всем русским ненависть ко всему иностранному и невежественное презрение всего неотечественного. Сей недостаток в москалях едва ли когда-нибудь истребится. Я, живши более 40 лет между ими, знаю их во всех состояниях; по совести скажу, что глупое сие самохвальство есть еще и теперь вельми общее всему народу. Любопытный может ежечасно в том уверяться: заговори только о чем бы то ни было иностранном, и тотчас услышатся самые нелепые отзывы, и не от одних брадоносцев[166]; нет, по сей части, дворянин, приказный, военный, даже ученый, все являют себя сущими мужиками.

Дурной нос Артамонова и нападки сотоварищей произвели во мне негодование до упрямства. Напрасно величаемый безмозглым, я пустился из доброй моей воли в дураки, притворяясь непонятным до того, что учитель и начальники, уставши рапортовать меня еженедельно ленивцем, выключили наконец в роту.

[166] Носившие бороду крестьяне, духовенство, старообрядцы, т.е. наиболее консервативные слои населения.

Служба фронтовая мне также не понравилась; но я и тем был уже доволен, что, не находясь под подлою ферулою, определен был вертеть ружье, поворачиваться, топать ногами, как бы делать что-нибудь путное. Признаться однако со стыдом должен, что я, во все продолжение моей четырехлетней службы был неизменным самым худым служивым, точно имея природное от нее отвращение, что деспотичное по оной управление еще более во мне усиливало. В сей роте служил земляк Соханский капралом; и по чину своему, и по землячеству, он был для меня великою находкою, и ежели бы не так скоро выбыл он в армию, я думаю, из многого худого гораздо было бы у меня меньше.

Хотя воинское звание по наружности имеет вид строгого присмотра, но в самом существе едва ли какое другое из общественных состояний доставляет более своеволия. Умел б только опрятно одеваться, проворно вертеться, раболепнейше повиноваться: вот и желаемые качества в военном! Нравственность же ежели в котором полку, по каким-либо особенным обстоятельствам, не уничтожается всесовершенно, то не наблюдается ни в одном; наказывают не за то, что крадут, отнимают, грабят и пр., но за то, что не умеют концов хоронить. А о другом и говорить не для чего.

С первых дней моей службы, увидевши себя совершенно в моей военной жизни независимым, я начал тотчас во зло употреблять сию свободу. Правда, девять месяцев, пока я не жил в полковых казармах, нельзя, по строгой справедливости, назвать порочными; но, проживши их в совершенной праздности, удален бывши сообщества порядочных людей, я всматривался и навыкал быть негодяем. Болезненно мне сказать, что первые лекции распутства и мотовства начал я в сообществе земляков. [...]

Публ. по: Записки Г.С. Винского // Русский архив. 1877. Кн. 1. Вып. 1.

ДОБРЫНИН Гаврила Иванович (1752—1824)

Малороссиянин, сын священника. Рос в монастырской среде под присмотром деда. Служил певчим, чтецом, келейником при епископах, затем — провинциальным канцеляристом (с 1773), губернским секретарем. Получил права личного дворянства (1777) и чин коллежского асессора (1788), занял место помощника прокурора в Могилевском земском суде. В 1797 г. Добрынин был назначен земским комиссаром в г. Витебск. С 1814 г. до конца жизни — губернский прокурор. В 1812 г. Добрынин находился в Витебске во время французской оккупации, что позднее было описано им в мемуарной статье "Отрывок из записок Витебского жителя".

Добрынин был талантливым самоучкой, расширявшим свои знания постоянным чтением. Не зная иностранных языков, он был хорошо знаком с зарубежной литературой по ее русским переводам. Добрынин очень ценил знакомства с людьми, причастными к русской словесности, записывал воспоминания о них. Сам писал сатиры на местных чиновников, распространявшиеся в списках.

Воспоминания Добрыниным начаты в середине 1780-х гг., вторая часть завершена к 1810 г., окончание третьей части помечено 23 апреля 1823 г. По содержанию это — пример сатирического бытописания с яркими и документально точными картинами жизни высших и низших слоев провинциального дворянства, духовенства и чиновничества последней трети XVIII в.

"ИСТИННОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ, ИЛИ ЖИЗНЬ ГАВРИИЛА ДОБРЫНИНА, ИМ САМИМ ОПИСАННАЯ В МОГИЛЕВЕ И ВИТЕБСКЕ"

Предуведомление

Нет, думаю, ни одного из могущих мыслить, которому бы не приходила когда-нибудь мысль: кто я? где я? откуда я пришел? что вижу я? и куда пойду? и подобная сему задачи. Но все мыслящие так, и желающие постигнуть и разрешить сию сокрытую от смертных тайну остаются по прежнему в глубоком о ней неведении.

После сего, осталось ли мне место писать на тот конец, чтобы другие читали? Намеренье мое состоит в том, чтоб писать сущую правду для собственного в настоящее и будущее время приведения на память прошедших моих лет и приключений; писать так, как пишутся дневные записки. Следовательно, писать небылицы или выдумки было бы то же самое, что обманывать самого себя. Во избежание сего и тон моей жизни и порядок в ней своего беспорядка основал я на пословице покойника моего деда: "мешай дело с бездельем — лучше, с ума не сойдешь".

Сродное однако ж человеку любочестие заставило меня примкнуть сию пословицу. Дабы блеснуть, что я мудрого деда внук…

§ I. Время от моего рождения до смерти отца моего, заключающее в себе пять лет

В бездне безначального времени, пред рассветом, уже был 20-й день марта 1752 г., по старому греко-российскому счислению, когда природа, по непременному своему закону, употребя орудием мою невинность, слабейшие и едва существующие члены и неведение, терзала утробу моей матери, и награда ее таким во мне подарком, которого цена известна, говорят, одним только матерям. Это значит: я родился. Все мои предки, коих глубокое начало покрыто неизвестностью, может быть потому, что они не охотники были писать собственных историй,

посвящаемы были на службу алтарю Господню. В сем священном звании нашел я в мире двух моих дедов и отца, из коих дед мой по отцу жительствовал от Москвы в расстоянии пятьсот верст, Севского уезда[167] в селе Радогоже[168], где я родился, а дед по матери (жил) того ж уезда в селе Неваре.

В 1756 году радогожский мой дед уехал в Москву для докончания тяжебного дела с соперниками своими, а в 1757 г. апреля 12 умер отец мой. Мать моя столько о нем сокрушалась, сколько недоброхоты нашего семейства радовались, потому что зло во все состояния вмешивается. А дед, известясь в Москве о потере сына, впал в горячку и едва за ним не последовал, и хотя отец мой был в таком состоянии, что не мог бы дать сыну своему лучшего счастия, нежели имел сам, однако ж то неоспоримо, что я остался сиротою, а мать моя вдовою, да сверх того, получил я в наследство шестой год от рождения и чувствительное сердце не по мере лет. Я и теперь[169] еще не забыл, как в одну пору в печальном размышлении уединился в сарай, и начал на свободе плакать подобно Исмаилу[170], о котором, правду сказать, я еще и не слыхивал. Мать, не видя сына дольше обыкновенного, по многим поискам нашед меня в сем положении, спросила о причине плача; я ответствовал: "мне скучно, что отец мой умер!". Она, схватив меня на руки, отвечала мне на это горькими слезами. Потом стала меня утешать обещанием, что мы поедем к деду неварскому, — т.е. к отцу ее, что и в самом деле исполнила, к чему не меньше принуждена была и притеснениями от недоброхотов радогожского моего деда и ее свекра.

§ II. Переселение к деду

По прибытии к деду неварскому, жили мы у него с матерью почти с год, следовательно, исполнилось мне шесть лет, а на седьмом велел мне дед положить три поклона в землю пред иконою и начал мне всту-

[167] Город Севск Орловской губ.

[168] По истории российской, писанной князем Щербатовым, Радогож был город, и в разные времена потерпел от набегов татар многие разорения. При одном из набегов, как говорит Царственная книга царя Ивана Васильевича и князь Щербатов, был в нем воевода Сынов (?). А в мои детские лета, были там, да не сомневаюсь и ныне еще суть, остатки земляной маленькой крепости, близ бывшего там, при реке Нерусе, Спасского монастыря; но Радогож принадлежал уже графу Петру Григорьевичу Чернышову по жене, которая была из роду Ушаковых, а от Чернышова достался, по наследству, одному из князей Голицыных (*Примеч. авт.*).

[169] Я сие пишу 1787 г. апреля 19; следовательно, мне теперь тридцать пять лет от роду (*Примеч. авт.*).

[170] Исмаил — библейский персонаж. Изгнанный из родного дома, он плакал в пустыне.

пление в науку азбуку, по которой доучил меня до "буки-аз-ба"[171]. Говорят, что "доброе начало — половина дела", и на сей-то половине кончил мой дед свой надо мной труд. Между тем радогожский дед прибыл из Москвы в Севский Спасский монастырь для докончания в оном по указу московской духовной консистории тяжебного его с своими неприятелями дела. Пишет туда письмо за письмом о присылке к нему внука его, в Севск, но неварский не находит надобности отяготить себя нарочною подводою; таки образом, жребий мой между двух дедов колебался не малое время, наконец, после светлого праздника десятая пятница решила быть мне у радогожского деда, ибо в день оный бывает в Севске ярмарка, на которую неварский дед послал племянника своего Степана для покупки сухой донской рыбы, называемой тарань, которая потребна ему была для постных дней на покос. При сей оказии я и отправился, благодаря деда, десятую пятницу и сухую тарань.

§ III. Переселение от одного деда к другому

Радогожский дед, увидев меня, схватил на руки с несказанным восхищением, и, прижимая к груди поминутно, называл меня оставленного ему от Бога на утешение отраслью и другими именами, какие влагала ему в уста сердечная горячность. Все сие меня оживляло, а течение целой жизни дало мне отжить и беспримерно-нежную ко мне любовь моего деда, и [убедиться], что чувствительность во мне открылась очень рано, и даже всегда предшествовала моему рассудку, сколько и ни работал, чтоб она уступала ему первенство. Истина стиха славного Лафонтена[172] владеет мною и теперь во всей силе:

Мы вечно тем, чем нам быть в свете суждено:
Гони природу в дверь, она влетит в окно.

Отскочивши от матери, возвращаюсь к ней. Дед дал мне, доставши от монастырских маларей[173], несколько деревянных, выточенных и посребренных яиц. Они мне в ту пору приятнее были вылитых из золота и серебра. Он обнадеживал меня довести до той премудрости, что буду я уметь читать и писать. Время доказало, что он не солгал. Достигши под юной возраст, мог я видеть, что он был по натуре боек, памятлив, понятен, горяч, предприимчив, неустрашим в злоключениях и терпе-

[171] "Буки-аз-ба" — обучение по буквослагательному методу. Первые буквы алфавита "буки" (б) и "аз" (а) вместе дают слог "ба". Добрынин хочет сказать, что учение не сдвинулось с его первых шагов.

[172] Лафонтен Жан де (1621—1695) — французский баснописец.

[173] Живописцев.

лив в горестях, которых ему в его жизни не недоставало. Долговременные по присутственным местам иски правосудия против злодейских и разбойнических на него нападений послужили ему к знанию в судоведении, и если б к природным его способностям доставало ему воспитания, которым тогда в России и богачи не все могли пользоваться, то был бы он человек со способностями к делам государственным. А посему не удивительно, что многие люди бывают не тем, чем бы они быть могли, если бы им доставало способов к воспитанию и содержанию себя. Я не оспориваю мнения многих, "что бедность есть мать наук и других полезных изобретений"; но сколько сия мать породила невежества и зла, сколько погасила дарований и добродетелей в самом их зародыше, на это еще никто не сделал выкладки. Равно как неоспоримо и то, что достаток не меньше может колебать всеобщее и частное спокойствие смертных в краткой их жизни, когда к нему недостает воспитания, или, при воспитании, нравственности. Склонность и нужда познакомили его отчасти с рукоделиями: токарным, столярным, портным и книго-переплетным. Он ни в одном не был совершен, потому что никотрому не учился, но все знал и занимался для пользы собственной и для услуги другим. Между тем, пока отроческие мои при нем лета протекали, время отдохновения — сидя в летний особливо вечер под деревом подле жилья — сопровождал он любимою своею песнию, которой я поныне не забыл, потому что и сам эту, по понуждению его, иногда подтягивал. Она следует под сим:

Ах! Как трудно человеку
Жить без счастья в младом веку,
Печаль тяжко сокрушает.
Сердце в скорбях всегда тает.
Ах, младые мои лета!
Что дражайши всяка цвета!
В несчастии уплывают,
Дряхлу старость ожидают;
Когда ж пройдет цвет младости,
Не чаешь быть уж в радости.
С весны зима неприятна,
Ах! Жизнь наша так превратна!
В старом веке нет покою,
Только болезни с бедою;
Тогда счастье хоть бы было.
Уж в старости не так мило!
Счастье, где ты пребываешь?
Или с зверьми обитаешь?
Перестань счастье с зверьми жити
Прийди бедну послужити.

Сих старинных стихов смысл открывает то, что у него было на сердце. Он по чувствам своим выбрал или случайно напал на такую песню, которая сходствовала с его жребием в жизни. Но не прерывая боле собственной истории, скажу, что я, под опекою моего деда живя в сем подгородном монастыре почти три года, выучился не только читать, но и писцом уже у монахов прослыл. Архимандрит, будучи доволен чтением и пением моим в церкви, подарил мне с себя полукафтанье зеленой китайки[174], стеганое на бумаге, которое хотя мне и перешили, однако ж я много в нем похож был на самого архимандрита.

Сей архимандрит именовался Иннокентий Григорович. Он сделан архимандритом из казначеев Троицкой Сергиевской лавры в Севске, а из сего вскоре переведен в Серпуховской Высокой монастырь, а пока еще другой на место его не прибыл, управлял монастырем казначей, отец Савва Требартенский.

Во время сего междовластия начала братия по силе допускаемых в монастырях обыкновений стомаха ради[175] испивати. В таких упражнениях случилось в один вечер старому монаху Илиодору поссориться с моим дедом. После сего дед, повидимому не думая много о пустой ссоре, лег спать, а меня положил подле себя. Но чернец[176] не был столько забывчив. Он, когда погасили свечу и все позаснули, взял из дров полено и пришел на сонного моего деда с намерением в потемках его поколотить: но вместо деда потрафил с первого удара по внуку. Я вскричал без памяти; а дед, не понимая причины моего вопля, насилу добился от меня, что я ударен. Тогда дед мой, не сомневаясь, что сей невидимый удар есть действие человеколюбия непамятозлобного чернца, пошел тотчас к казначею. Разбудя его, объявил причину своего прихода и просил, чтоб сие дело рассмотрено было сей же час на месте преступления. Вследствие чего казначей учреждает комиссию из собственной персоны и берет к себе в асессоры монастырского Варфоломея. Приходят они в нашу келью со светильниками. Допрашивают чернца, чернец чинит запирательство. Дед настоит, чтоб черноризца допрашивать под пристрастием[177], яко по делу уголовному, или он "то

[174] Хлопчатобумажная ткань.

[175] В монастырях употребляемые слова: "выпить стомаха ради". Стомах есть слово греческое, значит желудок, а монахи, уповательно, взяли сей полезный для себя текст — из святого Павла, который в послании своем говорит Тимофею: "не пий воды, но мало вина приемли, стомаха ради твоего и частых твоих недугов" (Тим. 5, 23) (*Примеч. авт.*).

[176] Чернец, черноризец — монах.

[177] Слово "пристрастие", происходящее от слова "страх", значило в те времена на правном, или юридическом, языке "правду открыть посредством истязания телес-

сделает, что завтрашний день и судимый и судьи забраны будут в Севскую провинциальную канцелярию". Судьи сим выговоренным изо всей мочи словом приведены были в страх и замешательство, тем боле, что ключник (был) безграмотный, а казначей снаравливал моему деду за сочинение приходных и расходных книг. Они отдают чернца деду головою; чернец, сколько ни был прост, понял, что нет ничего хуже как быть судиму обиженным судьею, признается в своем злодеянии и падает деду в ноги. Дед настоит, чтоб виноватый был наказан по крайней мере, ежели не больше, трапезными четками, с медленным прочтением трех раз покаянного Давыдова пятьдесятого псалма по силе монастырского устава. Чернец просит пощады и во избежание большого зла просит наложить на себя цепь. Дед, по многим прениям, остановился на одном, чтоб, по наложении на монаха цепи, посадить его в пустую башню на целую седмицу под запрещением вкушения вина и елея, что тогда же и учинено. Таким образом кончилось действие, после которого монах Илиодор, хотя уже никогда никого не искал по ночам бить, однако ж часто мне снился с поленом в руках.

Вскоре потом прибыл из Москвы в монастырь полный начальник, архимандрит Пахомий, муж старый до дряхлости, в подагре. Не успел еще он осмотреться, как уж братия и вознегодовала на него за нарушение прежних монастырских обыкновений. [...]

Архимандрит испросил от московского митрополита Тимофея повеление о переведении его (деда) тяжебным делом в Николаевский Столбовский монастырь, отстоящий от Севска на 50 верст, куда и я последовал за дедом, 1762 года, на страстной неделе.

§ IV. Пребывание мое в Столбовском монастыре

По прибытии моем в Столбовский монастырь, отстоящий от Радогожа верст на 7, тамошний архимандрит Варлаам Маевский, снисходя на просьбу моего деда уволить его на житье в подсудственную сему монастырю Радогожскую пустынь[178], отстоящую от дому деда моего, следственно, и от дому моего рождения, на одну версту, а меня оставил у себя яко почетную особу в достоинстве аманата[179], в самом же деле для того, что мой дышкант[180] ему понравился. [...] По порядку течения времени должен я себе припомнить, что мать моя, жившая поныне у

ного". А ныне на диалекте новейших времен "пристрастие" значит: "правду затмить посредством монополии, или интересов" (*Примеч. авт.*).

[178] Так назывались в России малые монастыри, а особливо где нет архимандрита или игумна, а начальство в них иеромонахи, титулуемые "строительми" (*Примеч. авт.*).

[179] Заложника.

[180] Дискант.

своего отца, а моего деда, избрала для себя сего 1762-го года, августа 31 д[ня], блаженное жилище в Севском женском монастыре с намерением принятия монашества. Припомнивши о сем, возвращаюсь к Столбовскому монастырю.

У столбовского архимандрита единолетное мое пребывание ничего в себе важного и достойного сведения всему миру не заключает, кроме что иногда меня монахи запрашивали в свои кельи и внушали желание, чтобы я от юных лет старался возлюбить добродетель и удостоился получения ангельского чина (так они свой называли), между тем один нечаянный случай произвел в них обо мне худое мнение. Во время вечернего в церкви моления, в небытность в оной архимандрита, — поелику он начальник, — один из черноризцев, отец Арсений, соскочил с левого клироса, поднял свою мантию, схватил ее в один узел, прижал к самой груди и начал по церкви прыгать как обезьяна. Он был пьян. Но мне показалось очень забавно. Я чувствовал, что он тем искрасил всю нашу вечерню, и мне казалось, что если я сие действие перескажу архимандриту, то он заставит отца Арсения еще так же попрыгать для забавы; но совсем противное вышло моему ожиданию. Он послал о[тца] Арсения на неделю в хлебню (монастырская поварня) дрова рубить, воду носить, муку сеять и проч. За сие все черноризцы меня возненавидели, как будто все они в заговоре были прыгать по церкви, а архимандрит полюбил [меня] больше прежнего, и, неоднократно заставляя меня представлять действие прыгающего чернца, смеялся со всех сил и прихлопывал в ладони.

До окончания еще года архимандрит переведен на ваканцию в Калугу; а Столбовский монастырь велено приуготовить к обращению в приходскую церковь, с прочими, уничтожаемыми тогда по всей Великой России, — кроме Малой России, — монастырями, а я

§ V. ...из Столбовского монастыря очутился в Радогожской пустыни

Отправился к моему деду в Радогожскую пустынь, где прожил года три с лишком, посвящая все время на должность в церкви чтеца и певца и, пользуясь праздностью, перебегал из монастыря в Радогож домой, а из дому обратно в монастырь. Иногда же отъезжал в столбовское духовное правление для помочи тамошнему канцеляристу писать духовные ведомости о бывших и небывших у исповеди, отправляемые каждогодно в Московскую консисторию, и притом учился у находящегося в Радогожской пустыни монаха Онуфрия петь "по ноте". Понятно, что наука сия не делает ни дельцом штатским, ни служивым в поле, ни ученым, ни ремесленником и не заключает в себе нравственности; но я

после видал многих, учившихся в классах, пансионах и проч. — видел даже самых учителей и чувствовал побуждение к подозрению, что они писали духовные ведомости и учились у монаха Онуфрия петь по ноте.

В течение сего времени учреждена в Севске епархия, почему и прежнее мое обиталище, Севский Спасский монастырь преобразован в дом архиерейский, а Радогожская пустынь с другими многими монастырями, давно уже назначенными к уничтожению, уничтожена. Куда же мне деваться?

В 1765-м году повез меня дед в Севск с намерением пристроить меня там в консисторию[181], но консистории секретарь Зверев отвечал, что консистория уже укомплектована. Надобно вновь искать предмета должностного или училищного.

Народных училищ тогда не было в России; из семинарий самая ближняя в пятистах верстах, то есть в Москве. Да и оные тем только хороши, что лучше их не было. А университеты и гимназии не для нас, да правду сказать, мы с дедом ни о чем этаком, чего нет, и помышлять не могли. А пишу о сем в настоящем времени для того только, чтоб дать место рассуждению, каковы у нас были времена для наставления и просвещения юношества, и припомнить самому для себя, что непостижимая смертному судьба печется о нем, как мать о младенце, непонимающем того, что его берегут. Но пока сия мать воздействует с большею матернею силою, ходил я каждодневно по желанию моего деда в домовую вотчинную[182] графа Петра Григ. Чернышова контору для усовершенствования себя в писании. Конторы сей образование было в надлежащем порядке, а именно: вотчинный управитель, капитан Як. Иван. Макрушин, приказчик и бурмистр, были присутствующие члены; земский писарь — в качестве секретаря. Прочие рядовые приказные были как и все, кроме управителя, — из собственных его домовых людей.

Контора состояла из двух чистых горниц и разделялась на столы или на повытьи. Судейский стол в первом месте горницы, за перилами, покрыт красным сукном. На нем Уложение царя Алексея Михайловича[183], также повеления и формы графские о управлении вотчиною. Стены конторы уставлены изображениями царской фамилии в эстампах, и (тут же) генеральная всей вотчины ландкарта. Напротив конторы чрез большие сени кладовая для хранения государственных денежных сборов и караульня с ком-

---

[181] Консистория — церковное ведомство, которому подчинялись провинциальные монастыри и церкви.

[182] Домовая вотчинная контора — контора по управлению землями и крестьянами помещика.

[183] Свод законов 1649 г.

плексом сторожей и рассыльщиков, и в особом отделении архив. По возрасте моем уверился я из опыта, что порядок по всякой части между большими боярами исключительно принадлежал роду графов Чернышовых и графа Шереметева. Итак, продолжая усовершенствование своих талантов в сей академии, не знающий правописания, поехал я в 1766-м году (видимо, речь идет о 1765 г. — *О.К.*) мая 8-го с дедом моим в уничтоженный уже, однако ж не совсем еще разоренный, Столбовский монастырь к Николаеву дню на ярмарку. — Знав тамошние во время сего праздника обыкновения, не пропустил я для себя полезного случая. Схватил в канцелярии духовного правления чернильницу и бумагу и побежал в церковь и стал к окну. Горячие богомольцы, коими набита была церковь и кои, нанимая священномонахов, остававшихся еще там до некоторого времени, отправляли непрерывные молебны, начали ко мне подходить, прося о написании имен их на карточках к подаче священнослужителю, приносящему за них молитвы. Я принялся охотно содействовать горячему усердию одних и других за добровольную плату. И как проходя сию должность несколько часов, почувствовал в кармане плод моего труда, состоящий в нескольких гривнах, то усугубил мою ревность к услугам богомольцев и возвысил цену, что, однако ж, горячих богомольческих сердец не могло отвратить от исполнения их добрых намерений, хотя иные и сморщившись мне платили; а я, не рассуждая о грехе, хотя и в монастырях живал, брал спокойно деньги до тех пор, как уже увидел, что время пробежало к вечеру на куртаг, в карете заложенной бесчисленными минутами, в препровождении неисчетного числа жребиев человеческих, кои все меж собою столько ж различествовали, как и человеки, — кроме самого времени, которое сидело столь важно и постоянно, что, переменяя непременно и беспрерывно все, само, казалось, презирало перемену. Сие явление обольстило меня, как смертного; почему бросился я вслед за ним к вечеру; но оно, повернувшись там на скользкой и незыблемой своей ноге, мгновенно поскакало в бездну самого себя, оставя мне одну мечту, да те 60 копеек, которые собрал я с богомольцев и которые, за вычетом на фунт чернослива, отдал все без исключения любезному моему радогожскому деду.

§ VI. Действие судьбы

По возвращении нашем из Столбова домой, объявил деду моему управляющий вотчиною графа Петра Григорьевича Чернышова, коллежский секретарь Яков, повеление Севского архиерея Тихона Якубовского, полученное им в бытность его у сего преосвященного на поклоне, чтобы дед представил меня к нему, поелику он от многих уже обо мне извещен, в том числе и от управителя, и что я, по общему гласу и мнению, должен принадлежать к штату архиерейскому.

Такая весть тешила мое честолюбие, ибо в чувствительных честолюбие открывается очень рано. — Я мечтал, не знаю почему, что мне надлежит быть при архиерее не последним лицом; к сему увеличивала еще мою мечту и знакомость прежнего моего жилища.

Но дивиться надобно силе привычки! Я желал быть при доме архиерейском, предузнавал или предчувствовал будущую пользу, и не хотел расстаться с настоящею жизнию, с которою расставаясь, грустил и плакал сильно, воображая, что должен быть под правилами или наукою, которые мне еще неизвестны и которые стесняют природу. Мудрено ли, что простые девки, а иногда и благородные, плачучи идут замуж!

Дед мой, внимая пастырскому гласу, дошедшему к нему хотя и не по команде, повез меня в Севск, где, лишь только вошли мы в ограду прежнего моего обиталища, встретился нам сам архиерей с немалою ассистенциею. Я хотя и не видывал до тех пор архиереев, однако не сомневался, что с такою пышностию нельзя быть лицу простого монаха. Но дед мой, будучи в сомнении, подошед спрашивал самого архиерея: в какую можно пору удостоиться нам видеть своего архипастыря? — Архиерей, приметя замешательство, улыбнулся и отвечал, чтоб дед мой завтра в 9-м часу поутру пришел к архиерею в переднюю и велел о себе доложить.

Тот старый монах Илиодор, который ударил меня ночью сонного поленом, был тогда уже иеромонахом и архиерейским духовником и видел из окна своей кельи нашу незнакомую с архиереем аудиенцию: после которой запросил он нас к себе, весьма смиренно принял, уведомил нас, что мы видели архиерея, и обещал свою помощь, если бы она в каком случае понадобилась.

На завтрашний день, по заплате келейному[184] десяти копеек, допущены мы были к его преосвященству. Он сидел на вызолоченных деревянных креслах, в гарнитуровой темновишневого цвета рясе, и в штофном зеленого цвета подряснике. Панагия[185] на нем висела не очень блестящая, кругленькой фигуры величиною с медный пятак.

Сему православия столпу мы благоговейно поклонились в ноги, а он тихим голосом сказал: "А! Это тот мальчик, о котором говорили мне многие; для чего ты давно его ко мне не привел? Я его назначил в певчие". Имя певчего поразило меня как громом: мрак покрыл чело мое, как грозная туча, и слезы покатились дождем. Архиерей, приметя во мне сырую погоду с метелицею, подозвал меня к себе поближе,

[184] Монастырскому слуге у архиерея в келье.

[185] Небольшая овальная икона с изображением Христа или Богородицы, составляющая необходимый компонент облачения высших церковных иерархов.

спросил о причине плача; мой ответ был, что "я ноты не учился" — смалчивая плутовато о монахе Онуфрие — "почему и певчим быть не гожусь". "А мне бы хотелось быть, — продолжал я чистосердечно, — в консистории при пере". Тогда архиерей приказал мне на столике, стоявшем по правую его руку, написать на чистой бумаге, диктуя мне сам: "Премудрости наставник, и смысла податель, Слово отчее, Христос Бог".

— "Ты пишешь не худо, — сказал мне преосвященный. — Надобно теперь поучиться тому, чего мы не знаем. У меня и секретарь знает ноту, и сам я по ноте петь умею: ты, обучившись партесу ноте, можешь со временем также быть, — примолвил он с улыбкою, — консисторским у меня секретарем". Потом приказано мне с дишкантистым певчим запеть для пробы кант[186], — сочинения св. Димитрия: "Иисусе мой прелюбезный, сердцу сладосте" и проч., в котором, хотя я и старался слукавить моим голосом, — ибо партес[187] меня тревожил, и я думал, что такой премудрости немногие достигают, — однако ж, несмотря на мою осторожность, его преосвященство, призвав из консистории канцеляриста Андрея Михайлова, велел ему написать от имени моего прошение об определении меня куда его преосвященство заблагорассудит, и с тем нас отпустил в консисторию.

На другой день последовала на прошении резолюция: "Регенту, преподобному отцу Палладию, обучать подателя прошения партесу, имея его в особенном своем надзирании и попечении". — Это случилось, если память меня не обманывает, мая 16 дня, того (1765-го) года.

С сим жестоким для меня декретом, — ибо я не желал быть певчим, — отведены мы к отцу Палладию, у которого первому нашему взгляду представилась на столе большая бутыль с настоенною на трифолии хлебною водкою[188].

В сем архиерейском доме прожил я одиннадцать лет и один с половиною месяц, в течение которого что со мною случилось, означу я следующим порядком.

§ VII. Начало жизни моей в Севском архиерейском доме

Архиерей Тихон Якубовский был по своему сану особа важная, без спеси. Особа в поведении препорядочная, постоянная и по всему об-

[186] Церковное песнопение.

[187] Партес (или партесы, мн.) — ноты, партитура хорового произведения, составленная по западноевропейской гармонической системе. Партесное пение появилось в России во второй половине XVII в.

[188] Трефолиум, по-российски, трава горькая, растет по местам болотным. Она очень полезна людям скорбутным-цынготным. Мне она известна стала от тех пор, как я для отца Палладия ее собирывал и вялил в тени. Ботаники, аптекари и медики знают ее прежде, нежели я знал отца Палладия (*Примеч. авт.*).

разцовая. Всякой день он в обедне, а утреня и вечерня обыкновенно бывали у него в зале, называемой в домах архиерейских: "крестовая келья". Следственно, рано вставать на утреню и потом быть готовым к обедне с концертом и напоследок в крестовую к вечерне, было вседневною и непеременною обязанностию капелии[189].

После утрени, почти каждодневно, выходил преосвященный из внутренних покоев в крестовую. Дав общее всем осенение и принявши, по уставу греко-восточному, от хора певчих песенное поздравление на греческом языке: "ис полла ети деспота", т.е. "на многая лета владыко", — давал каждому благословение. Останавливался на несколько минут, вел обыкновенный разговор, а иногда вмешивал правонаучение, какое придется по случаю разговора. Он, бывши в Кенигсберге — будучи уже духовным — при миссии, также в С.-Петербурге, не помню в котором кадетском корпусе, учителем закона, был просвещеннее, нежели обыкновенный, учившийся и учивший других в семинарии учитель или проповедник.

В одну пору архиерей, по обыкновению своему вышед после утрени к нам в крестовую и дав каждому свое благословение, спросил отца Паллада о успехе моем в партесе. Услыша ответ, что я понимаю очень хорошо, приказал сделать для меня шинель зеленого тонкого сукна, не в пример прочим. Все певчие, особливо те, которые были ближе ко мне летами, завидуя моей шинели и зная, что я в обществе их быть не имел охоты, прозвали меня секретарем. Но как эти насмешки меня не беспокоили, следственно, и намеренье их раздосадовать меня оставалось без успеха, то присовокупили другие две. Они упрекали меня тем, что я не ношу на шее креста и на рубашке пояса. Это довольно доказывает, каким невежеством омрачалось утро моей жизни.

При начале осени отправился преосвященный, по долгу звания апостольского, для посещения христиан своей епархии, обитающих в городах: Трубчевск, Брянск и Карачев. По приезде в каждый отправлено было в церквах священнослужение с надлежащим сану архиерейскому величием. Везде простой народ теснился видеть святителя, а духовные и дворяне угощали преосвященного с приличным уважением.

В сем небольшом путешествии хотя должность моя состояла в том, чтобы смотреть безочередно за партесными книгами, поелику я по службе был всех моложе, и раздавать их по рукам певчим, когда надобно было петь концерт, оставляя при себе книгу своего голоса, и хранить их, однако ж в награду того, не малое количество в одной точке людей, переменные предметы невиданных мест, достаток в столо-

[189] Церковного хора.

вом содержании, свобода и неподверженность строгим отчетам за такие важные дела, каких по духовной службе совсем нет, произвели во мне чувствительное удовольствие, да и были, могу сказать, бóльшим для меня образованием, нежели как кто никуда не выезжал из места, в котором родился, или кто, выехавши в чужие края, предоставлял вместо себя замечание всего хорошего своим слугам, а сам занимался героическим подвигом — псовою охотой, наилучшим в природе даром — любовницами, способом к поощрению ума, к приобщению знакомства и друзей — картами.

Карачевского уезда в Полбинской пустыни, назначенной тогда к уничтожению, разладился несколько наш порядок и возмутился покой. Учитель и опекун мой о[тец] Палладий, имея по-видимому врожденную любовь под именем золотой вольности к самоволию, скрылся неведомо куда. Вскоре узнали, что в ту же пору убежал из Севского архиерейского дома эконом, иеромонах Арсений. Единовременное их из разных мест бегство не без основания приписывали тайному их согласию; и как сие случилось в начале октября, то слышно было, или догадывались, что они, подражая нежным птицам небесным, слетели против зимы в теплые Волохские края[190]. [...]

Мы выехали из Столбова. Путь нам лежал чрез Радогож, место моего рождения. Там заночевал преосвященный в городском доме, принадлежащем графу Петру Григорьевичу Чернышову. Я виделся с моим дедом и со всеми знакомыми. Но мне, особливо при пасмурной осенней погоде, показалось уже там все скучным и неприятным, как ребенку грудь, от которой он уже давно отнят. Спасской Радогожской пустыни, частого моего место пребывания, уже не было. Она по уничтожении распродана, а церковь, по повелению преосвященного, перевезена в село, принадлежавшее прежде Севскому Спасскому монастырю, обращенному в дом архиерейский. Оставшиеся кучи щебня, глины, знаки мест, где было строение, охранявшее некогда и мои еще хрящевые составы, действовали сильно на мою чувствительность. Итак, от Столбова до Радогожа и Радогожской пустыни все для меня было покрыто душевным мраком.

По приезде в Севск я уже не имел над собою особого инспектора после отца Палладия; я почувствовал новую пользу свободы. Он был человек с латинью; до побега еще своего он успел меня обрекомендовать ученым домовым и другим чиновникам, ЯКО ТО: катихизатору,

[190] В те времена российское монашество находило для себя приятное убежище или праздную и независимую жизнь в Валахском и Молдавском княжествах (*Примеч. авт.*).

экзаминатору, казначею, консисторским членам, ризничему и проч., которые, полюбя меня, не пропускали иногда внушать преосвященству, что я малой добрый и добрым моим поведением отличаюсь от всех тех, которые хуже меня. Говорят, что мнение людей о человеке производит в мир великие шалости: оно делает нестоящего счастия — счастливым, дурака — умным, умного — дураком. Следственно, мнение и жребий суть одно и тоже. Вследствие сего преосвященный приказал мне из певческой перейти жить к казначею для помощи казначейскому приказному, — и притом поручено мне было "прописание" поповских и дьяконовских печатных грамот[191], кои доставляли мне годового дохода около шестидесяти рублей, без лишения меня и певческих прибылей с титулом того звания. Сим отличием имел я причину быть довольным; к тому же цветущий век, при свободе и вольности, натурально многого не желал и ни какими дальновидностьми или предведениями, часто пустыми, однако ж свойственными людям, вошедшим в зрелый возраст, — меня не беспокоил. [...]

Публ. по: Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина, им самим описанная в Могилеве и Витебске // Русская старина. 1871. № 2—10; отд. изд.: СПб, 1872.

ХВОСТОВ Василий Семенович (1754—ум. после 1832)

Происходил из мелкопоместных дворян. Учился в Санкт-Петербургской гимназии при Академии наук с 1765 по 1772 г. После ее окончания служил секретарем у гр. Г.Г. Орлова, был вхож в его семейный круг. По отъезде гр. Орлова за границу был некоторое время аудитором (делопроизводителем по судебным делам) в канцелярии. В 1779 г. в чине капитана армии был причислен в конную роту колыванского горного батальона, охранявшего заводы и рудники. Жил в Барнауле в доме начальника колыванских заводов Б.И. Меллера. Женился на его дочери. Увлекался минералогией, составил минералогический кабинет из 3 тыс. экспонатов, позднее проданных кн. Е.Р. Дашковой для Академии наук. В 1788 г., похоронив детей, переехал жить в имение Нежово. В 1793 г. отправился в Константинополь в качестве кавалера посольства, возглавляемого М.И. Кутузовым. Во время этой миссии был произведен в коллежские советники. В 1795 г. получил чин статского советника, в этот же год

[191] В сих грамотах вписывается на порожних местах, оставленных между печатными строками, имя новопоставленного попа или дьякона, також — куда? к какой церкви? когда посвящен? и проч. И напоследок в начале грамоты надписывает ее сам архиерей по форме: "Божею милостию... смиренный N... епископ" или митрополит и проч. (*Примеч. авт.*).

умерла жена В.С. Хвостова, оставив его с единственным сыном. С 1796 по 1799 г. — дворянский предводитель Гдовского уезда. В 1803 г. — губернатор г. Томска, действительный статский советник. Хвостовым был написан проект реформы об управлении Сибири. В 1808 г. получил отставку, был отдан под суд за злоупотребления, но в 1814 г. оправдан за несостоятельностью обвинений.

Самоназвание записок В.С. Хвостова — "Описание жизни тайного советника, сенатора и кавалера Василия Хвостова, писано в 1832 году, самим им для детей своих".

"ОПИСАНИЕ ЖИЗНИ ТАЙНОГО СОВЕТНИКА..."

Я родился в 1754 году, декабря 24 ч[исла]. Родители мои были из весьма посредственного дворянства, как состоянием имения в Гдовском уезде, с небольшим изо ста душ крестьян, так и чином; ибо отец мой был отставной секунд-майор, Семен Васильевич; мать же из дворянок Галицкого уезда, Дарья Ивановна, из рода Головцыных.

Нас было у них три сына: старший Александр[192], умерший на 67-м году, был тайным советником и управляющим государственным банком для дворянства, и меньший Яков, вышедший в отставку шихтмейстером[193] и умерший на 48-м году.

Отец наш, служивший в Тобольском пехотном полку, вместе с двумя своими братьями, Степаном и Андреем, отправясь в поход в Семилетнюю тогда с прусаками войну, оставил нас: старшего при матери, меня отдал старушке, своей матери, богомольной, совершенно христианской нравственности, параличем разбитой; а меньшего отвезла мать в Галич и оставила у своих родителей.

Описывать моего детства воспитание я не стану; оно было таково, что для ума ничего не было употреблено, и даже самой грамоте учителем был пономарь. В глуши деревенской жизни, при обращении с холопами, немудрено бы было испортить сердце ребенка; но Провидение спасло меня.

По окончании Прусской войны отец наш, вышедши в отставку, приехал в свою усадьбу и собрал рассеянное свое семейство, но увидев недостаток и упущение в первоначальном воспитании нашем, выписал из Петербурга немца учителя за 300 руб., что по тогдашнему весьма небогатому состоянию не легко было. Но родительскому об нас попечению не соответствовал успех, ибо принужден был в оставшийся учителю часовой срок употреблять его вместо старосты за присмотром работ крестьянских; он же, чтоб не упустить должности своей, брал нас на гумно и, пока хлеб молотили, задавал нам урок, страницы по две из Немецкого лексикона. Таковое учение печалило родителей наших, не имевших возможности доставить нам лучших средств; но судьба помогла им.

[192] Известный стихотворец.

[193] Чин офицерского ранга по Горному ведомству.

Отец наш случайно съехался с старинным своим приятелем, дворянином Псковской губернии, г-м Алексеевым, у которого был сын одних с нами лет, заботившимся также о его воспитании, приличном и сообразном его достаточному состоянию. Он предложил отцу моему поручить ему нас троих с тем, что, имея уже способного и доброго учителя француза, составить у себя пансион, пригласив еще двух соседов, имевших также по одному сыну. Отец мой принял сие приятельское предложение с благодарностию, и мы, три чада, воспользовались и порядочным учением и пристойным воспитанием. По протечении сих трех лет отец мой взял нас к себе, дабы отвезти в Петербург и там стараться воспользоваться казенными заведениями для детей дворянства. Он нашел в столице родственника матери моей, известного при восшествии на престол императрицы Екатерины Второй, генерал-майора Степана Васильевича Перфилова, весьма дружного с гг. Орловыми. Его представительством граф Владимир Григорьевич Орлов, быв тогда президентом Академии наук, принял нас в гимназию и благодарил отца нашего за доверенность к нему, что он первый дворянин, который отдает детей своих в гимназию, тогда как оная назначаема была для одних только разночинцев. Самолюбие отца нашего пыталось иметь хотя одного из трех сыновей человека ученого. Старший из нас имел способности достигнуть быть ученым человеком. Родительское попечение заставило отца нашего определиться в гимназию экономом. Шестьдесят воспитанников, 30 большего и 30 меньшего возраста, не подвергали его подозрению, чтоб он делал сие из видов корысти. Цель его была, чтоб, живши в одном с нами доме, иметь нас под глазами. Мы поступили в гимназию в 1765 году, но в 1770 году лишились отца и матери. Меньший брат отца нашего, служивший тогда в Петербурге, оставался нашим покровителем, но в следующем 1771 году умер. Дядя наш, Степан Васильевич, оставя жизнь деревенскую, прибыл к нам и заступил место отца. В 1772 году выпущены мы были из гимназии студентами. [...]

Публ. по: Записки В.С. Хвостова // Русский архив. 1870. Кн. 1. Вып. 3.

ЛАБЗИНА Анна Евдокимовна (1758—1828)

Родилась в семье чиновника горного ведомства Е.Я. Яковлева. Вскоре после рождения дочери отец умер. В 13 лет Анна была выдана замуж за А.М. Карамышева, воспитанника Е.Я. Яковлева, высокообразованного специалиста в области горного дела. Брак был

неудачным. Карамышев вел свободный образ жизни, не считаясь со вкусами и желаниями жены, которые весьма отличались от его собственных. В 1794 г., после смерти первого мужа, Анна Евдокимовна вышла замуж за А.Ф. Лабзина, вице-президента Академии художеств, активно действовавшего члена масонской ложи. Жена была его помощницей и сторонницей, как и он, фанатично предавалась религиозно-философским изысканиям. В 1722 г., когда начались гонения на масонство, А.Ф. Лабзин был сослан в Симбирскую губернию. Его жена разделила с ним все тяготы изгнания.

Воспоминания написаны в 1810 г., в благополучный период жизни А.Е. Лабзиной. Она описала в них детские годы и свою тяжелую жизнь в начальный период замужества. Рукопись осталась незавершенной.

"ОПИСАНИЕ ЖИЗНИ ОДНОЙ БЛАГОРОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ"

Опишу всю жизнь, сколько могу вспомнить[194]. Я осталась от отца моего пяти лет, следовательно, почти и не помню его. Имела я двух

[194] Начало воспоминаний А.Е. Лабзиной имело еще одну редакцию: «Я родилась от честных и благородных родителей. Рождение мое принесло великую радость моим родителям: у них хотя и были до меня дети, но живых не было; я — первая, которая жизнью своей делала удовольствие, а сколько молитв приносили к Богу, чтоб Он оставил им меня на утешение! И я была для них очень драгоценна; родители праздновали день моего рождения не балами и обедами, а подаянием нищим и помощию всем бедным и делали по три дня обеды для нищих. И сам отец мой им служил, сам ходил по тюрьмам и разносил им нужное, и которые содержались за долги, тех выкупал, взял двух сирот на воспитание. Вот чем ознаменовал почтенный мой родитель мое рождение! После меня еще было два брата, но родитель мой меня более любил, говоря, что это первый дар от Господа и "ее рождение мне дало новую жизнь и новое чувство, и другие дети — дары Господа моего на старости лет моих, данные мне, но дочь мне любезнее, и я на нее призываю милосердие Отца Небесного, чтоб Он устроял ее благо и утверждал в добродетелях и дал бы ей кроткое и смиренное сердце и любовь в ближним, а паче — к бедным".

Недолго я пользовалась счастием и любовию родителя моего… Лишь только минуло мне пять лет — смерть похитила сего благодетельного отца и друга бедных. Брат мой остался один двух лет, а другой десяти месяцев. Мать моя потеряла с ним все свое счастие и спокойствие. Она осталась от него тридцати одного года, а отец мой скончался на семьдесят третьем году, бывши болен только восемь дней. До сей болезни он не знал никаких болезней и вкусу в лекарствах не знал, и мать моя тоже была крепкого и здорового сложения, и болезни ее были только, когда она была беременна и родила. Жизнь их была самая счастливая. И Бог их во всем благословлял. Любимы они были всеми, имели друзей верных, родственников добрых, в доме — видимое благословение было Божие. Не было ни одного человека ни вора, ни пьяницы и не было распутных женщин, и все рабы любили своих господ, как дети отца, и были верны. И смерть такого доброго и благодетельного друга, отца и мужа оставила горесть несказанную, как в друзьях его, а в семействе — отчаяние. При смерти своей, чувствуя ее приближение, позвал мою няню, которую любил, да она

братьев еще меньше меня: меньшого я страшно любила, а большого не так — по его жесткому характеру. Мать моя, оставшись от отца моего на тридцать втором году и любя его страстно, была в отчаянии, потерявши его. И сколько она роптала на Бога в своей горести — это она сама сказывала, — и наконец до того отчаяние ее довело, что ей стало мечтать, и отец мой ей стал являться и сказал ей, чтоб она ни под каким видом из деревни не выезжала и никого к себе не пускала, даже и детей, а иначе он к ней ходить перестанет. Она все ему обещала и лежала в комнате с закрытыми окошками и все разговаривала с ним и была в удовольствии, забыла совсем о нас и не думала, есть ли у нее дети. И мы тогда были у тетки на руках, которая за нами смотрела; и долго не примечали ужасного состояния матери моей и считали, что она в бреду. Наконец стала примечать моя няня и подозревать, что она никого к себе не впускает и просит всех, чтоб ее оставили одну, "а что мне будет надо, то я позову". Наконец она стала прислушиваться у дверей и услышала разговор, даже имя отца моего услышала, как мать моя его кликала и садила подле себя и говорила: "Ты меня никогда не оставишь? Я для тебя все оставила, даже и детей", но его ответу не было слышно. Узнавши, моя няня в ужасе пришла к тетке моей и рассказала. Она, не поверя ей, сама пошла и уверилась в правде. Не знали, как начать. Сколько ее ни уговаривали, чтоб она позволила кому-нибудь с собой быть, но не могли сделать. Наконец явно сама стала говорить и сказывать, что она не одна: "Я с мужем". Ей стали говорить, что этому быть нельзя, — мертвые не ходят, и сим самым ее привели в бешенство. Родных не было никого, все были в отдаленности. И продолжалось сие около трех лет; все люди за нее молились; нас заставляли, но мы не знали, за кого молились, потому что ее не видали. Она нас возненавидела и имени нашего слышать не могла, только и говорила: "Они больше всех мне мешают". Наконец, к счастию нашему и ее, возвратился из Петербурга дядя и тотчас приехал в деревню и увидел мать

и стоила того. "Послушай, мой друг, я близок к концу и чувствую, что умираю. С женой говорить не могу, видя ее в скорбном состоянии, но тебя прошу, как друга: скажи после оставшейся моей жене и другу: воспитание моих детей чтоб было таково, чтоб они познавали Бога и научались с самого младенчества любить Его всем сердцем; мать свою чтоб любили и почитали и повиновались, к старшим чтоб имели почтение и уважение, не только кровным, но и к рабам добрым. Не допускайте их, чтоб они были в худых обществах, а показывайте им примеры добрые и христианские. Более всего — приучайте их любить бедных и несчастных и заставляйте все с ними делить пополам. Бога ради к роскоши не приучайте их и к нежной пище, а приучайте к суровой пище и погоде и к небогатому платью. Особливо прошу тебя, моего друга, о питомице твоей, которая мне столь была драгоценна и которая при самом ее рождении поручена тебе. Обещай мне при последних минутах…"»

мою в сем страшном положении, стал ее звать, велел открыть окна и не хотел ее оставить. Она, видя все сие, в такое пришла бешенство и силу, что, бросясь на дядю и браня его, хотела царапать и кусать, но дядя велел приготовить лошадей и людей, сказал ей, что он непременно ее увезет. И она пробовала его умолять, чтоб он не разлучал ее с другом. Однако дядя мой, взявши ее на руки, вынес и положил в коляску, сам сел на облучок, на другую сторону посадил людей. Она так кричала, что страшно было слышать. Привезши в город — прямо к себе в дом; тут шесть недель не отлучались от нее дядя и тетка и протопоп; говорить с ней было нельзя: она не слушала и не отвечала, то беспрестанно читали Евангелие и между собой разговаривали. Четыре недели она ничего не говорила и глазами не смотрела, но вдруг в одну ночь вскочила и начала молиться и просить протопопа, чтоб он ее поскорей причастил, что и исполнили с радостью. После сего она стала плакать и просить, чтоб нас привезли и дали бы видеть. Это так обрадовало всех ее окружающих, что тотчас послали за нами. Между тем она рассказывала, что ей во сне привиделся старичок и стал ей выговаривать, какое она страшное делает преступление против Бога и как она могла думать, чтоб муж ее к ней ходил. "Ежели бы ты знала, с каким ты духом беседовала, то ты бы сама себя ужаснулась. Я тебе его покажу, — и я увидела страшное чудовище. — Вот твой собеседник, для которого ты забыла Бога и первый твой долг — детей". Она упала ему в ноги и закричала: "Помоги мне, грешной, и исходатайствуй прощение моему преступлению. Я обещаюсь с сей минуты служить Господу моему, стану нищих, больных, страждущих утешать и им помогать". Он отвечал: "Смотри же, — исполни, и тем загладишь свое преступление. Сейчас проси доброго пастыря, чтоб он тебя приобщил святых тайн. Помнишь ли ты, сколько времени ты себя лишала сего драгоценного дара? Знай, что еще были такие дела твои, которые вспомянулись пред престолом Отца Небесного, и молитвы ближних твоих и невинных, оставленных сирот твоих взошли к престолу Его, и ты еще возвращаешься для покаяния и для услуг несчастных". И наконец она увидела в сем старце отца, закричала и проснулась. Нас привели, и мы тут увидели нежную мать, которая нас слезами обливала и подвела к дяде и сказала: "Вот ваш отец и благодетель: он вам мать возвращает, и вы теперь не сироты". И так переехала она в дом и [не] нашла в нем никакого беспорядку, потому что люди те, на которых возложена была какая должность, точно исполняли так же, как бы и при ней. В деревне тоже, по доброму и усердному смотрению приказчика, мать моя нашла столько всякого запасу, скота и птиц, чего никак не ожидала. Итак, распорядя дела свои в городе, поехала с нами в деревню, и тут началось наше воспитание.

Мне уж было семь лет и грамоте уж была выучена, и сама мать моя учила писать и начала образо[вы]вать сердце мое, сколько словами, а вдвое примерами. Она посвятила себя для соделания счастливыми своих крестьян, которые ее боготворили. У нас в деревне, когда бывали больные, то мать моя, не требуя лекарской помощи, все болезни лечила сама, и Бог ей помогал. У отчаянных больных просиживала по целым дням, где и я с ней бывала и служила по ее приказанию больным, сколько могла по летам моим; на ночь отправляла мою няню, которая с охотою делала все то, что ей приказывали. У умирающих всегда бывала и я с ней, и во все это время страдания умирающего она, стоя на коленях перед распятием, с рыданием молилась, и ежели умирающий в памяти, то подкрепляла его и утешала надеждой на Спасителя нашего, — и так больной делался покоен, что не с таким ужасом ожидал конца своего. Часто в таких случаях заставляла меня читать о страданиях Христа Спасителя, что больных чрезвычайно услаждало. И куды она приходила — везде приносила с собой мир и благословение Божие. И как соседи узнали, что мать моя лечит, то приваживали к ней больных, и она никак не отказывала и с радостию принимала всех к себе, и очень редко случалось, чтоб умирали. Межу тем меня учила разным рукодельям и тело мое укрепляла суровой пищей и держала на воздухе, не глядя ни на какую погоду; шубы зимой у меня не было; на ногах, кроме нитных чулок и башмаков, ничего не имела; в самые жестокие морозы посылала гулять пешком, а тепло мое все было в байковом капоте. Ежели от снегу промокнут ноги, то не приказывала снимать и переменять чулки: на ногах высохнут. Летом будили меня тогда, когда чуть начинает показываться солнце, и водили купать на реку. Пришедши домой, давали мне завтрак, состоящий из горячего молока и черного хлеба; чаю мы не знали. После этого я должна была читать Священное Писание, а потом приниматься за работу. После купанья тотчас начиналась молитва, оборотясь к востоку и ставши на колени; и няня со мной, — и прочитаю утренние молитвы; и как сладостно было тогда молиться с невинным сердцем! И я тогда больше Создателя моего любила, хотя и меньше знала просвещения; но мне было всегда твержено, что Бог везде присутствует и Он видит, знает и слышит, и никакое тайное дело сделанное не останется, чтоб не было обнаружено; то я очень боялась сделать что-либо дурное. Да и присмотр моей благодетельной и доброй няни много меня удерживал от шалостей. Мать моя давала нам довольно времени для игры летом и приучала нас к беганью; и я в десять лет была так сильна и проворна, что нонче и в пятнадцать лет не вижу, чтоб была такая крепость и в мальчике. Только резвость моя много огорчала мою почтенную мать. У меня любимое занятие было

беганье и лазить по деревьям, и как бы высоко дерево ни было, — то непременно влезу. А как меня за это наказывали, то я уходила тихонько в лес и там делала свое удовольствие; и братьев с собой уведу и их учу также лазить; и учительнице много за это доставалось! Пища моя была: щи, каша и иногда кусок солонины, а летом — зелень и молошное. В пост, особливо в Великий, и рыбы не было. И самая грубая была для нас пища, а вместо чая поутру — горячее сусло, или сбитень. Говаривали многие моей матери, для чего она меня так грубо воспитывает, то она всегда отвечала: "Я не знаю, в каком она положении будет; может быть, и в бедном, или выйдет замуж за такого, с которым должна будет по дорогам ездить: то не наскучит мужу и не будет знать, что такое прихоть, а всем будет довольна и все вытерпит: и холод, и грязь, и простуды не будет знать. А ежели будет богата, то легко привыкнет к хорошему". Она будто предвидела мою участь, что мне надо будет все это испытать! Важивала меня верст по двадцати в крестьянской телеге и заставляла и верхом ездить, и на поле пешком ходить — тоже верст десять. И пришедши, где жнут, — захочется есть, то прикажет дать крестьянского черствого хлеба и воды, и я с таким вкусом наемся, как будто за хорошим столом. Она и сама мне покажет пример: со мной кушает, и назад пойдем пешком.

Бывали у нас в деревне праздники для крестьян: столы посреди двора, и она сама их потчевала и нас заставляла им подносить пиво и вина; и когда пойдут по домам, то я их провожаю за ворота и желаю им доброй ночи, а они меня благословляют. Часто очень сама мать моя ходила со мной на купанье, и смотрела с благоговением на восход солнца, и изображала мне величество Божие, сколько можно было по тогдашним моим понятиям. Даже учила меня плавать в глубине реки и не хотела, чтоб я чего-нибудь боялась, — и я одиннадцати лет могла переплывать большую и глубокую реку безо всякой помощи; плавала по озерам в лодке и сама веслом управляла; в саду работала и гряды сама делывала, полола, садила, поливала. И мать моя со мной разделяла труды мои, облегчала тягости те, которые были не по силам моим; она ничего того меня не заставляла делать, чего сама не делала.

Зимой мы езжали в город. Там была другая наука: всякую неделю езжала или хаживала в тюрьмы, и я с ней относила деньги, рубашки, чулки, колпаки, халаты, нашими руками с ней сработаны. Ежели находила больных, то лечила, принашивала чай, сама их поила, а более меня заставляла. Раны мы с ней вместе промывали и обвязывали пластырями. И как скоро мы показывались в тюрьму, то все кричали и протягивали руки к нам, а особливо больные. Пища в тюрьмы всякий день от нас шла, а больным — особо легкая пища. Всякую неделю нищих

кормили дома, и она с нами им служила у стола; и как расходятся, то оделяла всех деньгами, рубашками, чулками, башмаками, или — лучше сказать — кто в чем нужду имел. И ни один бедный не остался без ее помощи. У нас был человек, на которого возложена была должность отыскивать бедных и страждущих, который верно исполнял свою должность. Мать моя часто была больна, то в это время бедных и тюрьмы посещала я с нянькой и отправляла должность ее и в лечении по предписанию ее. Когда умирали в тюрьмах, то наши люди посыланы были тело обмывать и похороны были от нас. К трудным больным в тюрьму ездила с тем пастырем, который ее спас; и делали долг христианский. Она часто с пастырем просиживала в тюрьме до глубокой ночи, — и читали, и разговаривали с больными; и часто случалось, что несчастные исповедовали при всех грехи свои и успокоивали совесть свою, и тогда-то у ней радость сияла на лице ее, и она меня обнимала и говорила: "Ежели ты будешь в состоянии делать добро для бедных и несчастных, то ты исполнишь закон Христов, и мир в сердце твоем обитать будет, и Божие благословение сойдет на главу твою, и умножится и богатство твое, и ты будешь счастлива. А ежели ты будешь в бедности, что и нечего тебе дать будет, то и отказывай с любовию, чтоб и отказ твой не огорчил несчастного; и за отказ будут тебя благословлять; но и в бедности твоей ты можешь делать добро — посещать больных, утешать страждущих и огорченных; и помни всегда, что они есть ближние твои и братья и ты за них награждена от Царя Небесного. Помни и не забывай, мой друг, наставления матери твоей".

Случается там часто, что на канате приводят несчастных, в железах на руках и на ногах, — то матери моей всегда дадут знать из тюрьмы, что пришли несчастные, и она тотчас идет, нас с собой [берет], несет для них все нужное и обшивает холстом железа, которые им перетирают ноги и руки до костей. А ежели увидит, что очень в дурном положении несчастные и слабы, то просит начальников на поруки к себе и залечивает раны. Начальники ей никогда не отказывали, потому что все ее любили и почитали. И сколько бедных домов у ней было на содержании, сколько бедных сирот выдавала замуж! Словом сказать — она всю свою жизнь посвятила на дела христианские. Братьев отдала в ученье к одному своему искреннему приятелю; но большого брата упрямый ндрав ее очень огорчал, и она его жестоко наказывала. И он был девяти лет, как приехал в город один наш благодетель, генерал Ирман, который ехал главным начальником в Барнаул. Он, любя мою мать много, уговорил ее отдать ему брата моего, и она тотчас согласилась и вверила ему, как другу, и не ошиблась: ему они заменяли отца и мать и любили его, как сына, и сделали его человеком; но ндрав его все оста-

вался жестк, хотя и меньше против прежнего. А меньшой был самого кроткого и тихого ндраву и был всеми любим, особливо мной. Мне казалось, что у меня с ним одна душа и одно сердце. Когда он был чем недоволен или урок свой не выучит и тем огорчит мать мою и учителя, то я такое мучение чувствовала в сердце моем, что и сама за себя, кажется, столько не страдала. Вся моя радость была в его радости, и он мне тем же платил; он смотрел мне в глаза и узнавал, чего я хотела. Я же о себе скажу, что моей собственной воли нимало не было: даже желания мои были только те, которые угодны были моей милой и почтенной матери. Я не помню, чтоб я когда не исполнила ее приказания с радостью. За то я была ею любима, хотя она и не показывала часто больших ласк; но уж за то сколько я ценила ее ласки, когда она меня ласкала за сделанное какое-нибудь доброе дело: у меня от радости слезы текли, и я целовала руки моей матери и обнимала колени ее, а она благословляла и говорила: "Будь, мое дитя, всегда такова".

Я не меньше и почтенную мою няню любила, так как я с ней чаще бывала: потому, что управление деревней зависело от одной моей матери, то и занятия ее требовали много времени и отнимали часто ее у меня; но ее заменяла нянька. Своими добрыми примерами и неусыпным смотрением не только что замечала мои дневные действия, даже и сон мой, как я сплю; и на другой день спрашивала меня: "Почему вы сегодня спали беспокойно? Видно, вчерась душа ваша не в порядке была, или вы не исполнили из должностей ваших чего-нибудь? Подумайте, моя милая, и скажите мне; то вместе помолимся и попросим Отца Небесного, чтоб Он спас всего того, чтоб могло довести к пагубе!" И я тотчас ей со слезами во всем признавалась и просила ее скорее за меня вместе со мной молиться и просить Создателя нашего о прощении меня. По окончании молитвы я обнимала ее и говорила, что мне очень весело и легко, а она мне давала наставления остерегаться от всего того, что может совесть мою тягчить, и показывала многие примеры несчастные, которые много на меня действовали. И она умела из меня сделать то, что не было ни одной мысли, которая б не была ей открыта. На многое она давала мне разрешения, а с некоторыми мыслями отсылала, чтоб я сказала матери моей; и для меня не было тяжело и сие сделать. Сия неоцененная моя благодетельница и своих имела детей, но она не оставляла возложенного на нее долгу воспитывать меня. У детей ее были даны женщины, которые смотрели за ними, и сама моя мать за ними присматривала и держала их возле своей комнаты.

Хаживала я с ней в рощи с работой, и она меня часто спрашивала: "Удивляетесь ли премудрости Божией и с почтением ли смотрите на все Его творение? Видите, как он любит человека, что все сие сотворено для него: и в пищу, и для удовольствия. Да и сам человек сотворен по образу его и подобию; то можно ли же нам жить так, чтоб не стараться во всем Ему быть подобным? И можно ли Его не любить более всего и не благодарить за все те милости, которые Он нам оказывает? А особливо тебе надо благодарить за Его неизреченные к тебе милости, что Он дал такую мать, которая тебя любит и добрыми примерами и наставлениями хочет сделать тебя счастливой. Только повинуйся ей и исполняй ее волю, а я — ее помощница в твоем воспитании и хочу тебе всякого добра. И сколько сил моих есть — с помощью Божию даю тебе наставления, сколько разумею. И слава Богу, что ты меня слушаешь и любишь, а это одна моя награда, которую я от вас ожидаю. Нет блага для меня более, как видеть вас подобной вашей матушке. Ты не помнишь родителя своего, и он был редкий в добродетелях и, умирая, говорил: "Воспитание моих детей чтоб было то, чтоб они познавали Бога и научались с самого младенчества любить Его всем сердцем, мать свою чтоб чтили и почитали, к старшим чтоб имели почтение и уважение, не только к равным — и к рабам добрым. Приучайте их любить бедных и несчастных, к роскоши их не приучайте, а более — к нужде", — и, повернувшись ко мне, сказал: — Друг мой, Костентиновна, обещай мне при конце жизни моей, что ты будешь все это выполнять и дай мне спокойно умереть; дочь моя вверена тебе с самого ее рождения, то, конечно, ты ее не оставишь и заплатишь нам за любовь нашу к тебе". Я упала к нему на колени и целовала руки его, уж половину охладевшие, и поклялась, что все сие исполню. А матери вашей тут не было: она уж лежала в другой комнате. Он силился привстать и чтоб меня обнять, и сказал: "Благодарю тебя, мой друг, что ты успокоила последние мои минуты. Еще тебя прошу о дочери моей: ей предстоят великие трудности в жизни ее; молись за нее. Жену побереги; я в вас во всех уверен, что вы успокоите ее. Теперь выйдите и дайте мне поуспокоиться; принесите детей, чтоб я их благословил". Я пошла и, погодя немного, привела вас, и он благословил, и, испрашивая от Отца Небесного на вас благословения, сказал: "Господи мой! Ежели они будут жить в добродетелях, то не оставь их своей помощию. Но ежели не будут хороши, — то возьми их в то время, когда они еще невинны". И, окончивши сие, сказал: "Я все исполнил; теперь самому надо приготовиться в путь, оставьте меня". И так мы с рыданием вышли. И он после этого жил сутки и уж больше ни о чем не думал, как о приготовлении себя, и до последней минуты жизни своей был в совершенной памяти, и на лице его было спокойствие: ни страху, ни ужасу не было в нем видно. И последнее его слово было: "Повергаюсь в Твое неизреченное милосердие, Спаситель мой! Прими дух мой и помилуй меня, и подкрепи оставших

моих и дай им силы, по потере моей, чтоб они не скорбели и не прогневляли Тебя!" — перекрестился и что-то еще говорил, но так тихо, что мы не слыхали, — и скончался. Потеря сия для нас для всех была велика: он был нам отец и друг, и с ним, казалось, умерли все наши надежды и радости".

Кончивши сие, она горько заплакала и прижала к себе и сказала: "Будь, мое дитя, так добродетельна, как родители твои, и поддержи труды мои, чтобы я могла тебя представить и сама с тобой предстать пред Отца Небесного без трепета и с радостью сказать: "Вот мне вверенный залог родителя ее". — Когда она учила меня вышивать, то говорила: "Учись, матушка, может быть, труды твои будут в жизни твоей нужны. Ежели угодно будет Богу тебя испытать бедностью, то ты, зная разные рукоделия, не будешь терпеть нужды и будешь доставать хлеб честным образом и еще будешь веселиться. Ежели сердце твое будет невинно и совесть ничем не отягчена, то и труды будут казаться легки и за все будешь благодарить Господа твоего".

И так протекла моя счастливая жизнь до тринадцати лет, и я всеми родными была чрезвычайно любима. Я в тринадцать лет была, — и никто не верил, а все говорили, что мне уж шестнадцать лет. [...]

Публ. по: *Лабзина А.Е.* Воспоминания. Описание жизни одной благородной женщины // Россия в мемуарах. История жизни благородной женщины. М., 1996.

ТРЕВОГИН Иван Иванович (1761—1790)

Сын малороссийского иконописца польского происхождения. После смерти отца был с братьями отдан матерью учиться в воспитательный дом при Харьковском училище. Вступив в конфликт с начальством, в 18 лет бежал из Харькова, много скитался по разным городам, работал учителем, занимался художественными работами. Приехав в Санкт-Петербург, работал в типографии Академии наук. В 1782 г. организовал издание журнала "Парнасские новости", разорился, бежал из России, нанявшись матросом, бедствовал в Голландии и во Франции. Стал авантюристом: выдавал себя за принца несуществующей страны Голкондии. За кражу попал в Бастилию, обратился за помощью к русскому послу во Франции, по-прежнему выдавая себя за принца. Был разоблачен и переведен в Петропавловскую крепость. После следствия его отправили в смирительный дом, затем он два года пробыл в солдатах и умер 29 лет.

Тревогин был талантливым человеком, знал иностранные языки, литературу, хорошо рисовал, разрабатывал идеи утопических государств. В тюрьмах ему неоднократно приходилось давать показания. Выдавая себя за принца, он написал фантастическую автобиографию, похожую на роман. Затем в России он признался в своих вымыслах и написал для следствия свою подлинную биографию.

ИСТОРИЯ ИВАНА ТРЕВОГИ

Во время польского конфедератства[195] Иван Тревога, уроженец Луцкой, оставив свое отечество, пришел в Россию, в Украину. Он был тогда еще малолетен, да притом и не богат, для чего желал вступить в какую-нибудь службу, состоянию его приличную, но будучи более всего способен к живописному рукоделию, не упустил он, чтоб не прибегнуть к одному там славному итальянскому иконописцу по имени Венедикту, которого вечной памяти император Петр Первый для изюмской соборной церкви в Россию призвал. Венедикт, содержа Ивана Тревогу как родного своего сына, обучал его своему художеству, а сей по природному своему к оному дарованию к трудам прилежал, да и так успел, что напоследок, по смерти Венедиктовой, сделался первым наследником искусства сего славного иконописца.

Тревога, увидя себя в таком славном состоянии, ежжал с места на место для работы, куда был призываем, от чего не только не захотел в Польшу возвращаться, но еще и вздумал в России жениться. Работая же в Сенькове городе[196], где с распростертыми руками был принимаем в дома от всех дворян и обывателей, был он вхож в дом одного богатого и славного сотника по имени Ивана Богуславского, которого также император Петр Первый пожаловал многими волостями по причине своей для него работы. Иван Богуславский имел у себя двух дочерей, из которых меньшую не только не любил, но еще и содержал ее как первую свою служанку, что приметя, Иван Тревога стал стараться всякими способами ее подговорить к бракосочетанию от тай[197] ее родителей. Александра (имя меньшой дочери), видя сестру сговоренную за одного капитана Капустянского да притом и зная, что родители бы ее никак не согласились на бракосочетание своей дочери с Тревогой, равномерно не уповая более найти подобного случая к избавлению себя от ненависти своего отца, на то с радостью согласилась. Сначала родители смертельно за то на нее сердились, а напоследок вину ее ей простили и снабдили ее разным приданым и всем, что за дочерью дать надлежит, выключая только волости, из которых ей четырнадцатую часть было обещано дать другим временем.

---

[195] Конфедерациями назывались в Польше временные чрезвычайные союзы вооруженной шляхты, которые имели свои сеймы, принимавшие постановления большинством голосов.

[196] Слобода Сеньково относилась к Изюмской провинции Слободско-Украинской (впоследствии Харьковской) губернии.

[197] От тай — в тайне (старослав.).

Иван Тревога, женясь, поехал тотчас в Изюм, купил дом и в оном начал работать, с тем чтобы более с места на место не переезжать. Проживши ж там полтора года, родился ему в 1761 году июля 18 дня сын, которому при крещении было дано имя Ивана (тот самый, который здесь допрашиваем), чрез несколько лет родился другой, который назван Федором, а в 1767 родился меньший Даниил. Тревога, видя скопившуюся семью, захотел опять оставить свой дом, жену и детей, дабы сим средством приобрести более для себя имения. В то время был он зван в Змиевской монастырь, куда он приехав и пожив несколько времени, вдался очень в худую страсть, в которую обыкновенно все славные художники вдаются, то есть в пьянство. Лишь только приметили в нем сию страсть, то тотчас записали его обманом в подушный оклад[198] и [стали] обижать его разными образы, но он не долго то сносил по той причине, что в 1770 году, проезживаясь пьян с некоторыми монахами в шлюпке у вышеупомянутого монастыря, был нечаянно с шлюпкой опрокинут и, за неумением плавать, оставлен в оной вечно. Жена его Александра, услышав о смерти мужа, поехала в монастырь и принуждена докончить начатую работу мужем ее своими теми людьми, которые у Ивана Тревоги были в учении. Окончив же и видя себя вдовою в молодых летах с тремя детьми, начала тотчас стараться, чтобы все свое имение собрать в одно место, дабы было чем содержать себя со всем своим домом. Она продала свой дом в Изюме да переехала жить в село Гороховатку, где она имела еще дом с загородным двором, с мельницами и с садами. Потом, как уже умер и ее отец, а братья ее стали владеть всем отцовским имением и волостями, просила она у харьковского губернатора Щербинина[199] о выдаче ей из отцовского имения ей надлежащего, однако ей тогда было то отказано по причине отлучности двух ее братьев, из которых один служил в Изюмском гусарском полку прапорщиком, а другой в том же полку подпоручиком.

В ожидании сем Александра Тревогина, не хотя держать детей своих при себе и желая дать им воспитание, им приличное, повезла их в город Харьков, где учреждено всемилостивейшей ныне царствующей императрицей училище и в нем воспитательный сиротский дом под именем Харьковских новоприбавочных классов[200], и просила тамошнего губернатора Щербинина о принятии их в то училище и о причислении их в число питомцев, к двадцати пятем, на государское содержа-

[198] При обложении подушной податью человек лишался свободы передвижения.

[199] Щербинин Е.А. (1728—1783).

[200] Казенное училище, открытое в 1768 г. при Харьковском коллегиуме в качестве так называемых прибавочных классов.

ние. Хотя старший ее сын Иван Тревога же имел от рождения своего уже одиннадцать лет[201] и по регламенту не надлежало бы его принять в число питомцев, коих обыкновенно принимают только семилетних, однако Щербинин всех троих ее сыновей принял и причислил к питомцам. Старший из них Иван Тревога по природному своему дарованию к живописи, подобно своему отцу, определен конторой тех училищ тотчас же обучаться живописи и математике, немного времени спустя стал он обучаться писать и читать по-российски с ортографией по правилам грамматическим, потом французскому языку, истории, географии, архитектуре и танцевать, а наконец, немецкому языку, некоторой части артиллерии, фортификации, писать красками с натуры, отчасти музыке и театральному искусству. Сначала, покуда добропекущийся губернатор Щербинин и с ним рачительный директор Горлинский пребывали, подобно другим детям и братьям своим, успевая в науках, находился без всякого своего приключения, но по настании других начальников, когда бывало день иной без пищи проживали все тамошние питомцы, тотчас случилось с ним одно приключение, делающее на век его нещастным.

Однажды, в самой светлой воскресный день Пасхи, будучи очень голоден по той причине, что в субботу перед днем Пасхи был наказан своим дядькой за невыучение урока на целый день голодом, хотел голод свой утолить езжею, но прося чего-нибудь поесть у служителей, оставался в подобном своем состоянии без успеха. Он знал, где хлеб лежал, и так, пошедши, отворил скаф и взял оттуда кусок онаго, в то время когда никого в том месте не прилучилось, а потом и начал есть по ребячему обыкновению. Служитель, то увидя и имея приказ от дядьки ничего ему не давать есть, пошел немедля и про то дядьке сказал, который, как, во-первых, почел то за ослушание, а во-вторых, и за воровство, наказал его без всякого помилования в самый же тот день Пасхи, да притом для отвлечения в другой раз от подобного велел ученикам называть его вором. Однако исправностью себя от онаго, да притом возрастом и успехами в науках нарекания того скоро убег. Да не только то, но еще ему были вверены живописные все каморы с орудиями и рисовальные сундуки под надзирание как первому ученику в сем искусстве, равномерно как и весь гардероб театра училищного. Сею вверенностью и рачением за всеми своими должностями вошел он в любовь всех почти учителей и учеников, а за сие и давали ему почти первенство во всем воспитательном уже доме, пока то все не прервалось вечно другим приключением, которое с ним сделалось.

[201] Тревогин не точен: он был зачислен в училище 10 января 1774 г., когда ему было 12 с половиной лет.

Директор тех училищ по имени Колбек был человек военный, ничего не знающий из наук, которые там преподавались, человек престарелый и, одним словом, больше свой интерес наблюдающий, нежели общественный. Губернатор Норов его любил много и для сего единственно ставил его при училищах, которые он тотчас поставил посвоему, да и, наконец, то сделал, что с двух тысяч учеников не находили более во всех училищах ста человек. Он не захотел более держать у себя эконома, по регламенту положенного, а вместо оного определил он одного батальонного сержанта из своей же роты и, наконец, библиотеку и всякие учебные вещи содержа у себя взаперти, никому из них не давал ничего, разве уже по особливой к кому любви или за какую услужность. Тогда при нем был в конторе один копеист[202] Шишкин, которого директор очень любил и который был великий друг Тревоге. Директор часто копеисту тому вверял ключи от всех мест.

Однажды Тревога по расписании красками одноколки директору попросил для упражнения в чтении книг из библиотеки. Директор, тотчас дав ему ключ, велел, чтоб он с вышеупомянутым копеистом пошел в библиотеку и взял себе из оной нужные книги. Иван Тревога, вошедши туда с копеистом, брал их столько, сколько их ему надобно, числом до двенадцати, и, положа оные в сундук, отдал ключ тому копеисту для вручения директору, которой на то время заболел. По выздоровлении же директора случилось незадолго, что один математический учитель был именинник, который, созвав директора с учителями и приготовив для них обед, не имел у себя довольно служителей для служения у стола. Чего для и просил у директора, чтоб он приказал детским служителям из воспитательного дому прийти послужить им, пока они пообедают. Директор, который не только служителей для нас не держал, но велел еще и самым себе служить и за всем везде для себя ходить, зная, что у него в воспитательном доме тогда служителей не было, послал в воспитательный дом за питомцами и, призвав их в учительский дом, приказал носить им блюда и служить у стола. Иван Тревога, будучи тогда превосходнее возрастом прочих и зная, что по уложению всемилостивейшей императрицы было для детей положено и жалованно, не мог снесть крайней бедности и жалости своих собратьев, которые от всех тем заслуживали презрение, а особливо по той причине, что между служащими теми питомцами находился и его брат Федор. По согласию своего дядьки пошел вместе с одним своим товарищем к губернатору Норову жаловаться о таковом поведении директорском, надеясь особливого от него покровительства как за то, что он

[202] Писец, переписчик, канцелярский служащий.

обучал его сына рисовать, так и за то, что он доводился несколько сродни, по причине, что его двоюродный брат Ряслев был женат на Тревогиной двоюродной же сестре, где губернатор был сам и сватом. Но только что Иван Тревога приближился к губернатору и об том на директора ему произнес жалобу, то губернатор тотчас закричал на него, браня и говоря: как смеет он жаловаться на своего командира? Да притом подтвердил, что он велит директору высечь его плетьми. Едва Иван Тревога вышел из губернаторского дому, то уже по причине страха и опасности от наказания директорского хотел вовсе бежать туда, куда ноги его поведут, но опомнясь на дороге почти в четырех верстах от города, что сей его побег безрассуден, возвратился опять в воспитательный дом и, упадши дядьке в ноги, стал просить со слезами, чтоб он его защитил от напастей директорских, ибо он уже об этом знал, для того что губернатор по изгнании Тревоги послал тотчас забрать с именин детей и директора, которому он за то выговорил и сказал, что Иван Тревога ему на него приходил жаловаться.

Директор ввечеру не был, но пришед на другой день с рассветом в воспитательный дом с тем намерением, чтобы его за таковое дерзновение наказать. Пришед же, тотчас послал за палками, чтобы наказать, но за неимением никаких вин, кроме сей, дядька к тому его не допустил, да и самому директору стало совестно за то наказывать. Однако с тех пор директор искал беспрестанно к чему-нибудь привязаться, чтобы его высечь, равномерно как и самые учителя, которые на именинах находились. По прошествии же некоторого времени сделалась у одного учителя пропажа, то есть была уворована у него шуба. Был обыск везде в воспитательном доме, напоследок начали оной искать и в сундуке Ивана Тревоги, а сие было на последней неделе перед Рождеством Христовым. Оная не найдена, но вместо сысканы вышеупомянутые книги, которые он с копеистом в библиотеке взял и о которых все питомцы были известны. Тут-то директор полное свое удовольствие полагал, запераясь[203] от ключа, который ему он давал, и, разнося везде оные за ворованные, посадил Тревогу в железа и сам пошел сказать об том губернатору, который приказал его за то наказать. Но Тревога в следующую ночь было ушел из воспитательного дому, и у одного своего вернейшего из студентов друга по имени Василия Фотеева стучался ночью у дверей, и просил помочи и защиты. В доме том все спали и ничего того не слыхали, что принудило его спрятаться в стог сена, который стоял в саду помянутого студента.

[203] Не признаваясь.

На рассвете, день еще хорошо не показался, директор, пришед и узнав о его побеге, велел всем людям и самим питомцам идти и везде искать в городе. Те, которые знавали, что он всегда бывал у Фотеева для обучения там детей географии и арифметики, бросились тотчас к нему и, не найдя у него, начали искать по стогам, где и нашли. Он было хотел бежать и отсюда, но вдруг уж был взят, и связан, и в дом поведен. По приведении велел директор принесть розг и, положа, сек столько, что увидел всю спину облитую кровью и, наконец, хвалился еще повесть к губернатору, чтоб отдать вечно в солдаты. Но как сие уже сделалось в последний день перед Рождеством Христовым, то сие он отложил до первого дня после праздника. Пока не мог встать с постели, писал он к своему другу Фотееву, чтоб он как можно старался сыскать извозчика, чтоб выехать до назначенного дня в какой-нибудь другой город, ибо ему солдатом быть не хотелось, в то время когда дядя его Пекин, подполковник пикинерного[204] херсонского полка, принимал в свой полк кадетом. Выбирая ж различные места к побегу, не хотел он возвращаться к своей матери, зная, что оная, искав четырнадцатой части из волостей по надлежащему, потеряла несколько тысяч рублей и последних, которые она было сохраняла для препровождения в вдовстве последний остаток дней ее. Онаго не нашед, пришла в крайнюю бедность, так что уже питалась и собственными своими трудами, а особливо после двойного ее пожара, сделанного от ненавистников и от разорения мельниц ее родным же ее братом. Тревога тогда вздумал ехать лучше в Воронеж к Щербинину, который уже там был тогда наместником, чтоб просить у него прибежища как у своего прежнего покровителя. Он нашел извозчика до Воронежа, с которым договорясь о цене и получа от Фотеева себе на дорогу потребное число денег, оставил на рассвете воспитательный дом 3-го января 1781 года и город Харьков, побыл в нем для учения почти восемь[205] лет и имея от рождения своего уже девятойнадесь[206] год. [...]

Публ. по: *Топорков А.Л.* История Ивана Тревогина // Публицистика и исторические сочинения периода феодализма. Новосибирск, 1989.

[204] Пикинеры — пехотинцы с холодным оружием (пикой).

[205] В официальной справке от 1780 г. сообщалось, что находившийся в харьковских классах на казенном содержании ученик Иван Тревогин "в декабре месяце оказался в краже казенных книг из библиотеки, за что и наказан был, а по наказании бежал, того ж декабря месяца" (Российский государственный архив древних актов. Госархив, разряд VII, д. 2631, л. 185 об.).

[206] Девятнадцать.

ДОЛГОРУКОВ (Долгорукий) Иван Михайлович, кн. (1764—1823)

Происходил из знатной семьи князей Долгоруких (см. выше комментарий к воспоминаниям кн. Н.Б. Долгорукой). Окончил Московский университет. Офицер гвардии (1782—1790). Выйдя в отставку в 1791 г., кн. Долгорукий получил должность вице-губернатора в г. Пензе, где он много внимания уделял развитию культурной жизни города, организовал театр "благородных любителей", писал стихи и сатиры, пользовавшиеся популярностью у современников. После вступления на престол Павла I (1796) кн. Долгорукий был отставлен от должности. Он становится завсегдатаем московских салонов и театров, изредка его стихи появляются в литературных журналах. В начале царствования Александра I кн. Долгорукий вновь получил должность губернатора, на этот раз во Владимире. Отсюда он часто приезжал в Москву, стал членом Общества любителей российской словесности при Московском университете. В 1805 г. выбран почетным членом Московского университета, основал здесь гимназическую библиотеку, завещав на ее пополнение доходы от издания своих сочинений — сборника под заглавием "Бытие моего сердца". С 1814 г. Иван Михайлович жил в Москве, посвящая все свое время литературным занятиям и своей страсти к любительскому театру.

Записки кн. И.М. Долгорукого охватывают период с 1764 по 1823 г. (от рождения до смерти). Писались они с перерывами с 1788 г. до дня смерти на основе дневниковых записей. Рукопись в двух частях составляет 2788 листов. Ее последняя часть за 1800—1823 гг. остается до сих пор неопубликованной.

"ПОВЕСТЬ О РОЖДЕНИИ МОЕМ, ПРОИСХОЖДЕНИИ И ВСЕЙ ЖИЗНИ"

[...] В апреле Бог определил мне родиться, и природа произвела меня на свет 7-го числа в Великую Среду, перед полуднем. Случилось сие радостное в доме нашем происшествие в первостольном граде Москве, во дни царствования Великой Екатерины. Дом, в котором я увидел первый луч солнца, испустил первый стон существа дышащего, стоял близ Страстного монастыря, на Тверской. Роскошь окружила колыбель мою; слезы радости потекли из глаз родителей моих при виде нетерпеливо ожидаемого младенца. Да и какая мать может без восторга смотреть на сына своего в колыбели? — Благодать Божия призвала меня к христианскому таинству крещения. Восприемниками от купели были: дядя мой родной барон Александр Николаевич Строганов и сестра моя княжна Прасковья Михайловна, пятилетний ребенок. Имя дано мне Иоанн, в честь и память переселившемуся от нас в вечность деду моему[207]. В том же году родители мои собрались в Киев. Строгим

[207] Кн. И.А. Долгорукий (см. о нем в биографическом комментарии к воспоминаниям Н.Б. Долгорукой).

правилом поставили они себе каждые три года навещать там схимонахиню Нектарию[208]. Едва минуло мне три месяца, как повезли они и меня туда с собой. Горячность к детям не допустила их расстаться с нами. В конце года возвратились мы в Москву благополучно, и стократные благословения бабки моей обогатили мое младенчество.

1765

Марта 26-го сестра моя занемогла оспой; от нее пристала оспа и ко мне с такой силою, что я оглох, ослеп и онемел. Тогда еще не умели прививать сей заразы и смягчать ее жестокость. Все лицо мое покрылось корою, и в таком положении оставалось только ожидать смерти. Бог сохранил живот мой, да повем[209] здесь дела Господня. Его великим промыслом натура открыла вспомогательные свои средства, и болезнь уступила ее силам. Тут явно совершилось надо мною чудотворение от иконы Смоленской Божьей Матери, что в Донском монастыре, над царскими вратами; когда родители мои, болезнию моей огорченные, с теплою верою прибегнув к Богу, подняли икону к себе в дом и меня к оной приложили — то вдруг получил употребление всех моих умерших чувств: стал видеть и слышать. Струп свалился с лица моего, — оспа миновалась. Сие я всей мыслию утверждаю, — ибо верю родителям моим, меня о том известившим; верю паче Создателю моему, все сверхъестественное могущему! И так оба мы с сестрой выздоровели в одно время. В ноябре Бог благословил дом наш новым залогом щедрот своих: 23 числа родилась вторая сестра моя княжна Анна; крестные отец и мать те же были у нее, что и у меня.

1766

Ничего достопамятного год сей не представляет, кроме рождения меньшей и последней сестры моей княжны Елизаветы, от которой мать моя разрешилась декабря 12 числа. Крестили ее я и сестра моя большая.

1767

Возраст сестрин требовал уже воспитания. Следуя общему обычаю у русских, и батюшка принял к себе в дом француженку по имени madame Constantin. Были и до нее у нас иностранки, но мало держались. Эта последняя жила с нами долго, и после нее уже не принимали другой. Она была женщина немолодая, очень хороших свойств, усердно привязана к нашему дому, а паче ко мне, и вместе с сестрою приучила меня лепетать по-своему с самого ребячества. Более заметить ничего я не нашел в течение сего года, а о вступлении госпожи Constantin упоминаю потому, что вижу в ней первого человека стороннего, которого попечениям и ласке обязан я первоначальным моим образованием. Чувство благодарности требовало от меня, чтобы я остановил на сем внимание детей моих, дабы и они, глядя на меня, помнили своих наставников. Благодарность есть изящнейшая добродетель. Человек, без нее возмужавший, уподобляется хищному зверю, который равно пожирает того, кто гладит, и того, кто его кусает.

[208] Кн. Наталья Борисовна Долгорукая, в монашестве — Нектария, бабушка кн. И.М. Долгорукого (ее автобиографию см. на с. 83—85 настоящего издания). Схимонахиня — монахиня, принявшая схиму, т.е. находившаяся в затворе.

[209] Поведаю, сообщу.

1768

Родители мои, видевшие на мне и сестре моей опыт жестокости природной оспы, рассудили в нынешнем году привить ее меньшим моим сестрам; к чему представился весьма благоприятный случай. Императрица Екатерина, великая жена во всем, желая показать пример своим подданным, решилась привить оспу наследнику престола и единственному своему сыну, юному Павлу; но как и на ней самой не было оспы, то, преодолев всякий страх, расположилась она вместе с ним подвергнуть себя той же операции. Какой необыкновенный пример всем отцам и матерям! Все стали ему подражать наперерыв, и младенцы в России почувствовали скоро над собою спасительное действие сего изобретения. Выписан был для царского дома славный врач по имени Димздаль. Он привил оспу Императрице и Великому Князю; оспа принялась, продолжалась и сошла с вожделенным успехом; все миновалось благополучно. В память столь счастливого события учрежден тогда же праздник, и повелено было 21 ноября в день выздоровления царского дома отправлять ежегодно благодарные Господу Богу молитвы. Тот же самый доктор, прибыв в Москву, прививал оспу сестрам моим. Какое внимание наших родителей! Ничего не жалели они на пользу нашу. 25 декабря сестрам сделана операция, и оспа во всех ее изменениях была наиблагополучнейшая, даже не оставила необходимого своего признака, когда природа в этом случае врача предупреждает, ибо нисколько не безобразила лиц у сестр моих, хотя на меньшей довольно была сильна. Год сей ознаменован одним этим происшествием в доме нашем.

1769

Кончина дяди моего князя Дмитрия Ивановича нанесла дому нашему чувствительную печаль. Его не стало 26 числа мая; он жил в Киеве, состоял послушником в Никольском монастыре; прожил, или лучше сказать продышал[210], 31 год. Тело его погребено в преддверии Киево-Печерской Лавры. [...]

Скоро по получении сей печальной вести родители мои собрались в Киев навестить страдалицу Нектарию, и всех нас взяли туда с собой. Так-то в старину дети чтили отцов своих. Ни отдаленность, ни убытки,

[210] Кн. Д.И. Долгорукий страдал душевным расстройством.

ничто не удержало их от намерения лететь в Киев, дабы хоть мало уврачевать рану дражайшей матери, видеть ее, обнять и благословением ее усладить собственную свою горесть. Мне было только еще 5 лет, и хотя мы прожили там полгода, но я ничего виденного в тех местах на память себе ныне привесть не могу, кроме кельи моей бабушки и неоцененных ее милостей ко мне. Она безмерно жаловать меня изволила, и, признаться велит наслышка, даже и баловала.

1770

В феврале мы возвратились в Москву, а в июне новое постигло нас огорчение, 16-го числа мать моя родила мертвого младенца мужского пола, коему назначалось имя Димитрия. Сии худые роды матери моей можно почитать несчастием, потому что отсюда начались все ее болезненные припадки, коими она во всю свою жизнь страдала, и с тех пор уже перестала матушка носить детей.

1771

Сей год особенного замечания требует не только в моей летописи по частным приключениям, в доме нашем последовавшим, но знаменитую составить эпоху и в дееписаниях Российского Государства; а потому изложу сперва вкратце бедствия столицы; затем распространюсь на счет собственных наших огорчений.

В Москве стала показываться чума — турецкий подарок. Сперва носился о том глухой гул в народе, но молве не верили. Приверженный к нашему дому лекарь, человек вообще добрый, по имени Граве, самым скромным образом известил отца моего, что на суконном дворе уже оказались знаки моровой язвы, и советовал до вскрытия рек выехать из города. Батюшка решился дать ему веру, и марта 24-го переехали мы всем домом в подмосковное наше село Волынское. Оно стояло в 7 верстах от Москвы. Дом большой, старинный, поместительный; из каждого окна видна столица, как на ландшафте...

[...]

Милость Божия между тем явилась снова над Москвою. Чума стала терять свою силу. Волнение народное утихло. С зимою вместе исчезла гнилость в воздухе, и к концу года зараза миновалась.

Во все время этой напасти мы прожили в Волынском. Телескоп, не снимаясь с окошек, наведен был поминутно то на Москву, то на кладбище. Все видели, все слышали и от всякого слуха содрогались; но Господь помиловал нас и зло физическое к нам не прикоснулось. Все поселяне наши, смирные, как овцы, ниже пошевелились и не приняли никакого участия в возмущении[211]. Похвально для них, славно и для

[211] Эпидемия чумы в Москве сопровождалась погромами и убийствами.

помещиков! Это означало кротость родителей моих в управлении домовнем. Никто под крышей нашей и во дворе не заразился; все в деревне были живы, здоровы. Благополучно, преблагополучно протекла для нас в сем отношении ужасная для многих и прискорбная година. В память сего благоволения Божия и в возблагодарение Творцу от недостойной твари, учредил отец мой крестный ход в деревне, который совершается доныне, и на источник близ села в деревне Довыдкове отправляется водосвящение 26 числа августа в день Владимирския Божия Матери. На месте том поставлена тогда же и часовня.

Но увы! Избавившись от язвы телесной, не освободились мы от язвы сердечной.

Мать моя лишилась брата своего родного барона Сергея Николаевича. Потеря сия тем для нас была чувствительнее, что он скончался очень молод, оставя после себя жену с малолетним сыном. Хотя со стороны достатка ребенок был весьма обеспечен, даже богат; но что заменит отца или мать? Дети без них при всяком избытке всегда сироты.

Приспел срок и бабушки моей старицы Нектарии. Она не пережила сего лютого для России года и июля 3-го числа скончалась. Скоро дошло до нас сие известие. Оно всех поразило. Отец мой, привыкший чтить ее, любить и повиноваться, так тронут был сим несчастьем, что у него отнялась рука. Все плакали об усопшей. И как иначе? Кого из нас она не жаловала? не тешила? Меня ласки ее от всех прочих отличали. Часто, держа меня на коленях, она сквозь слезы восклицала: "Ванюша, друг мой, чье ты имя носишь?" Несчастный супруг ее беспрестанно жил в ее мыслях. Но я при известии о кончине ее не в том еще был возрасте, в котором чего-нибудь другого жаль, кроме игрушек. Зато ныне, вспоминая об ней, я каждую строку сей тетради орошаю слезами. Конец ее был подобен смиренной ее и надежной жизни. Приготовясь верою к вечному животу, она переселилась в небесные обители без трепета и унынья. В последнее время у нее часто шла кровь горлом, и тем прекратились дни сей необыкновенной женщины.

Она как будто предузнала приближение своей смерти и заочно всех нас благословила разными иконами. Мне прислан после нее крест с мощами, а дому нашему вообще пожалован ее большой образ нерукотворенный Спасителя. [...]

По кончине ее доставлены к отцу моему разные ее бумаги, между коими занимательны для каждого записки ее руки[212], о том, как она помолвлена, венчана и потом отправилась в Сибирь. Сокращенный журнал сей спустя много лет был напечатан. Все читали его в Москве

[212] См. на с. 85—87 настоящего издания.

со слезами, и жалеть по справедливости можно, что она изволила его кончить на самом том месте, как началось пребывание ее в ссылке. Думаю, что чувства ее не сильны были выдержать нового испытания, и она не рассудила волновать своего сердца таким горестным повествованием. [...]

Я бы желал, несмотря на слабость моих к тому способностей, приняться написать историю сей Героини нашего времени: ибо великие люди принадлежат всем векам; но недостаток рукописей принуждает меня оставить сие намерение: нечем руководствоваться, кроме слухов. Они рассыпаны повсюду, но может быть, не все достоверны. Впрочем весьма довольно и того, что в разные позднейшие времена было о ней писано и печатано; довольно и самых исторических событий, дабы о княгине Наталии Борисовне Долгорукой сделать заключение неложное, что она одарена была характером превосходным и приготовлена от юности к душевному героизму. Вот как воспитывали женщин в старинной России!..

Если я и здесь повторил, может быть, сказанное выше о ней же, то прости, читатель, моему восторгу и чувству сильнейшего к ней благоговения.

1772

Мне минуло 8 лет, и пора приходила уже вверить мое воспитание мужскому полу. Мадам Constantin, добрая старушка, присмотрев за мной в первых годах моего ребячества, становилась для наук моих бесполезною. Много одолжен был я искренним ее попечениям. Она меня от души любила: жаль было с ней расстаться; но вдвое грустнее было перестать ночевать в одной комнате с мамушкой Марьей Карповной, которая часто прикармливала меня пряниками с золотом и по сродной женщинам слабости иногда давала волю блажить. Впрочем, с ней я мог видеться в свободное время от уроков; она оставалась жить в нашем доме, а мадам, сделавшись ненужною для нас, пожелала сойти, — и навсегда нас покинула. С признательностью общей родители мои ее отпустили. Как не возблагодарить стократно того доброго человека, в какой бы стране он ни родился, который оберегает нашу юность от всякого зла рачительным присмотром, и к наставлениям в благонравии присоединяет примеры добродетельной жизни! Имя madame Constantin будет всегда в устах моих отзываться с благодарением, любовью и похвалой. В седых волосах вспомню, что сиживал у нее на коленях, пивал из рук ее чай, и... поплачу, что ребячество мое, сие счастливейшее время жизни, пролетело, как миг. Всякий возраст имеет свои печали; это — первая, которую я испытал, умея уже чувствовать различие между словами: весело и грустно. Я платил дань природе, как младенец; а родители мои делали свое дело и руководствовались в образе моего воспитания благоразумными опытами.

Отец мой, образовавшись, можно сказать, сам собою без пособий сторонних, чувствовал более многих, сколь полезно иметь в юношестве образователя надежного и сколь трудно из собственных опытов своих извлекать правила для жизни. Ему угодно было предназначить меня к иностранным делам. Цель сия требовала познаний обширных и уважительных. Необходимы были чужеземные языки. Все это требовало наставника просвещенного. Ни слова не скажу о тех двух иностранцах, кои на первых порах вступили в дом наш, и года два у нас пожили. Они не могли заслужить доверенности моих родителей, притом же разные обстоятельства препятствовали основательным образом предпринять мое воспитание. И так я только привыкал около г. Руле лепетать по-латыни и по-французски и запасался первыми материалами к методическому учению.

План, предначертанный моим отцом, обнимал следующие предметы: латинский, немецкий и французский языки, историю, географию, поэзию и математику. По мере возраста предполагалось обучать и другим разным то полезным, то приятным художествам. Все это постепенно возьмет свое место в моей истории — там, где следует. Теперь я заметил только тот год, в котором стал помаленьку отвыкать от женских поблажек и снаравливать присмотру надзирателя одного со мною пола.

В религии наставником моим был кроткий и добрый — пожилой иерей Ал. Ст. Он руководствовал совесть мою и готовил меня исподволь к тем истинам, кои по времени должны были озарить мою душу. Из его кратких христианских бесед учился я с ребячества распознавать, что грех и что добро пред Богом.

1773

В этом году не случилось ничего замечательного с нами, и потому займусь как бы на досуге сокращенным изъяснением моих свойств физических и нравственных — отрочества. По наружности я был чист, румян, но дурен и обезображен от природы челюстью нижней непомерно широкой и толстой губой, по которой, когда я ее распускал, называли меня часто разиней. Сложения я был мокротного и очень подвержен золотушным болезням: от них я терпел много скорбей различных. Темперамент мой с малолетства казался быть по сей причине флегматическим; но напротив я был холерик. Умственные мои способности раскрывались медленно; я был туп, понимал уроки с трудом; лучшее сокровище мое была память, — твердить наизусть был мастер. С языка лилось, как у попугая; но все забывал назавтра. Душевно был открыт, сердоболен, но горяч и страстен, а более всего упрям. От этого меня жестоко унимали.

Вместе со мной обучались всему, разумеется кроме латыни, и сестры мои, приходя в возраст. Мы воспитывались одинаково, тем же иждивением, с таким же попечением. Чадолюбие наших родителей простиралось на всех четверых в одной и той же мере. Знайте сие раз навсегда, без повторения; ибо пишу свою собственную биографию, я пространно говорить буду о себе только одном и о том, что собственно до меня коснется и составит необходимый эпизод в моей жизни.

1774

Соскучив отставкой и праздной жизнью, отец мой рассудил искать упражнения в службе. Иван Иванович Бецкий[213] открыл ему дорогу. Ходатайством его батюшка 20 января определен опекуном в московский Воспитательный дом в том же чине, т.е. гвардии капитаном, где и вступил в новое поприще, состоя под непосредственным начальством ходатая своего Бецкого. Иван Иванович был тогда одним из первейших сановников в нашем государстве. Он был человек кроткий, просвещенный и благонамеренный. Вот главное! Екатерина II имела к нему отличное уважение, и, сверх многих других поручений, особенно вверены ему были столичные сиропитательные дома и достославный Смольный монастырь, в котором жили и воспитывались беднейшие благородные девушки законного рождения на всем казенном коште. Сии заведения вполне процветали при Иване Ивановиче Бецком. Общая молва признательна была к его способностям, и он к счастью сирот сохраняем был самим небом до престарелости, почти необыкновенной уже в наши дни. Служа под начальством его, батюшка находил истинное удовольствие в трудах своего звания.

От дня моего рождения, которое, как сказано, последовало на Тверской, мы до сего времени жили в разных домах и переменяли их часто. Батюшка, по приращении своего семейства и по другим собственным видам своим, то покупал готовые дома и после продавал их, то временно живал в квартирах наемных; ныне расположился он по мыслям своим выстроить себе дом каменный с подошвы, — и заложил оный 18 мая на Тверской же. Сие составило в семействе нашем значительное происшествие, и потому о нем здесь помещаю, — хотя несколько лет спустя и оно попадет в число мимоходящих случаев в жизни человеческой. Но что в юдоли нашей вечно?..

В течение того же года мать занемогла горячкой. Сила болезни долго боролась со всяким врачеством. Даже жизнь ее была в отчаянии. Но

[213] Бецкой И.И. (1703—1795) — общественный и государственный деятель. Учредитель Воспитательного дома в Москве, главный попечитель Смольного института и других воспитательных заведений, автор проектов реформ образовательных учреждений в России при Екатерине II.

кто как Бог! — Милостью его сыскалось и вспомоществование. Опытный доктор, некто Г. Скиадан, грек породою, призван был на медицинские совещания, взял больную на свои руки, лечил и вылечил. Весной наступающего года мать моя совсем исцелилась от болезни; но с того же времени открылись в ней разные хронические немощи, от коих она уже не освобождалась.

Приняв намерение писать сию большую книгу более для детей моих, нежели для всякого, я за правило поставил себе откровенно беседовать с ними о шалостях моих, дабы они, когда со временем будут воспитывать детей своих, умели в поступках их различать порочное с умыслу от шалости, свойственной каждому ребенку; и для того не промолчу здесь о первой моей уважительной шалости. Monsieur Roulé столько ужо научил меня по-латыни, что я мог перенять выражение латинского слова и даже написать его при нужде без ошибки. Во время лекарских съездов по случаю матушкиной болезни к нам в дом наслушался я разных латинских ботанических названий и нагляделся на форму, какой писались рецепты. Вздумалось мне и самому похвастать своим мастерством: я написал рецепт, составил его из разных знакомых мне слов и, подписавшись под руку домового нашего лекаря, отправил с мальчишкой в аптеку. Состав был, видно, необыкновенно крепок и, может быть, смертоносен. Аптекарь оставил рецепт, а лекарства не отпустил. Лекарь наш о сем уведомлен и в страшном испуге кинулся к батюшке. Начался домашний розыск; дошло дело до меня. Пришлось повиниться и пасть на колени, — но это не спасло моей плоти: меня порядочно наказали, — и поделом!..

[...]

1775

С новым годом судьба кинула на нашу кровлю и новые печали и новые радости. Дело обыкновенное! Дядя мой родной, он же и крестный отец, барон Ал. Ник. Стр.[214], стоял с полком кирасирским, которым он командовал, в Польше; при выходе оттуда вздумалось ему потешить мать мою. Для сего он выпросил у тогдашнего короля Станислава патент мне на чин полковничий (который и до ныне в бумагах моих хранится), а с ним вместе майорский чин для моего учителя г. Руле. С сими бумагами прислан к нам от него 14 января полковой адъютант. С каким восторгом встречен гонец в нашем доме! "Ивашинька полковник" какая радость! какое торжество! Сколько благодарных писем написано к дяде-благодетелю! Сколько подарков накуплено для вестника! — и вся эта радость по времени обратилась в дым. Патент, преогромный, только умножил собою число детских моих игрушек.

[214] Строганов.

На первых порах отец мой составил на счет меня следующий план: ему угодно было, чтобы я съездил в чужие края и, конча там науки, явился бы в Польшу для вступления в службу по чину, мне королем пожалованному. Но по зрелом размышлении план этот был оставлен отцом моим; патент спрятали в чаянии, что, может быть, как подросту, он будет мне на что-нибудь полезен; умолкли потом рукоплескания семейные, и столь радостный случай в первую минуту превратился потом в самый ничтожный, о котором нам после не было даже удовольствия разговаривать между собою. Минутное обольщение фортуны уступило место коренным попечениям моих родителей; и они прилагали труды к трудам, чтобы как можно лучше образовать мои юношеские годы и сделать меня человеком достойным.

Весною мать моя освободилась от своей опасной болезни, и среди лета батюшка решился вместе с ней отправиться в Петербург. Нужным казалось отцу моему ознакомиться с начальником своим Бецким. Поехала с ними и сестра моя большая, а мы, меньшие дети, остались в Москве, под присмотром; я у Руле, а сестры обе у взрослых наших родственниц, девиц Я.., находившихся под покровительством моего отца. Кстати здесь я должен сказать, что, по добродетельным свойствам родителей моих, дом наш наполнен был бедными девушками. Сверх упомянутых двух, кои жили под кровлей нашей не от нужды, но потому, что, лишась родителей своих и имея братьев, воспитывавшихся в кадетском корпусе, они нашли более приличным для себя укрыться у нас, нежели жить одним в своем доме, содержались у нас еще две неимущие девушки Гр...вы и барышня Г...а. Вот из скольких и каких лиц составлялась наша община по отъезде батюшки с матушкой; я же с утра до вечера обучался иностранным языкам.

[...]

1776

По соединении всего нашего дома опять в кучку жили мы летом, как обыкновенно, в Волынском, и там батюшка имел несчастье вышибить себе руку. Вот как это случилось. Он жаловал кататься по вечерам в линейках. Проезжая чрез лощину, он забоялся и думал, что лучше будет пройти пешком; не останавливая лошадей, спрыгнул с линейки, споткнулся, упал и кость плечная вон в ту же минуту. Насилу его привезли домой; нестерпимая боль его тирански мучила. Матушка была вне себя и болезнь ее новую получила силу. Все мы были в тревоге чрезвычайной; но терять время в одних суетах около больного бесполезно; послали за алексеевским костоправом: мужик простой из-под Москвы славился тогда своим искусством. Как странно, что в таком обширном столичном городе один только крестьянин способен был

помогать страждущим в подобных случаях! — да и тот делал свое дело почти самоучкой, без малейшей легкости, что́ он доказал и над моим отцом. Но делать было нечего. Другой помощи искать было негде. Измучивши отца моего, вправил он ему руку. После сей, можно сказать, не операции, а пытки, отец мой сутки-двое был очень опасен. Медик угрожал ему антоновым огнем[215]. Но, благодарение Богу! крепкая старинная натура все перенесла, и батюшка, пострадавши с полгода, наконец выздоровел; никогда однако же не мог он уже поврежденною рукою действовать так свободно, как прежде, и при каждой перемене погоды она у него до сих пор страждет. Это обстоятельство принудило его взять снова отставку и простудило в нем на некоторое время желание поворотить службою то, что он прежней отставкой потерял. Заметим, сколько отец мой имел на пути ко счастью преград! сколько сопротивлений встречал он своим предприятиям! неудача за неудачей, убыток за убытком. Но, твердый в религии, он не унывал, бодрствовал и только от Бога чаял всех своих подпор и уврачеваний. Учитесь, дети, таким правилам: они тверже суетных покровителей мира, краше злата и топаза!

Здесь упомяну я о вступлении в наш дом иностранца Совере, которому обязан я много своим воспитанием и образованием в науках. Он родом был француз и принадлежал к сословию иезуитов, служил некогда в Испании и носил тамошний мундир; человек был умный, сведущий и крайне осторожный; сердце имел доброе и благородное. О! Я никогда не постыжусь сказать, что из всех моих сторонних наставников никому я не должен такою благодарностью, как ему. Он жил в нашем доме до самого вступления моего в свет и кончил образование моей юности. Батюшка принял его тотчас по возвращении своем из Петербурга, не доволен будучи предместником его, который отошел от нас, сообщивши мне некоторые первоначальные сведения и приготовивши только к тому, чтобы я мог начать с пользой основательное учение.

1777

Г. Совере, войдя в виды моего отца, налег со мною на латынь и довел меня до того, что я мог уже заниматься Горацием, Вергилием и прочими писателями. Корнелий Непот был так мне знаком, как русская книга.

Батюшке хотелось теперь проложить мне дипломатическую дорогу и на сей конец он располагал отправить меня в чужие края на несколько лет в хороший университет; но советы Ивана Ивановича Шувалова поколебали его в этом намерении более, нежели самая расстройка име-

[215] Гангреною.

ния. — Шувалов был из числа ближайших бояр, обер-камергер и университета Московского главный попечитель; — им учреждено было сие училище в царствование Елисаветы, при которой род Шуваловых отличною украшался доверенностью престола. Шувалов долго жил в Париже и нагляделся на образ воспитания молодых россиян, приезжавших туда обучаться. Лета его и опытность давали ему право о предмете сем рассуждать решительно. Он, наклонен будучи к пользам своего отечества, любя истинное просвещение и питая почти пристрастное чувство к российскому университету, убедил отца моего записать меня в оный. Батюшка с доверенностью внимал его советам и скоро согласился с ним. И так проект моего путешествия остался без исполнения. Я записан в университет Московский и принят по предварительном экзамене в латинском и французском языках.

Около четырех лет обучаясь дома, я мог уже слушать профессорские лекции. С одобрения двух профессоров, Чеботарева и Аничкова, назначено мне ходить в следующие классы, а именно: к профессору Барсову слушать поэзию, к Аничкову — логику и метафизику, к Рейхелю — всеобщую историю, к Чеботареву — российскую высшую словесность, к Росту — физику; а у протоирея Петра Алексеевича слушал я Закон Божий. Университет имел при себе в одном и том же составе гимназию, где обучались ученики низшего разряда разным приготовительным предметам. Из нее поступали в вышепоказанные классы к профессорам те только ученики, кои заслуживали повышения в студенты; и хотя я не был еще студентом, но удачный мой опыт на экзамене отворил мне вход на профессорские лекции; я начал их слушать ежедневно от 8 до 12 утра и от 2 до 6 пополудни. Между студентами один только я был ученик. Г. Совере позволено было являться вместе со мной на лекции; следовательно, присмотр за мной был повсюду неослабный. Из такого ко мне снисхождения университетских властей извлекал я ту существенную пользу, что по вечерам, возвращаясь домой, мог слышать от Совере вновь объяснение всех профессорских лекций того дня, и поскольку они преподавались на латинском языке, то мне и нужно было тем прилежнее повторять их дома под руководством своего учителя. Слушая профессора при многих, не так удобно можешь все понять и удержать в разумении. Таким образом начал я учиться с сентября месяца. Директор университета Г. Приклонский оказывал мне полное покровительство; куратор, престарелый и добрый Мелиссино, являл мне часто знаки своего благоволения; гг. профессоры принимали во мне участие непритворное; студенты, сотоварищи мои, были ко мне ласковы: оставалось самому не быть ленивому и пользоваться временем. О, сколь много обязан я был стараниям моих

родителей и попечению моего Совере. Не дерзну приписать успех моего экзамена и все счастливые его последствия моим отличным талантам и трудам; сохрани меня Бог от такой гордой мысли. Во всем способствовали мне: покровительство Шувалова, внимание родителей моих к учителям, их услуги и ходатайства неотступные!

Не отважусь также сказать здесь ни слова о том, полезнее ли был для меня такой ход воспитания перед тем, какой дан бы был мне в чужих краях. Вопрос сей решить может одна опытность: моя слишком недостаточна еще, чтоб произнести решительный приговор; думаю только, по неограниченной любви моей к родителям моим, что всякое их о мне предположение долженствовало быть и лучшим и правильнейшим. Все, что им угодно было на мой счет придумать и основать, привык я почитать для себя совершенным. Вот в чем и доныне состоит все мое любомудрие.

Между тем настоящий год должен особенно быть мною замечен потому, что в оном я первый шаг сделал из родительского дома в общее семейство Московского университета, следовательно, вступил в мир и начал жить с людьми.

[...]

1778

Школьная жизнь доставила мне разные приятности и развернула суетные побуждения самолюбия. По случаю рождения Великого князя Александра Павловича 12-го декабря протекшего года Московский университет праздновал торжественным академическим актом в январе месяце сие вожделенное событие. Съезд был огромный. Вся столица была приглашена слушать стихи и речи, кои на разных языках были произнесены профессорами и студентами. И я удостоен был чести на сей раз причислиться к их сословию. Г. Чеботарев сочинил краткую на русском языке речь, согласную с моим возрастом, которую я проговорил наизусть с кафедры. Надобно заметить, что ученики, произносившие разные стишки, на кафедру не становились: это преимущество принадлежало только студентам. Пусть вообразят, сколь важно было для меня им воспользоваться! Сколько же я и трусил, приготовляясь к такой новой почести! — В юных летах наших и малость делается важным происшествием. Со мною вместе робели за меня и все домашние. — Наконец наступил знаменитый день! Пришел срок, и я взмостился на кафедру, с которой чуть видна была моя головенка, — принял вид важный и заговорил. Голос мой сначала задребезжал, меня всего приняла дрожь боязни; но отступать уже было поздно; дело начато, — надлежало кончить, — и речь свою я выговорил довольно удачно. Разумеется, она была невелика. Рукоплескания раздались во всей зале.

Сколько в ней было тогда отцов и матерей и могли ли они равнодушно смотреть на ребенка, поставленного на таком месте? Как услаждался во мне червь самолюбия! Сердце билось, как маятник. Сошедши с кафедры, я бросился в объятия моих родителей. Первые восторги моей радости принадлежали им бесспорно. Слезы их с избытком вознаграждали меня за все мои беспокойства. Все были мной и я всеми доволен; и тот меня подзовет, и другой, и третий; кто поцелует, кто похвалит, кто скажет с улыбкой благоволения: "bravo, mon prince!" — а мое Я растет выше Ивана Великого... О сладкие обновы сердечных радостей! — износитесь вы скоро, — минуты ваши летят, как вихрь, ничто их возвратить не может...

В июне бывают ежегодные экзамены. Университет целый месяц ими занимается, а 30 числа они оканчиваются публичным торжественным актом, на котором дают награждения учащимся. Испытания в низших классах были для меня весьма счастливы: я получил награждение из русского класса Г. Чеботарева, — оно состояло в книге с надписью золотыми буквами: за прилежание. Книга эта доныне у меня хранится, как памятник юношеских моих успехов. Мне даны были некоторые сочинения Ломоносова in quarto. Дорога́ не книга, но цель сего подарка. По экзаменам высших классов я удостоен производства в студенты; публично провозглашен им при многочисленном собрании зрителей в аудитории и из рук г. директора Приклонского получил шпагу, как отличительный знак студента, получающего, по установлениям университета, вместе с академическим сим названием право на офицерский чин при выпуске. Кто бы на моем месте не обрадовался такому быстрому полету?

Под конец года университет лишился одного из лучших своих профессоров: г. Рейхель скончался. Он был мастер своего дела, и полатыни говорил без запинки; сладкоглаголив был в классе и внимание наше без принуждения за ним следовало. Со всею почестью, должной его заслугам, погребен сей ученый муж в лютеранской кирке. Все студенты сопровождали гроб его и меня с ними туда же возили. Все о нем единодушно жалели. Вот как в наше время умели ценить достоинства, умели оказывать признательность добродетельным наставникам! Я не могу умолчать о сем, дабы дети мои, которые, может быть, в иных временах застанут иные нравы, видели из моей истории, что благодарность составляла лучшую добродетель нашего века, и в воспитании юношества она ставилась существенной обязанностью. Дай Бог, чтобы это правило сохранилось; но сомневаюсь. — Место Рейхеля в университете заступил г. Чеботарев, который переведен из гимназии, и начал преподавать нам историю уже не на латинском, а на русском языке;

что я нахожу весьма правильным; ибо свой природный язык всегда знакомее чужого, следовательно, и наука вразумительнее. Скоро последовали сему во всех классах, и русский язык сделался наконец общим во всех учебных заведениях.

Говоря о полезных моих трудах, не скрою и шалостей. Кто без них вырос на свете? Правда, я мало имел для них досуга; праздного времени оставалось у меня немного, потому что, кроме университетских лекций, я многим предметам обучался еще и дома, как например немецкому языку. Впрочем, мне всегда было жаль батюшкиных издержек на этот предмет: наречие германское мне вовсе не давалось, учился года два, и слова не затвердил. Славный Matecin учил меня фехтовать, и я принялся за ремесло рубаки прекрасно. Missoly и Grangé выправляли мне ноги, — и я плясал изрядно. Старый артиллерийский сержант занимал меня математическими упражнениями, но — грешный человек — дошел до дележа, и в пень стал у дробей! — в манеже славный Деккер гонял меня на хорде несколько месяцев и, в угождение батюшке, дал мне стремена и шпоры. — Всю школу выездил, а верхом сидеть не выучился: что сяду на лошадь, то и долой на пол, ногами вверх. Ходил даже ко мне и солдат из-под Новинского приучать меня к барабанному бою. Я все военные бои вытвердил и тревогу задавал в лукошко, ходя по нашему палисаднику, мастерски. Одному рисованию и музыке я не научился, потому что не имел терпения обводить карандашом глаза и носы, также и пальцами не умел перебирать струн. Принимался за то и за другое: тщетно! — чего не дала природа, того не развернешь. Всякое существо имеет свои способности; их одних и возделать могут труды и воспитание.

Казалось бы, что при таких неусыпных трудах и беспрестанных уроках некогда проказ творить; но ребенок на все найдет время. Я успевал между классами во время звонка, сойдя на двор будто бы для нужды, столкнуться с разносчиком и нахватать в долг коврижек. У меня завелись потаенные приятели: Прошка кондитер и Б... пряничник, и, когда долги мои обнаруживались, батюшка их оплачивал наличными деньгами, а меня секали свежими прутьями. Но все это только шалости. Исповедую здесь откровенно проступки моей юности, кои ныне, приходя мне на память, обращают все мое негодование на самого себя, потому что они были порочны, — и — слава Богу! вечная благодарность родителю моему и наставнику Совере! — без их строгого надзора я мог бы сделаться самым развратным человеком. Нет ничего труднее, как назидать ребенка. Первые движения нашего сердца, первые наши помыслы требуют бдения за нами неотступного. Вот несколько случаев, которые могут служить доказательством сему замечанию.

Служба моего отца и место его в Коллегии экономии привлекали к нему разные лица и чины. Один из знакомых батюшки ездил к нам часто обедать и посидеть. Из каких-то видов желая подслужиться батюшке, он стал особенно ласкать нас — детей, в надежде уловить родителей моих слабостью чадолюбия. Меня выучил он играть в карты и, не смея подвернуться с подарками, проигрывал мне в дураки и в марьяж по 5 и по 10 рублей. Появились у меня деньжонки; я хвастал своим счастьем в игре и так мало видел в ней худого, что даже однажды не потаил удачи моей над игроком самому Совере. Тот сметил, в чем дело, снесся с отцом моим и совокупно стали действовать. Батюшка отказал своему знакомому от дома, а у меня Совере отобрал все до копейки и строго наказал за мою шалость. На то время она была только ребячеством, но могла укорениться и сделаться страстью подлой, низкой. Подобные покушения тушить должно с первой искры. А с каким злодеем можно сравнить человека в летах и с чином, который подобными путями запутывает в свои сети и самую невинность? Какая чума для детей люди такого рода.

Долги, в которые вводили меня пряники и детские лакомства, хотя не могли быть огромны (всякому это понятно), однако все превышали тот рубль, который мне иногда подарят, бывало, батюшка и матушка, как ребенку, или за хороший урок или за смирную вечеринку. Задолжавши больше, я боялся сказать и вывертывался обманами. Никогда, никогда не прощу себе, что я не стыдился прибавлять счет билетов часовых учителей и, делавши это в такое время, когда Совере на несколько месяцев отлучался, употреблял во зло доверенность отца моего, который, платя через меня учителям деньги, всегда выдавал мне по числу билетов лишнее против того, что должно было; а я сими излишками оплачивал мои прихоти и всегда сводил прекрасно концы с концами. Тем тягостнее для меня ныне воспоминание такой лжи, и, скажу без прикрас, такого мошенничества, что никто о том не знал, никто меня не учитывал, и я за этот поступок остался не наказан. Чем полнее была ко мне доверенность моего отца, который лучше обо мне думал, нежели сколько я сто́ил, тем чувствительнее я в поступке моем раскаивался, пришедши в возраст. И для чего все это делалось? Для каких-нибудь бисквитов или вяземской коврижки, которые, бывало, тороплюсь тихонько в углу где-нибудь съесть, чтоб не видали! — И самое лакомство теряло свою сладость в волнениях боязни. О, сколько нужно трудов около ребенка!

Как камень свалил с души, сказав здесь о тайных моих грехопадениях в юности! Взяв намерение писать сию книгу для своего потомства, я тем откровеннее говорю о себе, что хочу привлечь к словам моим

полную веру детей моих, ежели оными благословит меня Бог; — хочу, чтобы они видели меня со всеми моими недостатками и пороками, и учились бы моими опытами исправлять подобные слабости в себе. Может быть, и они не избегнут в течение своей молодости тех или других проступков: желаю только того, чтоб они в них раскаивались также чистосердечно, как и я, и чтоб всегда на памяти было у них, даже и в зрелом возрасте, признание Царя Давида, изрекшего некогда: Господи, грех юности моей и неведения моего не помяни!

1779

По каким-то маловажным несогласиям добрый Совере оставил дом наш, но через несколько месяцев опять переехал к нам. Тем временем, дабы я не терял порядка в занятиях своих, ходили ко мне давать уроки в свободные часы от университетских классов г. Чеботарев, который уже несколько лет обучал меня и сестер моих русской словесности, — студент Курика, который проходил со мною латинский язык и укреплял в оном, и студент духовной академии Михайло Гумилевский, бывший потом под именем Моисея Феодоссийским епископом: он толковал мне церковную историю и катихизис. Таким образом, я и без Совере был беспрестанно занят. Но по привычке к нему все мне было его жаль, и я обратному его вступлению в наш дом очень обрадовался.

В этот год развернулась во мне новая способность, ничтожная сама по себе, но которая, как увидят по времени, важное имела влияние на судьбу мою. Батюшке угодно было, обновя построенный дом свой, доставить нам забавы, свойственные нашему возрасту, и для сего построен был в зале небольшой театр, на котором я, в первый еще раз, стал играть и трагедии и комедии. Природная склонность тотчас оказалась. Никто меня не учил декламировать; но уж видно было из детских моих приемов, что я достигну до некоторого совершенства в этом роде, — и признаюсь, что я без всякой натяжки сам пристрастился к актерскому делу. К чему нас влечет природа, то мы и будем. Если б я попался на руки к славному тогда Дмитревскому: конечно, я бы вышел скорей совершенный актер, чем дипломат, философ или что-нибудь другое.

Не стану рассуждать о том, есть ли добро или вред от театров в обществе. Все вещи в мире имеют разные виды. Одобрение или хула часто происходят не столько от сущности действия, сколько от того, с какой точки зрения человек на него смотрит. Многие писали против театров, многие за них. Задача не решена; а между тем от самой глубокой древности находим в человеческих обществах театры и подобные им зрелища. Но воротимся к себе. Мы несколько раз поиграли зимою в своей семье, и от этого я лишних тысячу стихов вытвердил наизусть и

по-русски и по-французски, коих, думаю, до смерти не забуду. Все, что в молодости попадет в голову, врезывается в памяти, как на меди, и едва ли стирается даже под старость.

Природа своим обыкновенным порядком стала образовывать мою физику. Я вступил в юношество, которое латинская грамота называет *adolescentia*, и, как просто говорится по-русски, *перед усами* — занемог сильной горячкой. Она была продолжительна, даже опасна. Весь Великий пост я не вставал с постели. Лечили меня Скиядан и домовый лекарь Феттер. Сей последний много трудами своими вспомоществовал моему выздоровлению. Неоднократные шпанские мухи замучили меня. Спознался я с латинской кухней и с немощами человеческими, строгая диета, по мере облегчения моего, еще более меня тиранила, чем все химические приправы господ врачей. Тяжело было и мне и родителям моим. Все около меня плакало. Смерть была, так сказать, у меня на носу; но что́ мы знаем, бедные человеки, об участи нашей? Все от нас сокрыто в будущем. Как часто природа, по манию Вседержителя тварей, затягивает в жизни нашей такие узлы, от которых, кажется, в минуту вся нить ее перервется, когда напротив клубок дней наших еще велик и весьма еще далеко до последней — глухой петли. — Благодарение Богу; спасибо Феттеру! — Я выздоровел, стал опять на ноги, начал расти и сделался парнем. Услышал Отец Небесный молитвы родителей моих, и к великому дню праздника Христова я уже мог с сестрами свободно катать яйца.

Потом опять за ученье, опять в университет. Весь июнь по обыкновению прошел в экзаменах. К торжественному акту задан был в классе высшей словесности латинской и русской от г. профессора Барсова предмет для диссертации "laus Ciceronis"[216]. Все студенты того класса, в том числе и я, обязаны были представить на латинском языке похвальное слово сему великому римскому оратору. В университете был такой закон: когда ученики нижних классов получали в награду за прилежание книги, рисунки и прочие вещи, тогда студенты высших наук награждались за превосходную диссертацию золотой, а за лучшие из прочих серебряной медалью. Первая готовилась только одна, а последних чеканили три с особенными на них учеными изображениями, приличными случаю. Принялся и я за диссертацию и написал ее всю сам. Но надобно было ее отработать и дать ей печать посильной изящности. В этом обязан я был попечению сотоварища моего в классах и учителя в доме, помянутого Курики. Он со мною вместе прочел ее всю

[216] Слава Цицерону (лат.).

и погрешности исправил, недостатки пополнил, слабые места усилил. Диссертация вышла добра и я за нее получил серебряную медаль, которую долго хранил, но потом потерял, как будто бы в обличение, что не единственно самому себе был ею обязан.

При большом съезде в публичной аудитории сам г. куратор вручил мне медаль; и потом я в благодарность взмостился опять на кафедру и произнес французские стихи под названием le triomphe d'Apollon[217], которые на сей случай нарочно сочинил для меня добрый мой Совере. Таким образом, вместе с телом росла и слава моя в ученом вертограде.

Осенью того же года удостоен я новой чести в ученом свете: принят в *авскультанты* в Вольное российское собрание при университете, учрежденное с целью способствовать усовершению отечественной словесности. Авскультант есть звание академическое. По-русски можно объяснить его словом протоколист, потому что должность моя была, заседая в означенном собрании за секретарским столом, записывать голоса членов и прения их в особый журнал. В этом собрании присутствовали первостатейные профессоры и другие ученые московские знаменитости. Оно составлялось по вечерам в каждую субботу. В мое время происходил славный и громкий спор, о котором твердят многие и доныне, чтобы литеру ъ, яко букву, не имеющую своего отдельного звука и тем самым не нужную в письменах российских, исключить из азбуки, подобно тому, как перестали употреблять *кси, пси* и проч. Прение сие произвело множество насмешек, а пользы никакой.

Зимой матушка опять занемогла горячкой, и новый доктор г. Пегелау, приняв ее на свои руки, очень ей помог. Болезнь ее, по стечению разнородных причин, была тяжела и продолжительна и, хотя она освободилась теперь от горячки, так же, как и от прежней, но большую часть жизни своей, томясь в разных болезненных припадках, она стала наконец самой хворой женщиной.

1780

По пословице русской: чем глубже в лес, тем больше дров, живет и человек. Чем больше лет, тем больше опытов и случаев, к ним ведущих.

Меня дома занимал Совере переводом прекрасной книги г. Mercier под названием "Les Songes Philosophiques"[218]; но книга, ежели смею сказать, не соответствовала моему возрасту. Я не мог понять ее совершенно; следовательно, перевод мой вышел более набор слов, нежели смысленное сочинение. Домашние мои учителя, под руководством коих я трудился, сколько ни старались исправить мой перевод, но жела-

[217] Триумф Апполона (фр.).

[218] Мерсье Л.С. Философские сны. О Мерсье см. сн. 158 на с. 182.

ние сохранить в нем некоторые черты моей собственной работы сделало то, что перевод мой остался все не хорош, и только тогдашние мои лета могли извинить его недостатки. Книга в том же году напечатана[219]. Переводчик ее наименован авскультантом. Вот первый шаг к знакомству моему с ученой публикой. Я посвятил свой труд Ивану Ивановичу Шувалову, как жертву благодарности за покровительство его и попечение о моем образовании. Почтенный вельможа удостоил меня приветливым письмом, которого приложу я здесь копию. Это письмо составляло для меня важный трофей: оно обратило на меня внимание моих сверстников.

Дом наш в это время вовлечен был в необыкновенную рассеянность. Следующее обстоятельство подало тому повод: император римский Иосиф II, под именем графа Фалькенштейна, путешествуя по Европе, был в Петербурге и посетил Москву. Он изъявил особенное любопытство видеть университет. К посещению сему огромные были сделаны приготовления. Мы должны были в присутствии Высокого Посетителя слушать наши лекции и, так сказать, выдержать экстраординарный экзамен в разных предметах. Занимательнее всех прочих классов был для путешественника — физический. Профессор Рост приготовил несколько опытов, в числе коих назначено было и мне по части воздуха показать и изъяснить один. Мой опыт состоял в том, чтобы силою воздуха наружнего разбить в мелкие части гладкую поверхность стекла на металлическом стакане, когда из-под колокола вытянется воздушным насосом весь внутренний воздух. Насос сей называется на ученом языке anthia pneumatica. Даны мне нужные орудия. Зала была наполнена множеством зрителей. Мой взор устремлялся на одно лицо императора. Он со вниманием смотрел на действие, мною произведенное. Опыт удался совершенно: стекло треснуло; и путешественник, подозвав меня к себе, потребовал изъяснения причин, от чего сие так случилось. Я удовлетворил его вопросу на латинском языке. Ему угодно было спросить, кто я таков, и потом он с благосклонною улыбкой изволил меня отпустить. — В прочих классах уже дело до меня не доходило. Мнимый граф выехал из университета совершенно им довольный и, как мне казалось, заметил мое лицо. В публичных местах, куда начали уже вывозить и меньших моих сестер, император любовался невинностью княжны Анны, ее танцам и часто с нею говаривал, лаская ее, как ребенка. Подобные успехи в большем свете имела и

[219] "Философические сны 1, содержащие в себе шесть сновидений", переведенные с французского на российский язык Иваном Долгоруковым. М., 1780—1781. Ч. 1—2.

другая сестра моя, княжна Прасковья, как в Петербурге во время нашей поездки туда, так и в Москве на праздниках графа Шереметева, которые давались для прусского принца Генриха. И так со стороны детей своих родители мои были всегда судьбою довольны, а удовольствие их, отражаясь на нас, делало и нас счастливыми, и дома, и вне нашего семейства.

Отец мой, видя, что мне уже исполняется 18 лет, почувствовал необходимость записать меня в службу. Все молодые люди моего состояния обыкновенно в малолетстве записывались в гвардию и дожидались офицерских чинов по домам. Средство, общее с ними, для меня уже было опущено (упущено. — *О.К.*). Тогда, как многие в мои годы делались офицерами, неприятно было бы батюшке заставить меня служить в низшем чине и несколько лет ждать одинаких преимуществ с людьми, мне по всем отношениям равными. Остался один способ быть тотчас офицером, хотя и не в гвардии; — и сим способом обязан я университету. При учреждении его во времена императрицы Елисаветы Шувалов, сильный того века вельможа, установил с высочайшей конфирмации[220], чтобы всякий студент, изучивший латинский язык, выпускаем был по окончании наук из университета обер-офицером, и на основании сего узаконения я выпущен 3 июля в прапорщики. Военная коллегия выдала мне патент и записала меня в список первого Московского пехотного полка. И так я, вопреки общему обычаю того времени, вступил в службу полевым офицером и стал между своей братией дворянами нечто необыкновенное; потому что, как выше сказано, все почти без изъятия благородные люди и с малым достатком наполняли гвардейские полки. Во всяком из них считалось по несколько сотен унтер-офицеров, а в Преображенском даже за несколько тысяч. Из этой толпы юношей богатые и отличенные породой поступали в офицеры, а прочие выходили в армейские полки уже капитанами или, по крайней мере, поручиками. Мне одному суждено было показаться в свет прапорщиком армейским. Третье число июля сугубо сделалось для меня замечательным на всю мою жизнь. В этот день скончалась бабка моя схимонахиня Нектария, — и в тот же самый день, несколькими годами позже, я вступил на службу царю и отечеству!

Здесь оканчивается эпоха моего юношества и, по прямому моему плану, первая часть моей истории. О службе моей стану говорить в следующей. Теперь же еще изложу некоторые подробности о протекших годах домашнего моего воспитания. Несмотря на то, что я уже выпущен был из университета и перестал в нем слушать лекции, доб-

[220] Утверждение.

рый Совере оставался еще при мне, и я много упражнялся дома с ним и сторонними учителями, обучаясь немецкому языку и математике, ездил в манеж, фехтовал, танцевал и продолжал бить в барабан. Батюшка перестал обращаться ко мне с одними угрозами и управлять мною орудиями страха: он допускал уже меня до рассудительной беседы с собою, давал мне наставления и укорял с любовью, без вспыльчивости гневной. Матушка жаловала меня с нежностью, но без поблажек. Мамы не прикармливали пряниками тихонько, а дядьки не дирали за уши за все про все. Совере увещевал меня, но уже не стращал: все переменилось во мне и вкруг меня!

Странное нечто о физике моей передам здесь моему потомству. Я боялся посреди большой комнаты пройти один и приходил в робость от всякого насекомого; я бледнел и пугался ночных теней в саду, а паче на кладбищах. Станется, что мамы с ребячества моего пугали меня привидениями, лешими, ворожеями, как то часто водится; но, кажется, должно в подобных случаях при воспитании младенца отделять те страхи, кои вселяют в нас дурной навык, от естественных отвращений, кои всякому телу сродны и сопутствуют ему до гроба. Эту истину дознал я на себе опытом. Батюшка хотел, чтобы я ничего не боялся, и строгие предпринимал средства; не знаю, удалось ли бы ему исподволь и с мягкостью истребить во мне пустые мои страхи: думаю, однако, что нет, — полагая с своей стороны, что физическое отвращение от чего-либо, которое мы по привычке страхом называем, не может быть ничем искоренено, по крайней мере решительно сказать могу то, что строгость не помогла моему отцу, ибо я до сих пор, будучи уже женат и отец, все-таки боюсь большого пространства и широким полем или залою один никак не пройду. Врачи, с коими я о сем толковал, уверяли меня, и я на их мнения соглашаюсь, что это происходит от особенного устройства моего зрения. Иные боятся сверху смотреть вниз: — мне нет нужды; я с Ивана Великого глядел и не робел, напротив же, посреди поля или залы у меня задрожат колени, и я — ни с места. Мой взор ищет около себя границ: беспредельность его смущает. Сколько однако, и все напрасно, наказывали меня за это, приписывая шалости натуральный недостаток в организации! Помню я: однажды батюшка приказал мне взять жука в руки, я не послушался от страха; батюшка принудил, и я взял, но затрясся и побледнел. И теперь не могу я видеть этого насекомого; не боюсь, но чувствую отвращение, и непременно изменюсь в лице, когда жук попадется мне на глаза. Мало ли людей, которые боятся даже неодушевленных вещей? Подобных примеров множество. Батюшка, живя в Волынском, посылал меня часто одного после ужина, при сиянии полного месяца на ближнее кладбище и сам,

стоя на крыльце, смотрел вслед за мною. Никогда не возвращался я оттуда домой без трепета и нервической судороги. Я не боюсь мертвецов, но, возвращаясь с похорон, бываю и ныне смущен и задумчив, теряю сон и все мое воображение расстраивается. Довольно сих примеров, чтоб показать, как нужно худой навык отличать от естественного недостатка.

Прощай, юность драгоценная! Ты летишь от меня как сон, и одна память представляет еще тебя моему воображению. Скоро и та износится, — изгладятся в ней черты твои! — Буду еще говорить, что и я был ребенок, но уже не вспомню, не наслаждусь твоим ощущением, твоими забавами!

Вечная благодарность вам, наставники мои и учителя! Хвала достопочтенному ментору Совере! Хвала и признательность университетским властям за их попечение! — До гробовой доски сохраню память о ваших трудах и благоволении ко мне. До последнего издыхания стану благоговеть пред ликом добродетельных мужей: Шувалова, Мелиссина и Хераскова, кои с участием сердечным покровительствовали мне в храме Аполлона и не пренебрегали моими малыми способностями! Да усовершит же Бог толь благие начинания и да ниспошлет родителям моим отраду увидеть во мне некогда достойную отрасль своего знаменитого корня. Забывая чистосердечно все преграды, встречавшиеся отцу моему в его намерениях о мне, и покоряясь Промыслу, все устрояющему во благое, стократно возопию:

Благословен Бог, благоволивый тако[221], Слава Тебе! [...]

Публ. по: Автобиография отца моего князя Ивана Михайловича Долгорукого / Публ. М.И. Долгорукого // Москвитянин. Кн. XI. 1844; кн. XII. 1845.

ГОЛОВИНА Варвара Николаевна, гр. (1766—1821)

Представительница титулованного дворянства, из рода князей Голицыных, была племянницей И.И. Шувалова — последнего фаворита императрицы Елизаветы Петровны, основателя и первого куратора Московского университета, человека высочайшей культуры и образованности. Варвара Николаевна в 16 лет была представлена ко двору и сделалась фрейлиной императрицы Екатерины II. В 19 лет она вышла замуж за Николая Николаевича Головина, бывшего гофмейстером, а затем членом Государственного совета. Головина стала хозяйкой известного в Петербурге салона, несколько лет прожи-

[221] Соизволивший сделать так.

ла во Франции, вырастила двух дочерей. Она, по свидетельствам современников, была остроумна и находчива, обаятельна и изящна, при этом отличалась известной независимостью суждений и поступков и сохраняла безупречную репутацию.

"Мемуары" Головина создавала на протяжении десяти лет (1807—1817). Оригинал написан на французском языке. Впервые были опубликованы через много лет после смерти автора, сначала за границей, на французском и английском языках. Первая русская публикация — в "Историческом вестнике" (1899, № 11—12). Но еще до публикации мемуары были известны по рукописным спискам. В круг лиц, описанных Головиной, входили царствующие особы и их окружение конца XVIII—начала XIX в., она приоткрывала различные стороны жизни двора.

МЕМУАРЫ

Есть в нашей жизни пора, о которой вспоминаешь с грустью, пора, когда все хорошо: здоровье, свежесть впечатлений, присущая нам естественная живость. Ничто в это время не кажется невозможным, и мы наслаждаемся жизнью всеми способами. Предметы проходят перед нашими глазами, мы рассматриваем их с большим или меньшим интересом. Иные из них привлекают наше внимание, но мы чересчур увлечены разнообразием и не задумываемся над ними. Никогда мы не можем сосредоточиться на чем-нибудь одном. Воображение, чувства, наполняющие наше сердце, движения души, смущающие нас и как бы предупреждающие о том, что именно они должны господствовать над нами, — все это волнует, тревожит нас, и разобраться во всем этом непросто... Вот что я испытывала, вступая в свет, в ранней своей юности.

Мое детство почти все прошло в деревне. Мой отец, князь Голицын, любил жить в старинном имении[222], пожалованном его предкам. Мы оставляли город в апреле месяце и возвращались туда только в ноябре. Матушка была небогата и не могла дать мне блестящего образования. Я почти не разлучалась с нею. Своей добротой и ласками она добилась моего полного доверия. Не ошибусь, если скажу, что с тех пор, как я начала говорить, я от нее ничего не скрывала. Она позволяла мне свободно бегать повсюду одной, стрелять из лука, спускаться с холма, перебегать через равнину до речки, гулять по опушке леса, куда выходили окна комнат отца, влезать на старый дуб возле самого дома и срывать с него желуди, но зато мне строго запрещалось лгать, клеветать на кого бы то ни было, невнимательно относиться к несчастным, презирать наших соседей, людей бедных, грубоватых, но добрых.

[222] Имение родителей В.Н. Головиной — Петровское — находилось в Звенигородском уезде Московской области.

Едва мне минуло восемь лет, матушка стала нарочно оставлять меня с ними одну, чтобы я приучилась их занимать. Она уходила в соседнюю комнату, шила там в пяльцах и могла оттуда, не мешая нам, слышать весь разговор. Уходя, она говорила мне на ухо:

— Поверь, мое дорогое дитя, что нельзя проявить более любезности, чем заставляя себя быть любезной, и нельзя выказать более ума, чем в тот момент, когда применяешься к пониманию других, — слова, священные для меня, которые принесли мне большую пользу и научили никогда ни с кем не скучать.

Я хотела бы иметь литературный талант, чтобы описать наше поместье, одно из красивейших в окрестностях Москвы. Дом имел четыре башенки; во всю длину фасада тянулась галерея, боковые двери которой соединяли ее с флигелями; в одном из них жили мы с матерью, а в другом — отец и приезжавшие к нам гости. Вокруг дома рос громадный красивый лес, окаймлявший равнину и спускавшийся, постепенно редея, к слиянию Истры и Москвы. В месте слияния этих двух рек отражались золотые лучи заходящего солнца; вид был чудесный. Я усаживалась на ступеньки галереи и с восторгом любовалась этим прекрасным пейзажем. Взволнованная, растроганная, я приходила в особое молитвенное настроение, убегала в нашу старинную готическую[223] церковь и становилась на колени в одной из небольших ниш, где когда-то молились царицы. Священник тихим голосом служил вечерню, один певчий отвечал ему... Я стояла с наклоненной головой, и слезы текли по моим щекам. Это может показаться преувеличенным, но является истинной правдой. Я убеждена по собственному опыту, что в нас существуют предрасположения, которые проявляются еще в ранней юности и которые бесхитростное воспитание развивает тем легче, что вся его сила заключается в естественном развитии природных задатков.

Вскоре я имела несчастье потерять восемнадцатилетнего брата[224]. Он был красив и добр, как ангел. Матушка была удручена этим горем. Старший брат[225], находившийся в это время с дядей Шуваловым во Франции, приехал ее утешать. Я пришла в восторг от его приезда: я жаждала знаний, умственных занятий, засыпала его вопросами, кото-

[223] Храм в Петровском был выстроен в XVII в. Упоминаемая Головиной ниша представляла собой небольшую келейку-молельню, устроенную внутри одного из столбов храма и снабженную окошком, обращенным к иконостасу. Слово "готический" здесь употребляется автором чаще не в привычном значении, а в значении "старинный".

[224] Имеется в виду кн. Иван Николаевич Голицын (1759—1777), капрал гвардии.

[225] Кн. Федор Николаевич Голицын (1751—1827) — камергер, куратор Московского университета в 1799—1801 гг., мемуарист.

рые очень его забавляли. Я не имела никакого понятия об искусстве, но питала к нему настоящую страсть.

Мы отправились в Петербург для свидания с дядей[226], возвратившимся на родину после пятнадцатилетнего отсутствия. Мне тогда было десять лет, и знакомство со мной было для него тем более интересным, что я представляла собой полную противоположность всем виденным им прежде детям. У меня не было тех изящных манер, которыми обыкновенно обладают молоденькие барышни: я любила прыгать, скакать, болтать что придет в голову. Дядя меня очень полюбил. Нежные чувства, которые он питал к моей матери, усиливали его привязанность ко мне. Он был на редкость добрый человек. В царствование императрицы Елисаветы Петровны дядя пользовался большим влиянием и с той поры покровительствовал искусствам. Екатерина II также отнеслась к нему с особенным уважением, доверила его управлению Московский университет, пожаловала звание обер-камергера и ордена св. Андрея Первозванного и св. Владимира, приказала обставить мебелью его дом и оказала ему честь отужинать у него. Он был прекрасным братом и отечески относился к детям своей сестры. Матушка любила его, кажется, больше жизни. Он привез из-за границы множество самых изящных античных произведений искусства. При виде них у меня глаза разгорелись от восхищения: мне хотелось срисовать все, а дядя любовался моим восторгом и поощрял художественные наклонности.

Хотя наше пребывание в столице было недолгим, но я успела многое увидеть и многому научиться. То был как раз год рождения великого князя Александра. У всех вельмож происходили по этому случаю пышные празднества, на которых присутствовал и двор. У княгини Репниной был устроен бал-маскарад, на котором затевалась кадриль из сорока пар, одетых в испанские костюмы. Ее составляли наиболее видные и красивые дамы, девицы и молодые люди. Для большего разнообразия фигур прибавили еще четыре пары детей лет одиннадцати—двенадцати. Одна из этих маленьких танцорок заболела за четыре дня до праздника, и княгиня Репнина пришла вместе со своими дочерьми, чтобы упросить матушку позволить мне заменить эту девочку. Матушка уверяла, что я едва умею танцевать, что я маленькая дикарка, но все ее уверения были безуспешны. Пришлось согласиться, и меня повезли на репетицию. Самолюбие заставляло меня быть внимательной. Другие танцорки, уже умевшие танцевать, или, по крайней мере, думавшие, что это так, репетировали довольно небрежно, а я старалась не терять ни одной минуты. Оставалось всего две репетиции, и своим детским

[226] И.И. Шуваловым.

умом я старалась предусмотреть все, чтобы не уронить себя при первом выходе в свет. Я решила нарисовать фигуру кадрили на полу у себя дома и танцевать, напевая мотив танца, который запомнила. Это прекрасно удалось, а когда наступил день торжества, я снискала всеобщее одобрение. Императрица была ко мне очень милостива, а великий князь Павел изъявил особое благоволение, которое и продолжалось потом шестнадцать лет, но, как и все на свете, прекратилось, о чем я впоследствии скажу подробнее.

Императрица велела дяде привезти меня в собрание малого Эрмитажа. Мы отправились туда с дядей и матушкой. Собиравшееся там общество состояло из фельдмаршалов и генерал-адъютантов, которые почти все были старики, статс-дамы графини Брюс, подруги императрицы, из фрейлин, дежурных камергеров и камер-юнкеров. Мы ужинали за механическим столом: тарелки спускались по особому шнурку, прикрепленному к столу, а под тарелками лежала грифельная доска, на которой писали название того кушанья, которое желали получить. Затем дергали за шнурок, и через некоторое время тарелка возвращалась с требуемым блюдом. Я была в восхищении от этой маленькой забавы и не переставала тянуть за шнурок.

Два раза мы ездили в Москву. После смерти отца матушка перебралась в Петербург и поселилась в доме дяди. Мне тогда было четырнадцать лет. Именно в это время я встретила и обратила внимание на графа Головина. Я увидела его впервые в доме его тетки, фельдмаршальши Голицыной. Репутация почтительного сына и верного подданного и благородство характера, которое он выказывал, произвели на меня сильное впечатление, а его красивая наружность, высокое происхождение и богатство заставляли смотреть на него как на завидного жениха. Он тоже выделял меня среди всех других молодых особ, которых встречал в обществе, и, хотя не решался сказать мне этого, я его понимала. Прежде всего я поспешила сообщить об этом матушке. Та сделала вид, что не придает делу серьезного значения. Ей не хотелось смущать моего первого чувства, тем более что мой чересчур юный возраст и то, что граф Головин должен был вскоре отправиться в путешествие по Европе, создавали возможность испытать его чувства ко мне.

Во время его отсутствия матушка выказывала мне трогательную нежность. Его сестра, госпожа Нелединская, фельдмаршальша, отнеслась ко мне с участием и дружбой, и я была чрезвычайно этим тронута, ибо мое сердце начинало наполняться серьезным чувством.

Несколько раз меня сватали, но каждую партию, предложенную матушкой, я тотчас отвергала, ибо образ графа Головина немедленно представлялся моему воображению. В то время молодые люди были

гораздо благороднее и придавали большую цену браку. Тогда еще не узаконивали побочных детей: во все царствование Екатерины II был только один такой случай — с Чесменским, сыном графа Орлова. Император же Павел более чем злоупотреблял своей властью в этом отношении и поощрял, таким образом, распущенность нравов, которая совершенно подрывала основные принципы священных семейных уз.

Я продолжала бывать на малых эрмитажных собраниях. Там часто появлялся великий князь Александр Павлович, которому было всего четыре года, и его трехлетний брат, великий князь Константин. Приводили скрипачей, и начинались танцы. Я по преимуществу была дамой Александра. Однажды, когда наш маленький бал был оживлен более обыкновенного, великий князь, шедший со мной в полонезе, объявил вдруг со всей серьезностью ребенка его возраста, что хочет показать мне в дальних комнатах дворца нечто ужасное. Меня это очень озадачило и смутило. Дойдя до самой последней комнаты, он завел меня в нишу, где стояла статуя Аполлона, которая своим античным резцом могла ласкать взор артиста, но вид которой мог легко смутить девочку, к счастью, слишком наивную, чтобы любоваться выдающимся произведением искусства в ущерб стыдливости. Я позволила себе упомянуть об этом маленьком эпизоде лишь для того, чтобы легче восстановить в памяти все виденное мною при дворе. По справедливости я не признаю в себе никакого особого таланта и не умею писать мемуаров: они были бы недостаточно интересны. Мои записки лучше назвать просто воспоминаниями, дорогими для меня и часто занимающими мои мысли. Полезно иногда сравнить настоящее с прошедшим. Прошлое — своего рода записная книжка, с которой нужно часто сверяться для того, чтобы иметь правильное понятие о настоящем и уверенность в будущем. На своем жизненном пути мне чаще приходилось встречать цветы в их полном блеске и разнообразии, нежели тернии. Я была счастлива, а подлинное счастье устраняет равнодушие и располагает нас принимать живое участие в счастии других, в то время как несчастья покрывают окружающие нас предметы облаком печали и напоминают нам о наших собственных страданиях до тех пор, пока Господь, в своем бесконечном милосердии, не даст нового направления нашим чувствам и тем не уничтожит прежнюю горечь.

В шестнадцать лет я получила фрейлинский шифр, который имели всего двенадцать девиц, и стала каждый день бывать при дворе. По воскресеньям в Эрмитаже устраивалось большое собрание, на которое допускался весь дипломатический корпус и особы первых двух классов. Государыня входила в зал, где было собрано все общество, и вела беседу с окружающими. Затем все следовали за нею в театр. Ужин после этого никогда не подавался.

По понедельникам бывали ужин и бал у великого князя Павла Петровича. По вторникам я дежурила вместе с другой фрейлиной; мы почти весь вечер проводили в так называемой Бриллиантовой комнате, именовавшейся так по множеству находившихся в ней драгоценных вещей. Здесь, между прочим, хранились и корона, скипетр и держава. Императрица играла здесь в карты со своими старыми придворными, а две дежурные фрейлины сидели у стола и дежурные кавалеры занимали их разговорами.

В четверг бывало малое собрание в Эрмитаже, бал, спектакль и ужин. Иностранные министры[227] в этот день не приглашались, но их допускали в воскресенье вечером, так же как и некоторых дам, пользовавшихся благоволением государыни. В пятницу я опять дежурила, а в субботу у наследника устраивался прелестный праздник, который начинался прямо со спектакля. Бал, всегда очень оживленный, продолжался до ужина, подававшегося в той же зале, где играли спектакль. Большой стол ставился посреди залы, а маленькие столы в ложах. Великий князь и его супруга ужинали на ходу, принимая своих гостей в высшей степени любезно. После ужина бал возобновлялся и заканчивался очень поздно. Гости разъезжались при свете факелов, что производило очаровательный и своеобразный эффект. [...]

Публ. по: *Головина В.Н.* Мемуары // Россия в мемуарах. История жизни благородной женщины. М., 1996.

ТУЧКОВ Сергей Алексеевич (1766—1839)

Принадлежал к семье, оставившей яркий след в российской истории. Два его брата (Николай и Александр) геройски погибли в Бородинском сражении, племянник — Алексей Тучков — принадлежал к декабристам, его дочь — Наталья Тучкова-Огарева, талантливая мемуаристка, занявшая важное место в жизни А.И. Герцена. Большую часть жизни С.А. Тучков провел на военной службе (с 1782 по 1814 и с 1828 по 1834). Он участник многих военных кампаний.

ВОСПОМИНАНИЯ

Глава I

Если найдутся еще таковые из читателей моих, для которых древность дворянских родов что-либо значит, то скажу я, что предки мои назад тому 570 лет поселились в России в достоинстве дворян (что можно видеть в истории сего государства) и почти все по тогдашнему

[227] В XVIII—начале XIX в. слово "министр" обозначало иностранного посла.

и ныне еще продолжающемуся обычаю служили в военной службе. Отец мой в семилетнюю войну служил против Фридриха II в качестве инженерного офицера, а по заключении мира, возвратясь, женился в Москве на матери моей, девице, также от древнего дворянства происходящей, но как отец ее, а мой дед, также и все предки ее служили больше в службе гражданской.

Здесь скажу я нечто об общественном воспитании, учрежденном еще Петром I, которое получил отец мой. Так как все дворянство непременно обязано было служить в военной службе, то он еще малолетним отвезен был родственниками своими в Петербург и определен в школу инженеров. В его время там ничему не учили, как только простой геометрии, военной архитектуре, или фортификации, и артиллерийскому искусству, прочие же науки, входящие в начертание общественного воспитания, равно как и иностранные языки, вовсе не преподавались, даже самая грамматика природного языка была пренебрежена. Такова точно была и Морская школа. Не доказывает ли сие, что государь сей хотел иметь только, так сказать, ремесленников, а не ученых или просвещенных справедливым воспитанием людей?

Я родился почти в то время, когда отец мой должен был отправиться на войну против турок, происходившую под начальством знаменитого фельдмаршала Румянцева. Он отправился туда в качестве инженера штаб-офицерского звания и оставил меня с матерью моей в доме отца ее.

Мать моя по домашним обстоятельствам скоро поехала в небольшое поместье ее мужа, а я оставлен был на попечение деда и бабки моей.

Здесь начинаются первоначальные стези воспитания моего. Дед мой, бывший тогда уже в глубокой старости, продолжал еще заниматься обязанностями гражданской службы с такою прилежностью, что большую часть дня всегда проводил в присутственном месте, однако ж не упускал заниматься и мною. На третьем году возраста начали уже меня учить читать по старинному букварю и катихизису, без всяких правил. В то время большая часть среднего дворянства таким образом начинала воспитываться. Между тем не упускали из вида учить меня делать учтивые поклоны, приучали к французской одежде, из маленьких моих волос делали большой тупей, несколько буколь, и привязывали кошелек. Но сие недолго продолжалось. Неискусные парикмахеры выдрали мне все волосы и принуждены были надеть на меня парик; притом французский кафтан, шпага и башмаки представляли из меня какую-то маленькую карикатуру и дурную копию парижского жителя века Людвига XVI.

Едва исполнилось мне четыре года, как отец мой возвратился из Турции в качестве полковника инженеров и поехал в Петербург, взяв с собою мать мою, двух моих старших братьев и меня.

Итак, в столь юном возрасте оставя Москву, место рождения моего, привезен я был в сию столицу Севера. Другой климат, другое предназначение воспитанию моему и другое обращение со мною.

Отец мой был всегда занят предприятиями по службе его, был несколько угрюм и не всегда приветлив; такова была большая часть военных людей его времени; притом и не любил много заниматься своими детьми в малолетстве их. Но он был совсем иначе к ним расположен в другом нашем возрасте.

Здесь отец и мать мои размышляли — отдать ли меня в корпус кадетов, в другое какое общественное учреждение или воспитывать дома?

Наконец решились на последнее; вместе с тем определен я был в артиллерию унтер-офицером и отпущен в дом отца моего для обучения наук.

Мне отстригли начинавший отрастать тупей, причесали в малые букли, привили длинную сзади косу, надели галстук с пряжкой, колет, тесак, узкое исподнее и сапоги — и так из французской одежды преобразился я в маленького пруссака.

Общественное воспитание, заведенное при императрице Анне, Елизавете и императоре Петре III было несколько исправлено Екатериной II, а особливо так называемый Сухопутный кадетский корпус. Там больше идет наук, потребных для общественного воспитания и для военной службы, там же французский и немецкий языки довольно хорошо тогда были преподаваемы. А особливо потому, что известные ученостью своею люди не только в России, но и во всей Европе, находились тогда там в качестве учителей. Но надлежало быть в сем корпусе до 18 лет, чтоб быть выпущенным в чин офицера. Столь долговременная разлука в юном возрасте показалась слишком чувствительной для матери моей, и потому решили воспитывать меня дома.

Отец мой недолго пробыл в Петербурге, но, получа начальство над несколькими крепостями, расположенными по шведской границе, взял меня с собою и отправился в Выборг.

Там увидел я совсем иной образ жизни и впоследствии узнал, что нравы тамошних жителей представляют смесь немецких с шведскими. Почти не слышно было русского языка во всем городе. Тут отец мой обратил внимание на воспитание мое. Один унтер-офицер, знающий хорошо читать и писать, но без грамматики и орфографии, учил меня читать по псалтыри, а писать с прописей его руки. В последнем он был довольно искусен. Итак, первый мой учитель был дьячок, а второй — солдат. Оба они не имели ни малейшей способности с пользою и привлекательностью преподавать бедные свои познания. Два года продолжалось сие учение, после чего отдан я был в школу одного лютеранского пастора. Сей почтенный муж знал хорошо латинский, французский, немецкий, шведский и россий-

ский языки, преподавал богословие, историю и географию. Но я учился у него только одному немецкому языку, продолжая вместе учиться по-русски. Чрез два года оказал я нарочитые успехи. Между тем отец мой произведен был в генерал-майоры и получил начальство над крепостями, расположенными на польской и турецкой границе. Местом же пребывания его был Киев. Итак, с сожалением расставшись с любезным моим пастором, отправился я на девятом году жизни моей почти от одного полюса к другому. Мы должны были проезжать чрез Петербург, где отец мой должен был на некоторое время остановиться, как для получения поручений по службе, так и для того, чтоб найти там хорошего учителя для нас. Вызов как всякого рода людей для услуг, так и учителей, делается там чрез газеты. Отец мой не преминул тотчас по прибытии своем в сию столицу объявить, чтоб человек, знающий хорошо французский и немецкий язык, а также историю и географию и желающий принять на себя должность учителя, явился к нему. Всякий день приходило к нам в дом по нескольку человек иностранцев, но почти ни один из них не знал по-русски, и редкие соглашались на предложение отца моего, чтоб в требуемых от них учениях выдержать экзамен в Академии, где имел он знакомых. Притом ехать в Киев казалось им слишком далеко. Наконец, нашелся один датчанин, или, лучше сказать, природный француз, которого предки с давнего времени удалились из отечества своего в сие государство из-за притеснения протестантской религии. Этот человек согласился на все, и Академия дала свидетельство не только в требуемых от него познаниях, но и сверх того в латинском языке и отчасти в медицине. Кажется, отец мой взял все зависящие от него меры для выбора учителя детям своим. Один недостаток состоял только в том, что он ни слова не знал по-русски. Но сие могло быть заменено тем, что я и братья мои могли уже изъясняться с ним на немецком языке.

Академия могла испытать познания учителя. Но главнейшее, именно поведение, правила нравственности и способность преподавать науки при подобных испытаниях остается сокрыто. Учитель мой много путешествовал, был несколько раз в Америке, Индии и в Африке. Два раза проезжал он экватор; одарен был острою памятью, но, казалось, был несколько помешан в разуме, что обнаруживалось странностью его поступков и некоторыми предрассудками. Он был членом одного тайного общества и упражнялся иногда в алхимии, но не имел почти никаких познаний в химии, все время занимался он неудачными опытами, однако ж никогда не терял надежды. Он был человек довольно кроткого нрава и хорошего поведения и нравственности. Но имел самую трудную методу преподавать свои познания ученикам.

Вместо того чтоб родить охоту к словесности иностранной, мучил он выписками из Священного писания и речами своего сочинения, которые заставлял выучивать на память. На уроке географическом был он довольно привлекателен, ибо о многих городах рассказывал исторические анекдоты, но прибавлял иногда и свои приключения, в некоторых из оных с ним последовавшие, что очень казалось занимательным для детей моего возраста.

Итак, отец мой со всем семейством и наставником отправился в Киев. Никогда не забуду я, сколько детские мои чувства поражены были переменою климата, положением мест, приятностью и чистотою жилища простых поселян, их одеждой и образом жизни. Вместо полей, покрытых глубокими снегами, или скучных сосновых лесов, болот и бедных пажитей, между колосьев которых проглядывали куски камней, глины или лесов, взору моему встретились при въезде в Малороссию нивы, исполненные изобилия, целые поля, засеянные арбузами и дынями, прекрасные дубовые рощи, между которыми попадаются плодоносные деревья, и, наконец, сады у каждого поселянина. Вместо нечистых и закоптелых изб северной России, в которых в самые жестокие морозы должно открывать двери и окна, когда топят печь, потому что оные не имеют труб, и где поселяне живут вместе с домашним своим скотом, нашел я жилья чистые, выбеленные внутри и снаружи, расписанные разных цветов глиной, которой тамошний край изобилует, чистые столы и лавки; самые потолки и углы украшены привешенными пучками разных цветов и благовонных трав. Вместо мелкого и едва дышащего от изнурения скота увидал я ужасной для меня величины волов, коров и овец, пасущихся на наилучших пажитях. Чрезвычайное изобилие разных вкуснейших плодов еще больше меня удивило. Вместо унылых русских песен, раздирающих слух, и рожков, и сиповатых дудок услышал я скрипки, гусли и цимбалы, притом пение молодых людей и девок, совсем отличное от диких тонов русских песен. Эти малороссийские песни, без всякой науки во всех правилах музыки сочиненные, поразили мой слух.

По прибытии в Киев начал я учиться французскому языку, продолжая изучать немецкий и русский, а с тем вместе историю и географию. Но тот, кто преподавал мне русский язык, ни малейшего понятия не имел ни о грамматике, ни о правописании, а старался только научить меня бегло читать и чисто ставить буквы.

Отец мой имел в доме своем большую чертежную канцелярию, в которой занимались составлением и отделкою планов разных инженерных работ многие офицеры и унтер-офицеры сего корпуса. Он склонил некоторых из них обучать меня и братьев моих арифметике,

геометрии, фортификации, артиллерии и рисованию. Один немец содержал там пансион и учил танцевать — и сие искусство не было забыто отцом моим, он заставил меня и там брать уроки. Но фехтовальное искусство и верховую езду почитал ненужными и говорил нередко: "Я не хочу, чтобы дети мои выходили на поединок", а о верховой езде судил он так: "Наши казаки не знают манежа, а крепче других народов сидят на лошадях и умеют ими управлять, не учась". Физику и химию, а наипаче механику хотя и почитал он нужными, но не имел случая преподавать нам сии науки. Словесность, а наипаче стихотворство почитал он совершенно пустым делом, равно как и музыку.

Надобно сказать, что музыка у всех азиатских народов в большом пренебрежении, и хотя многие даже знатные люди любят слушать оную, но занимаются ею люди самого низкого состояния, равно как и пением. Я приметил сие впоследствии жизни моей в Грузии, Персии, Армении, Молдавии, Валахии, Сербии, Турции, в нынешней Греции, у татар и даже у калмыков и у башкирцев. Многие следы татарских обычаев и по сие время остались в России, а наипаче приметно было сие назад тому лет сорок. Почтенные люди даже стыдились брать в руки музыкальные орудия. А которые по природе любили музыку, те или нанимали для удовольствия своего иностранцев, или обучали крепостных людей. Не говорю о военной музыке, которая всегда была и будет даже у варварских народов. Мне никогда не случалось слышать от стариков, чтоб кто-либо из благородных людей в царствование Петра I, Екатерины I и даже Анны занимался музыкой: кажется, что сделалось сие обыкновеннее со времен Петра III, потому что он сам любил играть на скрипке и знал музыку, и то, может быть, из подражания Фридриху II, которого он до безрассудности почитал.

Отец мой не хотел также, чтобы кто из нас учился латинскому языку, и говорил, что он нужен только для попов и лекарей. О греческом мало кто имел тогда в России понятие, да и теперь немногие. Теология и философия казались ему совсем неприличными науками для военного человека. Он хотел, чтоб все дети его служили в военной службе, в чем и успел. Впрочем, мнение сие и поныне господствует между дворянством российским.

Отец мой мало имел времени рассматривать склонности детей своих и заниматься их образованием. Образ жизни его был следующий: вставал он довольно рано, рассматривал свои планы, прожекты, отчеты или ходил смотреть направление инженерных работ; это было занятием его до обеда. После сего отдыхал, а потом занимался письменными делами, а иногда, особливо в праздничные дни, принимал у себя старых своих сослуживцев, разговаривал с ними о семилетней войне и о

турках. Под старость же любил играть в карты на малые суммы в коммерческие игры.

Некоторые из молодых офицеров, составлявших его чертежную канцелярию, в которой получал я уроки поименованных мною математических наук, любили стихотворство. Они приносили с собою разные сочинения и читали оные вслух другому. Более всего понравились мне сочинения Ломоносова и масонские песни, сочиненные на русском языке. Я не только их читал по нескольку раз, но даже многое списывал своею рукою, так что и теперь помню наизусть. Сии сочинения родили во мне охоту к стихотворству; невзирая на то, что я совсем не учился сей науке и только несколько раз прочитал Ломоносова грамматику и риторику, я начал сочинять стихи по слуху. Мне было тогда лет 12 от роду, стихотворец-ребенок. Но я не первый, и с подобными мне случается то же самое, что с людьми совершенного возраста: большая часть моих сверстников надо мной смеялась, а другие хвалили мои стихи.

Один монах, ректор академии, с давних времен учрежденной при одном монастыре в Киеве, известном под названием братского, посещал иногда дом отца моего. Прочитав некоторые из моих стихов, он поправил их и отослал в Москву для напечатания в издаваемом тогда при Московском университете журнале, и сверх того, просил меня, чтоб я бывал у него и брал уроки в риторике, поэзии и в началах латинского языка, чем и пользовался я всегда, когда он и я имели свободное время.

Я не могу молчать о том, что некогда отец мой, смотревший всегда с неудовольствием на сие мое упражнение, один раз запретил было мне вовсе писать стихи и вот за что. Я был в юности моей чрезвычайно предприимчив и никакой труд не мог меня устрашить. Не зная по-гречески и не читая никогда в переводе Гомеровой Илиады, я нашел случайно "Историю о войне Троянской", сочинение Дария Фригия, переведенное на славянский язык. Сия книга столько мне понравилась, что вздумал я переложить оную в стихи и занялся сим трудом. Некоторые из молодых офицеров, смеясь сему занятию, сказали мне: "Разве нельзя найти чего-нибудь повеселее из новых происшествий?" И рассказали мне в смешном виде поступок одного старого и почтенного генерала против некоторых офицеров, служивших под его начальством. Мне тотчас пришло в мысль сделать из содержания сего маленькую комедию в стихах, даже без перемены имен действующих лиц. Едва успел я написать только несколько сцен, как нетерпеливая молодежь подхватила их, отвезла в свой лагерь и начала представлять между собой. Известие о сем дошло до старого генерала, он понял, на чей счет было сделано начало сей комедии. Автор был открыт и наказан.

Я уже сказал, что масонские песни мне очень нравились: многого в них я не понял, но красоты стихотворства и нравоучительные мысли были для меня весьма приятны. Это было около 1780 года, когда узнал я, что в Киеве существует ложа, что некоторые из почтеннейших особ сего города суть члены оной, и даже мой учитель, который всякую субботу неизвестно куда ездил. Хотя я еще слишком был молод, да и невозможно было бы несовершенному человеку что-либо из сих песен понять о таинствах сего общества, однако ж из содержания таковой песни я заключил, что вред сей еще и прежде существовал между русскими, ибо песня сия сочинена была в честь братьев, воздвигших храм дружества за Дунаем во время войны с турками, которая тогда давно уже была окончена.

Вместе со склонностью к стихотворству родилась во мне охота и к музыке. Я начал учиться играть на флейте, но отец мой и то мне запрещал под предлогом, что я имею слабую грудь.

Воспитание мое приходило к окончанию. Отец мой, желая, чтоб я служил в военной службе, начал приучать меня к верховой езде, но без правил, как я уже выше сказал. Я же, желая получить некоторое понятие о сем искусстве, познакомился с гусарским офицером, там находившимся. Их блестящий мундир, рассказы об образе их жизни, службе и самой войне, которая была их наукой, так мне понравились, что я захотел быть непременно гусаром. Отец же мой, напротив, хотел, чтоб я служил в инженерах, и для того говаривал мне: "Зачем же терять то, чему ты учился? Гусар должен знать только саблю и лошадь, как земледелец — плуг и волов, прочие же науки вовсе для него не потребны". Но я, напротив, имел великое отвращение от службы инженерной. Отец мой был снисходителен и согласился на то, чтоб вместо инженерства сделался я артиллеристом, что и последовало. [...]

Публ. по: Записки Сергея Алексеевича Тучкова // Золотой век Екатерины Великой. Воспоминания / Сост. В.М. Бокова, Н.И. Цимбаев. М., 1991.

ПЕЧЕРИН Федор Пантелеймонович (1773—1835)

Предки Печерина — выходцы из Польши. Его дед был мундшенком (слугой, подававшим питье), а бабушка — постельничьей императрицы Елизаветы Петровны. Его отец — выпускник пажеского корпуса. Сам Федор Пантелеймонович окончил в 1791 г. Московский университет. Занимался переводами с французского языка. Несколько лет служил в армии, имел чин сержанта вплоть до отставки. С 1796 г. служил землемером в Казани, Москве и Тамбове. В 1804 г. получил чин коллежского асессора. Ф.П. Печерин — родной дядя В.С. Печерина, известного философа и религиозного деятеля, автора "Замогильных записок".

Воспоминания написаны в 1816 г., они невелики по объему. В них рассказывается о годах учебы в университете, о передвижениях по службе и переездах в разные города, о женитьбе и смерти жены.

ЗАПИСКИ

Глава II

Я родился в бытность отца моего в Петербурге, 1773 года 17-го октября, на утренней заре, в новопостроенном уже тогда в деревне нашей Навольновой доме. Крестил меня священник Шатурской волости церкви св. Николая, старинного прихода нашего; а Знаменская церковь, нынешний приход, хотя и была уже построена, но еще не освящена. Восприемниками моими были: дед Владимир Иванович и сестра Прасковья. Тогда подпало столько снегу, что он приезжал из Знаменского вместе с дядею Дмитрием Владимировичем на санях. По его совету и желанию моей матери имя другого деда мне дано с тем, чтоб и именины праздновать в тот же день, в который он праздновал, 8-го февраля. Кормить меня грудью мать моя начала было сама, но, сделавшись нездорова, препоручила дворовой женщине, а потом, по болезни сей последней, крестьянке Анисье, которая поныне (1816 г.) еще жива. Когда же оставлен я был, по малолетству, в деревне один, то всем попечением о мне обязан няне Агафье[228]. Меня привезли в Москву лет двух. Жительство родителей моих было тогда в приходе Троицы в Сыромятниках, в доме купца Казанцова, близ реки Яузы. Против сего дома был луг, впоследствии времени застроенный начально, помнится, купцом Голенищевым; а против саду, за рекою, на другом крутом берегу — Андроньев монастырь. После жили мы во многих других местах: на Никитской, на Николоямской, в первый раз подле дома Котельниковой, а вторично против дома купца Плотникова, на Остоженке, в приходе Ильи Обыденного, на Арбате, в доме Николевой, и напоследок близ Салтыкова моста, в доме графини Головкиной. Покойная мать, продав крестьян, в Ярославской губернии у нее бывших, купила в 1786 году дом у того же самого моста, по другую сторону реки Яузы, в которой дом жить мы переехали, по отставке от должности моего отца, в 1790 году.

Грамоте учили меня дома мать, сестра старшая и малой Николашка, а писать — отец мой; потом чтению псалтыря — бабка Марея Василь-

[228] Она была приданою девкою матери моей, нянькою всех детей, казначеею. Умерла незамужнею в Москве, слишком 50-ти лет. Родительница моя получила сие известие в деревне будучи 1792 года летом, с крайним прискорбием. Услуги ее пребудут нами незабвенны (*Примеч. авт.*).

евна[229]. Как минуло мне двенадцать лет, мать моя начала очень заботиться, чтоб отдать меня учиться в университет. Жили мы от университета далеко. Как по сему, так и для того, чтоб был я под надзором и руководством, приискиван был кто-нибудь из учителей университета, близко от оного живущий. Рекомендовали И.И. Гольцмана, немецкого этимологического класса учителя. Чрез него записан я в университет 1785 г. мая 26-го, в классы: 1-й российский этимологический, к г. Колоколову; 2-й немецкой азбуки, к г. Вегнеру; 3-й французской азбуки, к г-ну ...; 4-й арифметический нижний, к г. Кромаренкову; 5-й рисовальный, к г. Афанасьеву, и 6-й катехизический. При представлении меня директору Н.И. Фон-Визину, сей вспомнил, что отец мой вместе с ним пажем служил.

Таким образом, искупив для меня нужные книги, кровать, зеркало и сундучок, теперь еще в целости находящийся, отправили меня к г. Гольцману, жившему против Георгиевской церкви, что на Моховой, в переулке. У Ивана Ивановича жена была русская, а в услужении работница, иногда же и никого. Он толковал мне азбуку немецкую и отчасти арифметику, но не долго. Нам обоим после показалось это невесело. Он любил погулять: в этом делать ему сотоварищество я рад был. Мы хаживали нередко к Кузнецкому мосту на канал, тогда лишь обложенный камнем, брали из ближнего трактира бутылку полпива и, раскурив трубки, которые всегда с нами были, посиживали на травке. Я, однако ж, полпива почти не пил, да и табаку курить много не скоро привыкал. Когда г. Гольцман один со двора уходил, а это случалось чаще, нежели со мною, то возвращался почти обыкновенно не прежде, как около полуночи. Кроме меня у него учеников, или лучше нахлебников, никого не было.

Я, пришед из классов, должен был разделять время только с его супругою, Матреною Ивановною. Предметом ее беседы со мною наиболее бывало представление мне, что муж ее очень ученый человек (она могла так думать, не зная сама грамоты), но что он очень бывает иногда гневен и ее поколачивает (этому я верил, бывая нередко пробуждаем ночью пальбою в нее разувальника); далее, что для стола не жалеют они издержек, как другие такие-то содержатели пансионеров, что они посылают учеников за водою, в лавочки и проч.

Мне очень скучно бывало и ее слушать, и в классы ходить. Я не был нисколько прежде приготовлен к тем познаниям, которым начали там меня учить. По субботам, после половины дня и накануне других праздников,

[229] Она была двоюродная тетка отца моего, по первом муже Салтанова, а по втором — Рубанова (*Примеч. авт.*).

езжал я домой. Признаюсь, что весьма с нетерпением ожидал я за собою из дома присылки и не с удовольствием после в университет возвращался.

Зимою пришла ко мне оспа; нас четверо вдруг ее получили: сестра Катерина, братья Николай и Сергей. Николай от нее и умер. У меня на всем теле и голове она была пресильная, принуждены были остричь мне волосы очень плотно, о чем я немало сожалел, потому что тогда обыкновение требовало косы и пуколь. Пятна с лица долго не сходили, и это меня беспокоило; не прежде, как после Святой недели мог я явиться в университет. Между тем г. Гольцман от оного был уволен, да и мать моя имела случай как-то пообстоятельнее о свойствах его узнать. Сыскали мне квартиру и стол у жены надзирателя университетского пансиона Дрегслера, жившей в том же самом доме, где прежде Гольцман жил, только в другом корпусе. Дрегслерша совсем не походила на Гольцманшу, — была гораздо умнее; стол держала лучше. И здесь, кроме меня, других пансионеров не было; только к обеду хаживал к нам Матвей Гаврилович Гаврилов, тогда учитель немецкого синтаксического класса. С г-жею Дрегслер я бывал иногда, в свободное от учения в университете время, в гостях у ее знакомых, за Пречистинскими воротами. Г. Дрегслер скоро перешел в дом к кому-то учителем или дядькою, а потому и жена не стала более нанимать особой квартиры.

Я попал того ж 1786 года осенью к Марье Ивановне Миллер. Ее муж был также надзиратель в университетском пансионе, а сын, Осип Иванович, малый лет 18-ти, учился в университете в высших классах и ходил уже сам учить детей по домам; имела она также дочь лет 13-ти, по имени Розину. Мне еще сотоварищ был Данила Яковлевич Кейчер, несколько старший меня и числившийся артиллерии унтер-офицером. Тут мне было уже гораздо веселее, но в классах по-прежнему скучно. Да мы и посещать их начали редко, — некогда было. Хаживали зимою на Неглинную кататься по льду или с гор; иногда на Москву-реку; то в гости к Кейчеру, мать которого дом имела в Большой Мещанской, то в театры князя Волконского и Петровский, то провожать Осипа Ивановича до домов, где он учивал; а мало-помалу заглядывать стали и в те домики, где на больших зеленых столах шары катают.

Летом же гуляли в лодке по Москве-реке до Новоспасского монастыря; пешествовали к монастырю Донскому на Три Горы; к Пушечному двору на болверке, посмотреть тут сражения героев университетских с силачами Заиконоспасской академии; бродили по Неглинной, стенам кремлевским.

Дóма были также не без дела; твердили Димитрия, Семиру, Дидону, Розану и Любима[230] и проч., а вытвердив — декламировали; мастерили

[230] Названия модных пьес.

кулисы, завесы, короны, цепи или оковы, все приличное героям пиес одеяние, большею частию из бумаг. Осип Иванович умел хорошо все то раскрашивать. Труппу нашу составляли еще Федор Никифорович Суров, учившийся прежде также в университете и нас часто посещавший, и некто Голубцов, ученик же университетский. Далее поигрывали мячом, в свайку, ломали пряники. Но всего теперь не вспомнишь.

Таким образом прошли еще слишком два года, а успеха в учении моем никакого не было. Мы надоели, наконец, г-же Миллер, и она сказала, что содержать нас более не хочет; подала, однако ж, совет матери моей отдать меня к вышеупомянутому мною Матвею Гавриловичу, который тогда уже женился и собирал пансионеров. Почий в мире, Мария Ивановна! ежели ты свет сей оставила, а ежели живешь еще, то да живешь во всяком благоденствии! Ты благим советом своим спасла юношу, на краю пропасти стоявшего.

Ежели я имею некоторые познания, ежели нравственность моя предохранена от разврата, всем тем Матвею Гавриловичу обязан. Прежде нежели уходил я и другие жившие со мною вместе ученики в классы, он выслушивал у каждого заданный из классов урок. В среду и субботу после обеда, также во время вакаций, он учил нас у себя дома.

Сначала и у него я был повесою. Но в один день (весною, помнится, 1789 года), он, прослушав уроки у прочих пансионеров, которые потом и пошли в классы, принялся мой урок слушать. Я знал его, по обыкновению, худо. Тут начал он делать мне увещание столь трогательно, что слезы из глаз моих покатились. Это был случай едва ли не последний, в который неудовольствие мне изъявлено.

Вскоре стал я первым питомцем как по прилежанию к учению, так и по поведению. Мне препоручаем уже был надзор за прочими сотоварищами.

Обстоятельства домашние причиною были, что я 1791 года в январе месяце перестал учиться и получил от университета аттестат. После сего я занялся продолжением начатого мною у Матвея Гавриловича перевода "Нового Робинзона". В мае окончил его и продал, с пособием М.И. Прокудина, содержателю университетской типографии Окорокову, помнится, за двести рублей, в число которых получил книг на половинную сумму.

В июне отправились мы в деревню, где я также занимался переводом книг: Храма Мадры и других. В декабре, в Москву возвратясь, отпущен я был служить в Петербург; но на второй станции встретился со мною дядя И.С. Ильин и, сказав, что он взял мне еще на год отсрочку, меня поворотил. [...]

Публ. по: Записки Федора Пантелеймоновича Печерина // Русская старина. 1891. № 12.

ГЛИНКА Сергей Николаевич (1776—1847)

Выходец из старинного рода смоленских дворян, старший брат декабриста Федора Глинки. В 1795 г. окончил Сухопутный кадетский корпус в Петербурге и начал военную службу. Глинка подолгу проживал в Москве, имел здесь обширные литературные связи. Сам писал стихи и драмы, занимался переводами. По выходе в отставку три года учительствовал на Украине. С 1808 по 1826 г. Глинка издавал журнал православно-патриотического направления "Русский вестник", снискавший большую популярность. В 1812 г. Глинка одним из первых записался в народное ополчение, активно возбуждал патриотические чувства в народе своими речами и печатно в "Русском вестнике", почти все свои средства Глинка истратил на снаряжение ополченцев и на помощь вдовам и сиротам, погибшим на войне. Стараниями известных литераторов Глинке была выхлопотана пенсия, позволившая жить без нужды.

Глинка был плодовитым писателем и публицистом, пробовал свои силы в исторических сочинениях. Последние тридцать пять лет своей жизни он работал над воспоминаниями. В 1836 г. рукопись "Записок" была прочитана А.С. Пушкиным, думавшим о публикации их в "Современнике".

Глинка начал записывать свои воспоминания после войны 1812 г. Их начальную часть он опубликовал в 1830 г. в "Русском вестнике". Глинка называл свой труд "Историческими и частными записками", в которых обстоятельства личной жизни дополнялись биографическими очерками современников, историческими экскурсами, описанием быта и нравов, политических, военных и литературно-общественных событий.

ЗАПИСКИ

[...]

Я был счастлив в ребячестве моем, меня любили. Особенно ласкала меня моя двоюродная бабка Лебедева, вдова родного брата моей родной бабки. Село ее Третьяково было только в 15 верстах от Суток. В каждый свой приезд она, мимо всех других братьев, дарила меня и лучшими игрушками, и лучшими гостинцами. Я не понимал тогда, что это было предпочтение, за которым так гоняются в свете, но всегда выбегал первый к ней навстречу и целовал ее руку, которой она меня так приголубливала. Лелеяло меня и сердце моей матери, но по нежной ее заботливости о старшем моем брате я видел, что оно ближе было к нему. Не понимал я тогда, что это была зависть, а мне было досадно. И в сердцах детей есть свои порывы, и у мысли их есть своя догадка. [...]

Бабка моя меня, своего любимца, выпросила погостить и пожить в селе ее. По отметке ее в святцах о моем туда приезде, я помню, что это было 1780 года, в исходе мая. День был прекрасный. Мы отправились

около вечера, и мне казалось, что родное солнце шло вслед за нами. По рощам и кустарникам разливался голос соловьев. Мне был тогда пятый год, и это был первый мой выезд. Бабка моя, боясь меня обеспокоить, велела ехать шагом. Я блаженствовал и всем любовался. Мы приехали в сумерки. Уверенная, что я буду ее жильцом, она заранее велела все приготовить; стол был накрыт, постель моя была поставлена подле ее кровати. Все меня ждали, но никто не суетился. В доме ее все как будто шло само собою; при ней были только две дочери, старее меня шестью и семью годами; три сына ее были в военной службе. Не слыхал я никакого окрика ни на дворовых людей, ни на приказчиков. Каждый знал свое дело и исполнял его рачительно, оттого что не был развлечен никакими прихотями. Об этом рассуждаю теперь, а тогда чувствовал только одно наслаждение новой моей жизни.

Радостно было мое пробуждение: вереница дворовых мальчиков уже ожидала и бежала за мною в рощу, которая роскошно раскинулась на каких-то курганах. Рассказывали мне после, что тут была какая-то битва, в то время, когда меч и копье размежевывали землю русскую, но в ребячестве моем я тут ничего себе не представлял и ничего не воображал. Набегавшись по курганам в роще, я побежал на луг, где уже был хоровод сенных девушек и две дочери своей бабки. В играх наших неравенство лет исчезало. Девушки пели песни, а мы кружились в хороводе. Меня величали, как будто какого-то победителя, а я просто был баловнем доброй помещицы села Третьякова. Не утерпела и она: сама явилась к нам на луг. По праздникам в скромной одноколке мы с бабкой ездили по селу. Крестьяне в нарядных своих платьях стояли у изб; бабка моя подъезжала к каждой и заботливо спрашивала, все ли здоровы у них: где был больной, приказывала приходить к себе за сельским лекарством. Ее сердце, ее христианская любовь научила меня всех любить и всем желать добра. В разъездах своих по селу она с особенным вниманием обозревала амбары, где хранилась запасная жизнь крестьян. Село Третьяково недалеко от уездного города, и если приказчик недобросовестен, то перевоз туда хлеба ночью нетруден. Тут нужен зоркий глаз хозяйский. При ней отпускали чистую муку и дворовым, и крестьянам. "Избави, Боже, каждого человека от мякинного хлеба", — говорила она. А чем питаются бедняки в голодный год, когда на пирах разливное море! Сытый голодного не разумеет. Тайна этой науки в человеколюбивом попечении, и эту тайну вполне знала моя бабка. И как лелеяла она мою душу! Близ церкви, между двух рощей, окруженное цветущими берегами, большое озеро отражало в волнах своих и ясное солнце, и безмятежную луну. Однажды при ней и при мне закинули невод и вытащили множество крупной и мелкой рыбы. Торопливою рукой хватал я маленьких рыбок и пускал их в озеро. "Что это ты делаешь?" — спросила бабка моя. — "Мне жаль этих рыбок, — отвечал я, — они так сильно бьются, верно, очень боятся больших рыб". Она улыбнулась и приказала, чтобы и впредь мне давали на это свободу.

Я был временным полновластным владельцем и господином в поместье моем. Я говорю: "В моем поместье", потому что все тогда так думали и все это повторяли. Целая кладовая со всеми банками различных варений, все сушеные ягоды и плоды, вся эта лакомая область была в моем распоряжении, и ребятишки, мои сверстники или несколько постарее меня, были ежедневными застольниками моего пированья. Некому было мне поперечить, все покорствовали моим затеям, но я не употреблял во зло моего полномочия. В 1835 году был я в селе Третьякове, и две умные и добрые дочери моей бабки рассказывали мне, что им только та была беда, когда они бывало захотят работать или читать, а бабушка посылает их гулять или играть с Сережею. Отчего при этом рассказе не хочется отстать ни перу, ни сердцу? Что приковывает их к нему? Память о любви сердечной. Между тем беспечные дни мои текли в лакомствах под крылом бабки моей, и когда на меня, баловня, никому из домашних нельзя было ни прикрикнуть, ни пригрозиться, приехал в отпуск в село Третьяково сын моей бабки, Николай Петрович Лебедев, отличный майор своего времени и масон праводушный. Собою он был очень хорош. [...]

Дядя мой приехал в начале июня. Лето было прекрасное, и он по привычке военной раскинул палатку в саду. Видя, что я с утра до вечера вольничаю и играю с дружиною ребятишек, он дня через три сказал матери своей: "Пора вашему Сереже приниматься за ученье: стыдно нам будет пред его родителями, если упустим время. Его готовят в кадетский корпус, ему шестой год, а он и в азбуку не заглядывал". Он убедил и выпросил позволение быть моим наставником. Не стану хвалиться напрасно, у меня не было никакого стремления к учению. Я был и без книг непрестанно занят. Летом то в рощах гонялся за бабочками, то ходил за ягодами и за грибами, то спешил в орешник; зимою — то катанье на салазках, то в комнате волчки, веревочки и мячик. Словом, я был занят, мне было весело. Но людей все учит, даже и скука, и досуг.

Добрый мой дядя, видя мое своеволие, повел меня к учению стезею ласки и любви.

В шатре, под открытым небом, произнес я на пятом году мертвую букву русской азбуки и произнес ее в духе своеволия и независимости. Никогда не был я рабом указки. Под сводом неба, то прогуливаясь со мною в саду, то усаживаясь под липы и яблони, он высказывал мне бу-

квы и показывал на начертание их. Нераздельно учил он меня и изображать их карандашом на бумаге и выговаривать буквы. И какая была бумага цветная, какие красные карандаши! Но ни эта приманка, ни нежная внимательность моего наставника не занимали меня. Я уже знал наизусть "Отче наш" и несколько других молитв, и мне было скучно затверживать мертвые буквы. Но вот какой случай заохотил меня к учению. 25-го июля 1780 года (этот день помечен был в святцах, почему и помню) поехал я с бабкою моею в Сутоки; день был жаркий. Отец мой, отправя исправничью свою должность в Духовщине, приехал после обеда и привез оттуда баранков. Гостинец разошелся по рукам. Я подошел к окну, где стояла тарелка с отравою для мух. Я начал обмакивать туда баранки и преспокойно глотал ядовитую влагу. Дядька братьев моих, как только это увидел, тотчас побежал за молоком и меня отпоили. Услышав о беде, грозившей мне, бабка моя в беспамятстве и в слезах схватила меня на руки, велела запрягать лошадей, и мы возвратились в село ее. Приехав домой, мы тотчас пошли в церковь, отслужили молебен за избавление меня от смертной опасности. Пришел туда и дядя мой. С живым чувством ласкал он меня, и я как будто из нежной его заботливости вдохнул в себя охоту к учению. На другой день я проснулся гораздо ранее обыкновенного и, схватя мою азбуку, побежал в сад, где уже прогуливался мой дядя-наставник. "Что ты, Сережа, — спросил он, — здоров ли ты?" — "Я здоров, — отвечал я, — и хочу учиться". Не знаю, так ли рад был он, когда получил от Павла I Анну первой степени, как обрадовался, услыша от меня неожиданные слова: "Я хочу учиться". И это неудивительно: до ордена он дослужился, а порыв мой к ученью был для него внезапностью. И можно ли было подумать, чтобы то, что грозило мне смертью, открыло путь к новой жизни. В память начала моего ученья в селе Третьякове назвали меня бабушкиным питомцем.

Не на родине произнес я первую букву азбуки, там была только колыбель моя. Под чужим кровом породнился я с трудовою грамотою, а это как будто и было предвестием, что судьба обрекла меня к жизни бесприютной.

Из-под руководства вольного каменщика[231] перешел я под надзор дядьки Иогана, доброго полунемца — русского, но перешел уже прытким чтецом и с изрядным начертанием букв. Новый мой учитель только присматривал за мною, а память меня учила. Родная моя бабка и двоюродная за твердое уже чтение псалмов первой кафизмы[232] всегда

[231] Вольными каменщиками назывались масоны.

[232] Псалтырь разделяется на 20 частей, называемых кафизмами.

дарили меня гостинцами. Из этого поднялись родные ссоры. Старший брат мой был уже в кадетском корпусе, а оставшийся под ним брат косо на меня поглядывал, когда хвалили мое беглое чтение и дарили мне гостинцы. Но я и не думал о соперничестве. От так называемого соревнования до зависти в семейном быту один шаг. Не поддразнивайте ребяческого самолюбия неуместными похвалами. У детей есть свой суд, свой смысл, своя расправа. Не верьте часто мнимому их рассеянию: под этой личиною нередко притаивается очень зоркое и увертливое наблюдение. Одним словом, не мешайтеся в дело природы. Добрый наш немец Иоган не заглядывал в таинства душ наших, не помышлял о развитии наших способностей, но спасибо ему за то, что он самоуправным диктаторством не пытал духа нашего и не мучил нас ярмом указным. Беда там детям, где наставники силятся затащить их на ходули умничанья своего.

[...]

Чрез год после посещения императрицы[233], то есть 5-го июля 1785 г., в день моего рождения, положено было везти в кадетский корпус меня и брата моего Николая. Но со старшим нашим братом Василием матушка никак не могла расстаться. Несколько раз благословляла его в путь и несколько раз удерживала; рыдания эти и слезы победили решительность отца нашего. На заре жизни узнал я и слезы разлуки, и горе душевное, и силу той чувствительности, которая так глубоко западает в сердце. Любовь к родине была первою моею любовью, а потому и не могу и не стану описывать разлуку с нею. Отец мой, сопровождавший нас в Петербург, вынес меня на руках из-под благословения матери: я задыхался от слез и рыданий. У конца околицы сельской ожидало меня новое испытание. Никогда не обижал я дворовых ребятишек, любил сам лакомства, но любил и их лакомить.

За воротами плетня сутокского выстроились товарищи игр моих и закричали: "Прощайте, прощайте, барин! Дай Бог вам здоровья!" Не утерпело сердце, и я выскочил из повозки и бросился прощаться с ними. Силою усадили меня в повозку. Слово "барин" осталось для меня навсегда на последнем рубеже родины моей. С простым именем человека легче переходить туда,

Где каждый человек другому будет равен.

Это стих Хераскова[234], а истина вековая.

[233] Императрица Екатерина II останавливалась в имении родителей Глинки и предложила им поместить сыновей в Сухопутный кадетский корпус.

[234] Херасков М.М. (1733—1807) — виднейший поэт русского классицизма сумароковской школы.

Рассказывал я о сердечном прощании со мною дворовых товарищей моего детства, но они там весьма вредны, где барское и сиятельное чванство столпляет их около несмысленных барчонков, которые, слыша непрестанные величанья, растут вместе с барскою и сиятельною спесью.

Вид Петербурга нисколько не поразил меня. Огромные здания были для меня груды камней. Сердце мое было на родине. Часто снились мне холмы, рощи и сад и очаровательное село Третьяково. Часто казалось мне, что я гуляю по берегу озера и слышу разливы песни вечернего соловья в кустах. Часто также просыпался я со слезами.

По приезде в Петербург отец представил нас в корпус. Нас принимали как спартанских отроков; раздевали, заставляли бегать и прыгать. Мы выдержали всю эту гимнастику. Старший брат наш, Егор, был уже во втором возрасте. Мы встретились с ним как с чужим. И немудрено: привычка сердечная — дело золотое, а этой связи не было между нами. Он жил не долго и умер от чахотки. Не описываю последней моей разлуки с отцом. Грустен, печален был тот вечер, когда пришлось расставаться с домашним платьем, с домашнею рубашкой; в первую ночь я не надел казенной рубашки; я снял с груди благословение матери, осторожно прицепил его над изголовьем так, чтобы оно не прикоснулось к стене длинной спальной камеры нашей. Я сделал это для того, чтобы оно было под домашнею рубашкою и чтобы на другой день поцеловать на нем неостывшее еще прикосновение родительское. Я поступил в кадетский корпус в тот самый год, когда вышел оттуда граф Бобринский[235]. В бытность его Екатерина нередко посещала сие заведение, а граф Григорий Григорьевич Орлов еще чаще. Обходясь с кадетами, как с детьми своими, они отведывали их пищу и брали с собою кадетский хлеб, говоря, что очень, очень хорош; и это сущая правда. Когда императрица прекратила посещения свои в корпус, тогда по воскресным дням, зимою, человек по двадцати малолетних кадет привозили во дворец для различных игр с ее внуками, между прочим в веревочку. На этих играх не видно было Екатерины, царицы полсвета; в лице ее представлялась только нежная мать, веселящаяся весельем детей своих. В тот вечер, когда довелось мне быть на играх, у шестилетнего товарища моего, Фирсова, спустился в игре в веревочки чулок и упала подвязка. Императрица посадила его к себе на колени, подвязала чулок и поцеловала Фирсова. Отпуская нас в корпус, Екатерина раздавала нам по фунту конфет и говорила: "Делитесь, дети, делитесь с товарищами

[235] Граф А.Г. Бобринский (1762—1813) — внебрачный сын Екатерины II и графа Г.Г. Орлова.

своими! Я спрошу у них, когда они ко мне придут, поделились ли вы с ними".

[...]

Время быстролетящее, повинуясь Провидению заботливому о жизни человечества, завесою со светлою надписью: свычка, отделяет скорбные воспоминания от привязанностей отдаленных. Я говорю свычка, а не привычка. Первая относится к бытию нравственному, вторая — к бытию вещественному. Когда дикарь американских лесов равнодушно обходил великолепные сады версальские, вдруг, увидя родное растение, он бросился к нему с криком, со слезами осыпал его поцелуями: он вспомнил, встретя растение отчизны своей, и ласки, и привет, и разговоры милых и друзей; он забыл тогда все, кроме тех, с кем жил душою и сердцем. Но от нас, птенцов корпусных, далеки уже были все различные кружки кадет, составленных из земляков, окликавших друг друга; тут кружок смолян, там новгородцев, украинцев, саратовцев, сибиряков, словом, там представлялась обширная Россия. Мы дышали новым воздухом, мы сошлись с новыми товарищами. Свычка соединила с ними и мысли, и душу, и сердца наши, она породнила нас. Начались детские игры, детское забвение прошедшего, детская беспечность о будущем. Мы думали, что век свекуем в корпусе. Рано познакомились мы с французским языком, но это было действием любви сердечной. Повторяю и здесь, что счастливый выбор Бецкого дал нам в надзирательницах наших вторых матерей. Без книг и перьев их ласковый голос научил нас обыкновенному разговору. Из первых речей, запечатленных в памяти нашей, был сердечный привет Екатерине.

Выше было сказано, что по вечерам в воскресенье отправляемы были из младшего возраста по нескольку кадет для игр с ее внуками. Сверх того, в праздничные дни из дворца присылали на каждое отделение по корзинке конфет. Наши надзирательницы оделяли каждого из нас по порядку и заставляли выговаривать следующие слова:

"Notre tendre mere et notre Auguste Imperatrice daigne nous envoyer des bonbons, pour que nous soyons sages et dociles aux bons conseils qu'on nous donne. Nous devons l'aimer et la cherir car elle ne desire gue notre bien"[236].

В корпусе был учрежден оспенный зал. Хотя у меня еще дома была сильная оспа, но она не оставила никаких следов, а потому в числе 80 кадет поместили туда и меня, тут же был и десятилетний товарищ мой,

[236] Наша нежная мать и августейшая императрица соблаговоляет прислать нам конфеты, чтобы мы были скромными и послушными добрым советам, которые нам дают. Мы должны любить и почитать ее, так как она желает нам только блага (фр.).

Головня. По привитии оспы он слег. Видя его страдание, я придвинул свою кровать к его кровати и в полноте здоровья и усердия ухаживал за ним; бросал игры и игрушки, когда он кликал меня голосом слабым и унылым. На руках моих он испускал последнее дыхание с теми словами, которые удивили меня противоположностью своею: "Глинка, — сказал он, — ты будешь или великим бездельником, или великим человеком". Что умирающий товарищ мой понимал под словом великий? Не знаю. Но вскоре буду повествовать о ребяческих моих бездельничествах, а особенной великости за собою до сих пор не замечаю. Но если достоинство человека состоит в том, чтобы не унижать душу ни раболепством, ни ласкательством, ни происками ползунов, то от этого достоинства и я могу что-нибудь приурочить к своему жребию. Будто можно вменять человеку в достоинство, что он не унижал и не оскорблял человека. Дивлюсь унижению и лицемерию, но живо сочувствую всему, что возвращает душу и сердце.

По окончании оспенного искуса нас усадили на школьные скамьи. Я умел уже читать и потому попал в 1-й, или вышний, класс, где в общее и единораспевочное чтение нам предложили Всемирную Лакрециеву историю. И теперь еще помню, как учитель наш Афанасьев, небольшой ростом, но пылкий к своему делу, для мерного распева, притоптывал ногою и прикрикивал: "Громче, громче!" А потому, кому не под лад мой громкий голос, тот пусть жалуется на моего корпусного учителя Афанасьева.

Мы рождаемся не в золотой век Астреи, когда сама природа от колыбели до могилы лелеяла человека с любовью нежной матери. Мы рождаемся среди борьбы добродетели с пороком. Мы должны жить в обществе, следственно, должны знать, как и с кем жить в обществе. Итак, первая для нас наука, наука жизни, наука сохранения того здравого, ясного смысла, который называют правителем мира. То же говорит и вековая наша пословица. Осторожность есть первая добродетель, гласит она. Я, старинный кадет, мечтатель отжившего XVIII столетия, я едва на западе жизни спохватился пораздумать о действительности жизни: мы жили спустя рукава, не зная, что такое жить.

Я читал в одном путешествии, что в знойных степях Африки, как будто на поверхности океана мелькают острова, помещенные роскошною рукой природы. Если страннику доведется достигнуть такого приюта, жители принимают его приветливо, угощают тридцать дней и потом убивают, но последний взор жертвы по крайней мере обращается на красоты природы. А что встречает простодушный жилец света, когда грозный опыт срывает с очей его завесу, скрывающую от него мир козней, пронырств и разврата? Говорят, что первый шаг в свете

есть шаг решительный. Но кто даст неопытности нить Ариаднину, чтобы не запутаться в извилистых путях света? Если правда, что нужны для общества следующие качества: вежливость без двуличия, откровенность без угрюмости, снисхождение без потачливости, внимание без изысканности, — то можно сказать, что существуют и противоположные им недостатки: обман, двуличие, лукавство. А из этой противоположности выходит борьба, борьба ежедневная. Следовательно, должно знать, как и с чем бороться. А этого мы не знали. Я мог бы предложить длинную роспись о кадетах, из которых одни были ограблены плутовством карточным, а другие, не стерпя пронырливых подысков, угасли на заре жизни. Резкая, но правдивая русская речь гласит: простота хуже воровства. Хуже, ибо она производит то, что неопытного выходца в свете хитрые понукают, как хотят, и поворачивают, куда вздумают. Где общество добродетельных граждан? Разве на острове Лоо-Шоо, где нет денег, где все дают без денег, и где, по рассказу мореходца Базиль-Галля, нет ни холодного, ни огнестрельного оружия? Но где звонкие и другие погремушки, там и в большом и в малом объеме закладываются плутни.

Сбылось надо мною предсказание моего товарища. Не нужно говорить, что у нас, корпусных питомцев, не было никакой недвижимой собственности, но была различная движимость, т.е. перья, бумага, карандаши, краски, книги и проч. Дорого то, кому что мило. Я принялся за следующий торговый промысел: сшив тетрадь из двух или трех листов, я натирал страницы мелом и известью, чтобы они казались толще. Смастеря свой товар, я кричал: кто хочет обменять бумагу на тетрадки? Являлись покупщики, и начиналась купля. Повершая обман обманом, я никогда не давал ощупывать мои тетрадки. А кто оспаривал, я прибегал к той уловке, которая уловляла и богов мифологических — я поддразнивал самолюбие. "Не стыдно ли тебе, брат, — говорил я, — ведь ты не слеп и не близорук, ведь ты умен, а не хочешь разобрать, что правда и что неправда". Хитрил, плутовал и, тонкие подделывая тетрадки, обменивал на кучу добросовестных листов. Накопив бумаги, я клеил папки, сумки, коробки и пускался в новый торг или грабеж.

Повторяю еще, что кому мило, то тому и дорого. Ребенок плачет, кручинится, если сдунут его карточный домик или окалечат деревянного его коня. Всякое посягательство на чужую собственность — кража. Лесть выкрадывает тайны из сердца, лесть выкрадывает тайны из кармана. Нынче много пишут о производстве и воспроизводстве промышленности, но чтобы ее производить и распространять, надобно иметь запас и знать, из чего что извлекать. Я уже с верным запасом шел от одной плутни к другой. Однажды няньки наши распустили

молву, пойманную ими на улице, будто бы скоро ударит час светопреставления и будто бы чрез три дня пойдет по небу звезда огромная, которая заденет хвостом землю и умчит ее с собою; я не верил этому, но умышленно поддерживал и усиливал молву. "Братцы, — говорил я товарищам, — бросьте ваши бумагу, перья, карандаши. На что вам это все теперь! Ведь звезда все унесет". Хитрость моя удалась; товарищи мои все бросали, а я все подбирал. Прошли три дня, пролетела и молва о светопреставлении, а у меня и под кроватью, и под соломенным тюфяком сберегалась вымороченная бумага. Товарищи осыпали меня просьбами и укоризнами, но я, подобно Горациеву герою:

Грохочущим громам бестрепетно внимал
И волны ярости ногами попирал.

Щеголяя великодушием, я раздавал, что хотел и кому хотел, и узнал, что для плутней не нужно большого ума. Плут — часовой бессменный, а добродушие беспечно. Я плутовал и слыл добропорядочным учеником. У нас, кто попадал впросак, тот оттерпливался, а не жаловался. К означению только, что плутни мои понятны им, товарищи назвали меня Багдадским купцом. Мы тогда уже ознакомились с арабскими сказками. В "Собеседнике" 1783 года, между прочими вопросами, Фон-Визин[237] предложил Екатерине следующий: "Отчего у нас плут идет с честным человеком?" Екатерина отвечала: "Оттого, что первый не уличен на суде". Меня не только не уличали на суде, но в поведении моем писали: Conduite irreprochable[238]; это, однако же, меня не успокаивало, и совесть говорила мне, что я делаю дурно. Есть суд мимо всех судов человеческих, это суд совести. Никто мне не грозил, но какая-то внутренняя укоризна говорила мне, что я делаю дурно, и я слышал также, что Бог карает за дурные дела. К отражению того, я затеял, подобно древним Титанам, несмотря на мое ребячество, бороться с мыслью о существовании Бога. Не стану об этом распространяться. Часто жалуются, что тот или другой развращают нас. Это вздор. Я кощунствовал и сам себя сбивал с толку, пока необычайные превратности моей жизни не угомонили моей буйной мысли; я самовольничал и впоследствии никого за то не упрекал. Ребяческое мое кощунство скоро унялось, и вот каким образом.

[237] Фонвизин Д.И. (1745—1792) — автор "Недоросля", с 1783 г. печатался в журнале "Собеседник любителей российского слова", который направляла Екатерина II и в который она помещала собственные статьи. Между этими авторами возникла острая полемика, выразившаяся в форме вопросов Фонвизина и ответов Екатерины.

[238] Поведения беспорочного (фр.).

До поступления в корпус мне не случалось никогда слушать оркестра; однажды в воскресенье был я в кадетской церкви. Кадеты двух высших возрастов обыкновенно пели на клиросах с большим искусством и чрезвычайным выражением. Раздалось "Иже херувимы" Бортнянского. Восторг необычайный объял и облетел, так сказать, все существо мое. Слезы градом полились из глаз моих. Мне казалось, что душа моя переродилась и устремилась выше земли. Сочетавшись сердцем с этой мыслью, я бросил свои проказы и промыслы, возвратил товарищам отнятую у них движимость и стал переучивать катехизис не памятью, а душою.

Давно сказано, что надо любить детей, чтобы понимать их; сердце угадывает их вернее, чем ум. Этой сердечной догадливостью в полном смысле обладала надзирательница наша, г-жа Нодень. Вот один пример тому. У нее была дочь, которую называли Маделон, сверстница наша. Приступая с нею к ученью, она накануне заговенного воскресенья пригласила человек десять питомцев своих, в числе которых был и я. Комната была освещена необыкновенно ярко. Занавесы окон пестрели разноцветными гирляндами, на всех столиках горели восковые свечи в серебряных подсвечниках, на одном стояла прозрачная корзина с конфетами, на другом — несколько корзин, перевязанных алыми и голубыми лентами. "Дети мои, — сказала г-жа Нодень, — нынешнюю ночь слетел ко мне в спальню гений[239], державший в одной руке корзину с конфетами, а в другой — розги. Если Маделон, — сказал он, — будет прилежно учиться, то вот для нее конфеты, а если станет лениться — то вот розги. Вы мать. Ваша рука будет наказывать легко, но стыдно будет и ей, и кадетам, если станут лениться и вести себя дурно". В этот вечер наша милая сверстница и сама была ангелом невинности. По белоснежным ее плечикам развивались черные кудри, щеки горели, крупные слезы блистали на густых ресницах ее и падали на трепещущую грудь. Она стала перед матерью на колена и сказала: "Я буду, буду учиться!" Г-жа Нодень знала, что я лучше других читаю по-русски, и она избрала меня в наставники русской грамоты для своей дочери, а ей и мне преподавала сама французскую. Общее наше учение шло быстро. Мне был тогда 8-й год, но я сам придумал способ, как скорее приучить ее к выговору и изображению букв русской азбуки: когда Маделон выучивала название букв, я заставлял ее писать их. Это занятие истребило последние порывы моих торговых шалостей. Однажды пришел я к моей надзирательнице давать и брать урок. Маделон взглянула печально и сказала: "Я слышала, что вы любите обманывать?" Я

[239] Гений — по римской мифологии злой или добрый дух — покровитель человека, города, страны и проч.

догадался, что это передано ей няньками; у нас было правило, чтобы все наши шалости, какие бы они ни были, оканчивались между нами, и мы никогда не забегали с жалобами друг на друга. Я отвечал моей ученице, что я обманывал, но теперь никогда уже обманывать не буду. Обратясь к матери, она повторила ей мои слова. Мать отвечала: "Он прекрасно сделает, если не будет обманывать. Обман — гнусный порок".

В малолетнем возрасте нас приучали ко всем воздушным переменам и, для укрепления телесных наших сил, нас заставляли перепрыгивать через рвы, влезать и карабкаться на высокие столбы, прыгать через деревянную лошадь, подниматься на высоты. По выходе моем из корпуса поступил я с товарищем моим, Монахтиным, в число адъютантов князя Ю.В. Долгорукого. Однажды в мороз генварский князь взял нас с собою на садку за Пресненскую заставу; все укутались шубами, а мы пустились в щегольских обтянутых мундирах. Видя, что не мороз нас, а мы проняли мороз, князь сказал: "Это могут вытерпеть только кадеты да черти!" Укрепясь в детстве против суровости наших зим, я и в преклонные мои лета никогда не ношу меховой одежды. Выправкой танцевальной приготовляли нас к выправке фронтовой. Первым нашим танцевальным учителем был г. Нодень, муж моей надзирательницы, г-жи Нодень. Ремесло свое он почитал делом не вещественным, но делом высокой нравственности. Нодень говорил, что вместе с выправкой тела выправляется душа и что рука граций образует движение ревностного поклонника Терпсихоры. Это напоминает о Мейране, танцмейстере старинного Версальского дворца. В своих "Философских основаниях" д'Аламберт[240] рассказывает, что Мейрань, перенесясь душой в менуэт, называемый menuet a la Reine, говорил: "Que de choses dans un menuet"[241], сколько огня, сколько ума, сколько жизни в менуэте!

[...]

Быстрыми сновиденьями слетали с лица земли и с поприща политического мелкие события и затеи мелкого восемнадцатого столетия и быстрыми шагами, как привиденье невидимое, выступал исполинский разгром Франции.

На многих челах померкла светлость корон, для многих пышностей ударял час роковой, час могильный!

Между тем, хотя я жил и не в Аркадии[242], но беспечность аркадская убаюкивала отроческие мои лета, и в то же время и для меня готовился перелом и переворот в тесном объеме умственной моей области.

[240] Д'Аламбер Жан Лерон (1717—1783) — французский математик и философ. Много писал также по вопросам теории музыки и музыкальной эстетики.

[241] Сколько всего в менуэте! (фр.)

[242] Область в Греции, на Пелопоннесском полуострове, ставшая нарицательным обозначением счастливой земли.

А вот по каким степеням шел я, так сказать, от прежнего самого себя к другому себе.

Чудное дело! Катехизис познакомил меня с тем Вольтером, который сказал, что катехизис сближает с Богом детей, а Невтон[243] ведет к нему взрослых. Оживляйся, память прошедшего!

Из первого возраста перешел я во второй, где для летних игр был обширный двор, отделенный забором от прежнего нашего сада; часто мы подбегали к нему и в промежуток забора смотрели на липы, под которыми, бывало, играли и сидели; смотрели, не пройдет ли кто из наших надзирательниц или нянек; сердце билось от радости, когда взоры наши встречались с их взорами и когда нам удавалось прокричать:

"Здравствуйте, здравствуйте, мы вас помним, мы вас любим!"

Главный начальник второго возраста и все гувернеры были французы. Кто же в них вложил такое горячее и бескорыстное усердие к пользе нашей? Выбор Бецкого. И там мы встретили новое свидетельство о том, с каким умным рачением он выбирал людей для нашего воспитания. Начну с нашего инспектора, майора Фромадье. Он был человек умный, ловкий и зоркий в делах жизни. Однажды, когда наш иеродиакон объяснял нам катехизис, он принес Вольтерова "Задига", переведенного Смирновым. "Прочитайте, — сказал он иеродиакону, — прочитайте им главу о пустыннике, в которой Вольтер так разительно представил пути Провиденья".

Всем известно, как встретился Задиг с пустынником и как обязался молча смотреть на все, что бы он ни делал. В начале их путешествия зашли они в замок богача, где хозяин принял их с гордым приветом, однако наряду с другими и угостил их роскошным обедом. Пустыннику удалось запрятать под длинную свою одежду драгоценный сосуд. Задиг заметил это по выходе из замка и молчал. Под вечер пришли они в дом скряги, были приняты грубо и отведены в какое-то захолустье, где предложили им самый скудный ужин. К удивлению Задига, пустынник подарил скупому похищенный сосуд. Задиг и тут молчал. На другой день вечером были они в сельском домике, где хозяин, посвятивший себя для изучения природы и человека, принял их радушно и доставил им все приятности хорошего ночлега. На ранней заре, когда все еще спали в доме, пустынник зажег его и удалился. Задиг выходил из терпения, но властительный взгляд пустынника удерживал его порывы. Последний ночлег их был у вдовы, которая приветливо угостила их и, заботясь о дальнейшем их пути, дала им своего племянника в проводники, чтобы он безопаснее провел их через испорченный мост.

[243] Ньютон Исаак (1642—1727) — английский физик, астроном и математик.

Едва сделали они несколько шагов по мосту, пустынник схватил юношу за волосы и сильной рукой сбросил его в реку. — "Чудовище, изверг!" — вскричал Задиг. — Чудовище, изверг! — воскликнул я, вскочив с лавки. — "Не горячись, Глинка, — сказал П.П. Фромандье, — не горячись, не умничай, а дослушай повесть".

Вот сущность и развязка этой повести. "При встрече со мной, — сказал пустынник Задигу, — ты застал меня за чтением книги и спросил о заглавии ее. Я отвечал, что это Книга судеб. Ты любопытствовал заглянуть в нее и, долго перебирая листы, признался, что не понимаешь в ней ни одной буквы. Вот почему потребовал я от тебя безусловного молчания на все, что бы я ни делал. Слушай: богач, у которого я похитил драгоценный сосуд, угощает только для того, чтобы блеснуть своей пышностью. Мой урок ускромнит его; я подарил сосуд скупому, и он впредь будет гостеприимнее в ожидании какой-нибудь выгоды. Жаль тебе было, когда я сжег дом умного нашего хозяина, но под развалинами его он найдет клад, который даст ему средство еще более делать добра людям. Ужаснулся ты, когда я сбросил с моста юношу, но знай, что через год он убил бы свою родственницу, а через два года тебя". — "Но кто открыл тебе все это?" — спросил Задиг. "Книга судеб, в которой ты не понял ни одной буквы! — отвечал пустынник, — и мало ли чего вы не понимаете, а по легкомыслию своему отваживаетесь порицать пути того Провидения, которое, вопреки вашей безрассудности, везде и всегда заботится о вас". — "Но кто же сделал тебя вестником Провидения?" — спросил Задиг. Тут, вместо престарелого пустынника, увидел он гения с блестящими крыльями. — "Смиряюсь!" — воскликнул Задиг, и гений исчез. По окончании чтения Фромандье сказал: "Господа, не забывайте никогда нынешней повести. Во всем и всегда покоряйтесь Провидению. Оно лучше нас знает, к чему и куда нас ведет, какой бы ни постиг вас жребий. Храните честь, честность и благородство души, и вы будете счастливы внутренним убеждением своей совести". [...]

Был у нас учителем французского языка Д.Х. Стратинович: он перешел в наш корпус из Шклова. Стратинович вышел в отставку майором; где и как он служил, об этом мы не справлялись. Но он сказывал, что был в Риме при том посольстве, которое, представляясь папе, отказалось снять сапоги. Не знаю, почему он особенно был со мной разговорчив. "К французской словесности, — говорил он, — пристрастился я, читая курс Баттё". Но сколько переменилось у нас этих курсов? Тогда и в Московском университете Баттё был законодателем словесности; а теперь никто его и не читает. А вот что Стратинович говорил о своем природном греческом языке.

Читая со мной перевод Кострова Гомеровой "Илиады", он одобрял некоторые стихи; но, — прибавлял он, — душа Гомеровой поэзии для нас исчезла; ее можно уподобить картинам Рафаэля и других великих живописцев, с которых время стерло или истребило все оттенки очаровательной кисти, оставя один только абрис. Древние греки чрезвычайно были щекотливы в выговоре своего языка. Известно, каким остроумным пером Аристофан изобразил нравы своего века. Но когда он, по приезде в Афины, покупал у торговки зелень для своего стола, она сказала ему: "Чужеземец, давно ли ты в Афинах?"

Зная, что я кропаю стихи, Стратинович советовал мне вытверживать на память стихи различного размера из наших поэтов. Но минувший век как будто увлек с собой все тогдашнее стихотворство. Если по нынешним требованиям уничтожить в наших стихотворениях усеченные слоги, то что из них останется? Впрочем, поэзия перешла теперь в непоколебимую положительность, где одна она еще скитается в потемках и не находит оседлости. У Д.Х. Стратиновича было свое понятие о свободе: "Прибейте на улице кусок золота, — говорил он, — и если тот прохожий, который явственно его увидит, не захочет оторвать его — он вполне свободен. Я согласен с Ж.-Ж. Руссо, — прибавлял Стратинович, — что прихотливые страсти всегда будут одолевать буквы и слова законоучреждений". Один из просвещеннейших греков полагал, что гражданские общества учреждаются там, где воспитывают всех одинаково, где уравнивают страсти, где закон поощряет добродетель и правосудие, и где богатые не презирают бедных. [...]

Быстро промелькнули для меня три года в первом возрасте; счастливая звезда блеснула надо мной и во втором: любовь и внимание встретил я в надзирателе нашем, Леблане. Но об нем поговорю далее, а здесь припомню, что вышел в свет отчет Неккера о доходах Франции, то Петр Петрович Фромандье, показывая мне эту книгу, сказал: "Во Франции будет нечто необычайное". В ней, действительно, приближался политический перелом; настал перелом и в бытии души моей.

При торжественных наших экзаменах присутствовал и старший внук Екатерины. Готовясь к одному из них, сам тогдашний архимандрит корпусный предоставил мне спрашивать о Богопознании естественном. Учительский подвиг мой увенчался успехом: я не только не робел, но заранее условился с товарищами вместе с вопросами соединять и ответы, и чтобы они только внимательно вслушивались.

Уловка моя вполне удалась. Кончился экзамен; наступил час наград. Совет корпусный за отличие в катехизисе, что присудил мне в подарок! Выслушайте: 1762 г., когда еще не было меня на свете, Харламов, на беду будущей моей жизни, перевел "Житие Клевеланда, по-

бочного сына Кромвеля". Перевод нестерпим, но десятилетний ребенок думает ли о слоге? Давно сказано, что первая попавшаяся в руки книга, в которую закралась любовь, покажется лучшей книгой. Но в Клевеланде не любовь, а бешенство любви; и эта исступленная страсть из бурного сердца Прево, сочинителя романа, вырывалась кипящею лавою в юное мое сердце.

По совести говорю, что начальники наши были очень доброжелательны. Как же судить о такой опрометчивой несообразности? [...]

Перевод Клевеланда печатан был в корпусной типографии. Вероятно, переводчик не сполна заплатил, отчего и удержаны были несколько экземпляров. Куда же их деть? Включить в список подарков и для блеска натиснуть золотые орлы на переплетах, а потом при торжественной выкличке, сопровождаемой звуками труб, подарить роман Сергею Глинке за прилежание и благонравие. И я, впившись в очаровательные россказни романа, прежде богатыря нашего века, прежде Наполеона, сроднился с островом Елены, мыслью перелетал за океан и по вершине скалы Еленской гонялся за Фани, героинею романа, и сердце мое превратилось в роман. Я начал влюбляться в призраки. Мечты любви сблизили меня со слезами; горько плакал я, когда в начале 3-й части романа читал и перечитывал следующие слова:

"Тут пускаюсь в беспредельный океан моих злоключений. Начинаю повествование, при котором от плача не могу удержаться и которое, конечно, извлечет слезы у моих читателей". Плакал ли переводчик при этих строках, не знаю, но я плакал и рыдал. Прощай, классное ученье, прощайте, карандаши, перья и грифеля!

Мечтательное воображение до того овладело мной, что я заливался слезами от сказки о Бове Королевиче, читая, каким образом девка-чернавка спасла юного королевича от козней и злобы его гонителей; я перестал учиться.

Узнал я, что и на заре жизни, и в лета неопытности голос правоты вступается в сердце человеческом за гонимую невинность.

В этом-то разгроме занятий моих и в этом бурном перевороте души моей приспело время учения грамматики. Как будто бы дикими звуками отзывались в слухе моем склонения и спряжения. Сердце мое склонялось к мечтам и спрягалось с мечтами; разлив моего воображенья час от часу усиливался.

В зимние вечера, когда вой метели и треск морозов сгонял нас со двора, кружок товарищей усаживался около меня для слушанья сказок, собственных моих вымыслов. Услыша призывной звонок к ужину, я говорил: "Ну, братцы, помните, на чем я остановился", — и на другой вечер пускался в даль небылиц моих.

Распаленному воображению моему часто мечтались по ночам наяву и во сне Бог знает какие призраки и привиденья!

С переменою души моей все во мне переменилось. Сказано в первой части, что я был пролаза-рукодельник и неугомонный торгаш; мечты угомонили и плутни, и рукоделье мое. Я бросил и карандаши, и краски, и бумагу, и все классные наши сокровища; я попрал их ногами, как в Вольтеровой Ельдораде попирали изумруды, яхонты и все вещественно блестящее, приурочиваемое славным Линнеем к царству дикой природы. Словом, ничто вещественное меня не льстило; крайне также я стал небрежен в одежде. За плутни прослыл я Багдадским купцом, а за неряшество — разгильдяем. [...]

В корпусе началась новая жизнь. С графом Ангальтом вступил в него и начальник, и отец, и наставник. Он один желал бы заменить всех, если бы можно было, но зато все шли по следам его в нежной заботливости о кадетах; дела его доказывают истину этих слов. [...] Кроткая его душа светилась во всех чертах лица его; проглядывал в них и ум Фридриха II, страстно им любимого.

По катонскому[244] владычеству над собой он даже не употреблял и носового платка. Но он строг был только к себе.

Я изобразил это в надписи к его портрету. Вот она:

Как нежный он отец
Кадет всегда любя,
Был Титом[245] для других,
Катоном для себя.

Никогда туманная черта не налегала на лицо его, а я видел его почти каждый день, а иногда и по два раза. Известно только об одной его ссоре с князем Таврическим[246]. Он вызвал его на поединок, а где? Не могу сказать утвердительно. Задунайский[247] был его героем, он первый передал нам имя его. "Запишите, — говорил он, — запишите имя графа Румянцева и в тетрадях ваших, и в памяти, и в сердцах. — Он был ка-

[244] Катон Марк Порций Старший (234—149 до н.э.) — государственный деятель и писатель Древнего Рима. Отстаивал простоту нравов, боролся против роскоши.

[245] Тит Флавий Веспасиан (39—81 гг. н.э.) — римский император династии Флавиев. Славился щедростью и заботами об общественных нуждах.

[246] Потемкин Г.А. (1739—1791) — государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, фаворит Екатерины II. За присоединение в 1783 г. к России Крыма получил титул "светлейшего князя Таврического".

[247] Румянцев П.А. (1725—1796) — знаменитый полководец, генерал-фельдмаршал. Учился в 1740—1743 гг. в кадетском корпусе. За заслуги в русско-турецкой войне 1768—1774 гг. получил почетное добавление к фамилии "Задунайский".

детом, пусть будет он Фаросом[248] вашим на путях военной вашей службы. Фридрих II любил и уважал его, хотя он и взял Кольберг. Герои уважают героев". Сердце графа Ангальта всегда жило в стенах корпуса, хотя граф Ангальт жил за Невой, в доме графа Г.Г. Орлова. [...]

В корпусе все шло своим чередом. Я сказал выше, что в затворнических стенах его был и театр. В нем явилась Вольтерова трагедия "Брут".

В это время наступил мне одиннадцатый год; я узнал тогда и скалу тарпейскую, — дочь изменница Тарпея пала под грудой золотых щитов; и узнал пресловутую Капитолию, представительницу Рима, провозглашенного городом вечным. Узнал сенат римский, который показался послу неугомонного Пирра сеймом царей, словом, ознакомился с летописями римскими и как будто переселился в древний Рим. [...]

Древний Рим стал и моим кумиром. Не знал я, под каким живу правлением, но знал, что вольность была душою римлян. Не ведал я ничего о состоянии русских крестьян, но читал, что в Риме и диктаторов выбирали от сохи и плуга. Не понимал я различия русских сословий, но знал, что имя римского гражданина стояло почти на чреде полубогов. Исполинский призрак Древнего Рима заслонял от нас родную страну — и в России мы как будто видели и знали одну Екатерину.

В честь ее мы пели хоры не русские, а французские. Вот начало одного из сих хоров:

Aimons, aimons toujours, notre Auguste Souveraine,
Au temple de la gloire elle n'a point de rivaux[249] и пр.

Заметят, может быть, что граф Ангальт, очаровывая нас Римом и Грецией, отдалял от отечества. Этого не было. Едва ли кто из иностранцев ездил столько по России, сколько он. Тогда русская история была у нас еще в младенчестве, но мы вычитывали историю о русском народе из примеров и слов графа Ангальта. Он чрезвычайно любил и уважал русский народ; он всегда хвалил его умную во всем спохватливость и отважность духа. У нас и в отделениях, и в классах, и в увеселительной зале были сторожами отставные русские унтер-офицеры и сержанты; мы каждый день видели, как ласково граф обращался с ними. Нередко, приезжая в корпус часу в пятом утра, он заставал в зале одного дневального, старого служивого, и расхаживал с ним рука об руку, и, хотя с трудом, но усиливался говорить по-русски. Гвардейские караулы во дворце всегда радовались его дежурству. Обходя ряды, приветливо он со всеми разговаривал. Однажды он спросил у одного рядового:

[248] Фарос — маяк.

[249] Любить, любить всегда императрицу будем,
Соперников у ней во храме славы нет (фр.).

— Женат ли ты?

— Холост, ваше сиятельство! — отвечал рядовой.

Не поняв этого слова, граф прибавил:

— А много ли у тебя детей?

— Шесть человек! — сказал спохватливый рядовой.

Граф дал ему пятьдесят рублей. Отыскав дома в словаре, что холост значит неженатый, граф по приезде в корпус говорил нам:

— Любезные дети, я вчера заплатил за невежество мое 50 рублей, и очень рад. Старшего Катона упрекали за то, что он на восьмидесятом году принялся за греческую азбуку. Он отвечал: "Лучше быть старым учеником, нежели быть старым невеждой". Я не только не стыжусь быть учеником в русском языке, но почитаю это учение украшением моей памяти. Укрепляйте сколько возможно вашу память: без нее слабы все другие способности ума. Вот почему древние называли муз богинями памяти. Фридрих II затверживал каждый день по двадцати или по десяти стихов. Подражайте его примеру. Тело требует своей пищи, а ум своей. Огонь гаснет, если под него чего-нибудь не подложат; гаснет душа, если мысль дремлет в праздности. От праздности до порока один шаг. Мне нравятся русские пословицы: "век живи, век учись" и "без труда нет плода". Вы в корпусе учитесь, а вышед из него доучивайтесь".

Сюрвиль, сочинитель французских хоров, был и наставник наш в декламации. В "Мизантропе" Мольера он был истинным мизантропом, но отличался самым кротким нравом. Авторская неудачная попытка заставила его оставить Францию. "В молодости моей, — говорил он, — сочинил я роман и думал, что слава о нем прошумит везде; прихожу однажды к знакомому моему маркизу N, и что же? Вижу, что роман мой превращен в папильотки! Самолюбие мое раздражилось, и я уехал в Россию". Печален был последний год жизни умного и доброго Сюрвиля. Он мучился жестокой простудой в руках и бедностью. Любя Сюрвиля, мы часто навещали его и, видя его нужды, спрашивали, для чего он не просит помощи? Ответ его всегда был одинаковый: "Я не протягивал для милостыни здоровой руки, не протяну и больной".

Между тем Бог знает, куда бы увлекла меня не историческая, а романтическая моя мечтательность, если бы не остановил меня умный и опытный гувернер наш Леблан. Казалось, что он в одно время жил и в России и во Франции. Каждую неделю исписывал он по нескольку листов очень красивым почерком и отправлял на родину. Но это заочное сношение с заграничными друзьями не отдаляло его сердце от кадет. Известно, что у входа храма Дельфийского была надпись: "Познай самого себя", а у входа в комнату Леблана были написаны на большом листе крупными буквами стихи Вольтера, начинающиеся следующими словами:

La raison est de l'homme et le guide et l'appui[250].

"Ни пылкое воображение, — говорил Леблан, — ни счастливая память ни к чему не поведут, если рассудок не управляет ими. Воображение увлекает в область мечты, а память, поглощая чужое, обременяет ум, не сопровождаемый соображением, т.е. светильником рассудка. Цицерону однажды сказали, что один из граждан римских вытвердил наизусть все его речи. Римский оратор равнодушно отвечал: "Он знает, что я знаю, а я хотел бы занять у него то, чего я не знаю". Это врезалось у меня в памяти, и, как увидят впоследствии, послужило к большой пользе. Леблан не ограничивал себя одной французской словесностью; несколько раз перечитывал он историю "Тридцатилетней войны" — эту живую картину борьбы страстей и мнений.

"Во французской словесности не достает книг для первоначального воспитания, — говорил он. — Германия в этом счастливее Франции: у нее есть Кампе[251]". В честь этого друга воспитания учреждал он кампейские вечера. По будням в шесть часов, после обеденных наших классов, а по праздникам в пять часов пополудни призывал он нас по нескольку человек в свою комнату. Я всегда был на этих незабвенных вечерах. Радужным лучом сливались они с зарею моей жизни. Чтение Кампе началось его "Робинзоном Крузе", извлеченным из "Робинзона" Давида Фое[252] и предложенным в разговорах. "Видите ли, — говорил нам Леблан, — что может сделать один человек, употребляющий все силы телесные и всю деятельность рассудка. Природа мертва, человек ее оживляет. Рука Робинзона преобразила остров, куда занесла его буря. Этого мало. Силой расторопного ума он исторг из рук диких страдальца, которого они готовились поглотить. Где не светит луч рассудка, там цепенеет в одичалости и природа, и человек". Это слова моего наставника. От Робинзона перешли мы к "Открытию Америки", также сочинение Кампе в разговорах. Мы переносились мыслью за океан, по которому летел Колумб к берегам Нового Света. Летели за ним и мысли наши. Каждый из нас порывался в его спутники. В глазах наших боролся он и с бурями морскими, и с грозными воплями отчаянных спутников. Мы содрогались, когда Колумб обрек себя на смерть, если через три дня не увидят земли, а когда загремел радостный клик: "Берег, берег!" — мы единодушно кликнули: "Берег, берег!" Но и в книгах, и на деятельном поприще общественном радость сменяет горе, а горе следит радость. Не миновало это и нас. Вместе с открытием нового света открывался нам новый мир борьбы страстей человеческих. Мы, питомцы неопытные, были поражены, когда изверг Боодило загремел цепями над головой отыскателя нашей земной полвселенной. Товарищи мои плакали, а я рыдал, увидя на ногах Колумба оковы, в которые повергли его ненависть, зависть и мщение за то, что слава его отразила и уничтожила все предупреждения невежества. Не порицая порывов чувствительности нашей, почтенный Леблан говорил: "Не смущайтесь, не жалейте о Колумбе: он не променяет оков своих на все сокровища древнего и нового мира; он не будет выпрашивать никаких великолепных памятников, он прикажет только положить с ним в гроб свои оковы". Слабо и темно понимал я тогда, отчего люди гонят друг друга, но и тогда жарко заступался за гонимую невинность и теперь еще дивлюсь, как можно жизнь любви менять на геенное пламя ненависти. Мы ознакомились с Мексиканской державой, павшей не от горсти ратников Кортеца, но от ненависти к мучителю Моньезуме. Мы плакали и оплакивали падение миролюбивой державы Перувианской; мы гнушались завоевателями, не щадившими невинности и добродетели; в памяти нашей запечатлелось имя Монки, названного Капокой, т.е. мужем, богатым добродетелями и душевными способностями; затвердили мы и трудное имя Инки Пакакутеки, или преобразователя мира. Леблан прочитал нам некоторые из нравственных правил его, сохраненных Герерой и Силисом. В числе их было следующее: "Зависть — червь, который гложет и истощает внутренность завистников". Итак, прибавил наставник наш: "Не сердитесь на злобные их стрелы, казнь в них самих".

Мы знакомились с Америкой и американцами, а Россия все еще скрывалась от нас в каком-то отдаленном тумане. Полюбя страстно французский язык (ибо мы и Кампе читали во французском переводе), я затеял уверять, будто бы родился во Франции, а не в России. Впрочем, и не грех было породниться с Лебланом: он брал жалованье за присмотр за нами, а душу свою передавал по безусловному стремлению благородного духа своего и из усердия делился с нами познаниями своими.

К классному нашему учению присоединилось учение военное. Из нас, т.е. из кадет второго возраста, выбраны были в егеря. Ловко танцуя, мы легко и забавляясь привыкли к выправке и вытяжке. В это самое время раздана была нам с русским переводом речь "Об обязанностях военного человека", до нас еще сочиненная Леклерком, в которой между прочим сказано было: "Сила оружия тогда только защищает отечество, когда оно управляется умом".

[250] Рассудок смертному и вождь, и подкрепленье (фр.).

[251] Кампе Иоганн Генрих (1746—1818) — немецкий педагог, один из теоретиков филантропизма и детский писатель.

[252] Дефо (Defoe) Даниель (ок. 1660—1731) — английский писатель.

[...]

В корпусном странствовании моем наступил третий переход из возраста в возраст. В первом расставался я с гувернантшей, во втором расставался с гувернером. Тяжелая скорбь налегла на сердце мое при этом переходе. Добрый Леблан по праву заботливых попечений своих стал родным моего сердца и родным моих мыслей. Он ознакомил глаза мои с новыми понятиями. Говоря словами Ксенофонта: "Он воздвиг в сердце моем живой памятник любви радушным вниманием своим". Победы, одерживаемые любовью, остаются в душе до перелета ее с земли за все земное. Победа первая — победа над сердцами.

Под знаменем этой победы идем за графом Ангальтом в обитель третьего возраста, в огромную залу, названную увеселительною залою.

Смотрите! Вот у средины задней стены величаво возносится мраморный истукан Марса, верховного божества римлян, обладателей древней вселенной. Но не страшитесь его! Это не тот Марс, не тот Гомеров Арей, который криком своим заглушал вопли тысячных ратных сонмов. Это Марс — сблизитель сердец; по одну сторону читаем стихи Фридриха II.

Dans vos moindres croyez voir vos enfants,
Ils aiment leurs pasteurs et non pas leurs tyrans[253].

По другую сторону его же стихи:

Si vous voulez passer sous un arc triomphal
Campez en Fabius, marchez en Annibal[254].

Далее от истукана Марса стояли бюсты: Александра Македонского, Катона Утикского и других знаменитых людей, римских и греческих. У другой стены был образец Вобановой[255] крепости, в огромном ящике с крышкой. Тут проглядывало очень странное сближение разнородных вещей. Под крышкой были все крепостные виды, а на крышке переплета прибиты были для прочности гвоздями 40 частей Cabinet des Fèes[256]. Это французское издание дышало роскошью очаровательных картин. Для чего сближен был Вобан с волшебницами? Вероятно, для приманки.

Романтическое мое воображение впилось в волшебные сказки. Исчез и последний след классных моих тетрадей. Появились у меня кипы бумаг, исчерченных волшебными вымыслами. Как же отделывался я в

[253] В самых незначительных из ваших солдат вы должны видеть ваших детей. Они любят своих пастырей, а не тиранов (фр.).

[254] Если вы хотите пройти под Триумфальной аркой, стойте лагерем, как Фабий, передвигайтесь, как Ганнибал (фр.).

[255] Вобан Себастьян Ле Претр де (1633—1707) — французский автор "Книги о атаке и обороне крепостей".

[256] Кабинет волшебниц (фр.).

классах при экзаменах математических? А вот как: на противоположном окне образца крепости Вобановой пригвожден был, подобно волшебным сказкам, французский словарь военных наук; я обращался к этому указателю, и услужливая моя память затверживала то и другое. Нам преподавали в четвертом возрасте военные науки на французском языке, а потому упомянутый словарь всегда выручал меня из беды. Когда наступал срок экзамена, спрашивали, на сколько вопросов я могу отвечать. Убежденный в моем невежестве, я ограничивался всегда самым малым числом. Когда же предлагали вопросы свыше сказанного, моя память подсказывала мне, и я, ученик бестетрадный, попадал в статью прилежных и получал в награду разноцветные банты и звезды. Чего не было и чего не бывает на свете!

Кроме вышепоказанных книг в зале на особом столе лежала Библия на трех языках, поучительные слова русских проповедников и французский перевод творений Василия Великого; тут же были политические сочинения Гроция, Бильфельда и других. Каждый из кадет по своей склонности и понятиям находил пищу для ума своего, а что я увлекался воображением, то этот порыв постиг меня еще до гр. Ангальта и, говоря нынешним выражением, отдалил от всего "положительного".

Трагедия Вольтера ознакомила нас с Древним Римом, а "Жизни великих мужей" Плутарха воскресили в глазах наших дивную Спарту. По приказанию гр. Ангальта иногда по вечерам устраивали скамейки амфитеатром или уступами в три яруса, сообразно хорам спартанским. На первом садились отроки, на втором юноши, на третьем старики, разумеется, мнимые. Хоры возглашали мы по-французски, переведенные из Плутарха Амиотом.

Хор стариков

Nous avons été jadis
Jeunes, vaillants et hardis.

Хор юношей

Nous le sommes maintenant
A l'épreuve de tout-venant.

Отроки

Et nous un jour le serons
Qui tous vous surpasserons!

Вот мой перевод:

Старики

Юность, храбрость, пылкость лет
Нам казали к славе след.

Юноши

В бой готовы сей же час:
Поднимись лишь кто на нас!

Отроки
След ко славе мы найдем,
И всех вас мы превзойдем!

При этом случае граф Ангальт говорил: "Я люблю храбрость и мужество спартанцев, но гнушаюсь поступками их с несчастными илотами. Спартанцы хотели быть героями, но в рабах своих забывали людей. Истинное геройство неразлучно с любовью к человеку. Велик подвиг Леонида, который с 300 воинов обрек себя на жертву, чтобы остановить несметные ополчения Ксеркса; незабвенна надпись на памятнике Фермопильским героям: "Прохожий, скажи Спарте, что мы здесь умерли, повинуясь ее законам". Жаль, однако, что эти самые законы не только не обуздывали спартанцев, но давали им повод силой своей угнетать слабых. Читая историю, любезные дети, не обольщайтесь пустым блеском; старайтесь различить подлинную славу от ложной и, повторяю еще, где нет любви, там нет человеколюбия".

Таким образом, мы почти шутя изучили греческую и римскую историю. Тогда не был еще известен не только новейший историк Нибур, но и Вико. Граф не пускался в разбор критический, а наставлял нас примерами и нравственными замечаниями. Выше сказано было, что я сочинял записки со времени вступления моего в корпус, домогаясь доказать, что ни в одной из европейских областей нет узаконенного воспитания. Некоторые из моих наставников называли мои записки дерзкими; Яков Борисович Княжнин[257] назвал их отважными, и я бросил их в огонь. Юность моя летела от мечты к мечте. К обширному залу нашему прилегала комната, где находилась наша отдельная библиотека, а я был библиотекарем. В то время мучила меня страсть к чтению; я читал все, что ни попадалось мне в руки; читал, чтобы только читать. На беду кровать моя была у ночника, а потому я зачитывался и ночью. От двухлетней сидячей жизни и от напряжения мыслей казалось, что я впал в какую-то чахотку или сухотку. Страшно болела у меня грудь, слышно было в ней беспрерывное хрипенье, и от неугомонного чтения на меня находил столбняк. Иногда стою неподвижно в глубокой думе час и более. Меня расталкивают, колотят в спину, ничего не слышу, ничего не чувствую. Почтенный инспектор наш П.П. Фромандье, ожидавший, что я буду хватать звезды с неба, стал терять надежду, говоря: "Глинку книги испортили". И он был прав. Бестолковое чтение ни к чему не служит. Дело в том, что читать — и как читать. Со мной сбы-

[257] Княжнин Я.Б. (1742—1791) — поэт и драматург радикальных политических взглядов, хозяин литературного салона 80-х гг. XVIII в. Преподавал русскую словесность в кадетском корпусе.

лась поговорка: "Чем ушибешься, тем и вылечишься". Вот как это случилось. Я прочитал в сочинении Шарона, ученика Монтеня, статью о веселости духа, в которой сказано, что глупо и безумно предаваться унынию или хандре. Глупо, подумал я, глупо я делаю, что зачитываю мою юность. Она быстро пролетит, а я читал и слышал, что много горя в жизни. Подумал и на некоторое время бросил истомившие меня книги. Здоровье мое расцвело новой свежестью, сидячая жизнь заменилась пылкой деятельностью. Я не ходил, но бегал; товарищи проименовали меня "летучим". Но и в этом разъяснении услужливая моя память не дремала. За эту способность граф Ангальт очень полюбил меня и давал мне выучивать наизусть отрывки из Фридриха II, то из "Генриады" Вольтера, то из других французских писателей. Прочитать и затвердить было для меня одно и то же. За то граф задарил меня книгами. Однажды он рассказал нам по-французски свое путешествие с Екатериной по Таврическому краю и препоручил нам написать этот рассказ. Мое французское сочинение понравилось ему более других, и он приказал переписать его набело, что я и исполнил. Между тем был класс русской грамматики. Я сам не занимался и другим мешал. Дежурный офицер, грозно прикрикнув на меня, прибавил:

— Ты, Глинка, загордился и от того не слушаешь русского урока, что тебе удалось лучше других сочинить по-французски.

— Неправда, — отвечал я, — стыдно гордиться чернильным мараньем!

С этим словом быстро выхватил я из настольного ящика перебеленное мое сочинение, изорвал его в куски и разметал по полу. Граф приехал в тот же день после обеда, спросил, готов ли мой труд. Притворяясь, что отыскиваю мое сочинение и, поискав его несколько минут в ящике, я отвечал, что потерял его.

— Итак, — сказал граф по-французски, — вы, мой друг, потеряли свое счастье. Я докладывал о вас императрице. Она вспомнила, что сама записала вас в корпус, назвала своим питомцем, приказала представить вас к себе и хотела отправить в чужие края. Но вы сами виноваты, вы потеряли свое счастье.

Признаюсь откровенно: я не потерял и не искал счастья. Да и как искать его? [...] Обращаюсь к корпусному нашему залу и саду.

В той комнате, где я был библиотекарем, висели по стенам печатные таблицы о всех науках; вся энциклопедия представлялась тут глазам и заманивала мысль в свои пределы. Из увеселительного нашего зала переходили мы в сад юными афинянами, учениками Аристотеля. Вся каменная стена, заслонявшая нас от закорпусного мира, исписана была нравственными изречениями французскими, немецкими и рус-

скими. Там начертаны были различные системы Птоломея, Тихобрага и Коперника. Клушин, бывший некогда сотрудником Крылова в издании журнала, отзывался с большой похвалой о говорящей стене. И она, действительно, говорила и глазам, и уму, и сердцу. Изречения краткие, умные, выбранные из сочинений превосходнейших писателей, врезывались в памяти и вели к отысканию других мыслей и понятий. Душевное чувство нравственности граф предпочитал холодной учености. Далеко за нашу стену, за моря, за океан, повсюду, где только запечатлевался след ноги человеческой, переносили нас следующие слова: "О братья! Мы все вместе отправляемся в путь: одни на север, другие на юг, на восток. Нам нужны и различные одежды и различные запасы жизненные, но по душе и по сердцу мы все дети одного семейства, а вождь и отец его, дав нам различные блага, вложил в душу и в сердце нераздельную любовь к человечеству. Солнце освещает мир вещественный, а любовь освещает мир нравственный, мир человечества".

Объясняясь о цели "говорящей стены", граф говорил: "Кажется, любезные друзья, что с умом надо обходиться, как и с телом, т.е. питать и подкреплять его каждый день. Что делают, чтобы питать ваше тело? Поутру предлагают вам завтрак, а между обедом и ужином полдник. Обед и ужин ума (если допустить это сравнение) есть учение и размышление и прилежание в классах; завтрак и полдник — разговоры и мысли, внушаемые нашей говорящей стеной, когда прогуливаетесь со мной в саду, с вашими наставниками или когда рассуждаете между собой". [...]

[...] Граф отдавал нам отчет в своих успехах в русском языке и говорил: "Я экзаменую вас, мои добрые дети, экзаменуйте и вы меня в очередь свою". И, занимаясь с нами, он занимался и будущей нашею судьбою. Вот слова его: "Voici des pensées, mes bons amis, qui veulent qu'on les écrive; répétez les, mes bons enfants, un jour a vos enfants, et dites de ma part, qu'ils eu parlent aussi à leurs enfants"[258].

"La constance peut avancer lentement, mais elle n'interrrompt jamais l'ouvrage qu'elle a commensé et produit enfin des grandes choses. Apportez chaque jour une corbeille de terre, et vous en fere une montagne"[259]. [...]

Обращаюсь к нашему корпусному быту.

[258] "Вот мысли, мои любезные друзья, которые требуют, чтобы их записать; повторите их, мои добрые дети, вашим детям, и скажите им от меня, чтобы они передавали их своим детям" (фр.).

[259] "Постоянство может идти медленно, но оно никогда не прерывает начатого им труда и производит наконец великие дела. Приносите каждый день по корзине земли, и вы наконец составите гору" (фр.).

3-го августа 1790 года заключен был мир со Швецией[260]. В этот самый день, при первом пушечном выстреле, возвестившем торжество мира, загорелась у нас битва хищничества. Обширная наша столовая переделывалась; пол был в ней взломан. Один из наших товарищей, бегая по перекладинам, вдруг рухнулся и погрузился в кадку патоки. На крик его сбежалось несколько кадет, и я в том числе. Мы вытащили ослащенного товарища. Случай открыл стекла телескопа, сблизившего глаза с горним миром светил воздушных. Случай и нечаянность открыли и у нас подпольный мир лакомства. Быстро бросились мы в погреба, охапками выносили оттуда сушеные яблоки, груши, вишни, изюм, чернослив. Были сшибки, схватки, но ненадолго. Братский дележ вскоре водворял пальму мира. В один час, если не менее, расхищены были сокровища подпольной сладости, о чем на другой день доложено было Екатерине. Императрица улыбнулась и сказала:

— Ну, что ж! Мы праздновали вчера мир; надобно было попраздновать и кадетам. [...]

Очень немногие из кадет проходили основательно поприще классного учения. Иные как будто выходили с одним букварем. Вероятно, что мыслящая сила и никогда бы не пробудилась в них без тех мимоклассных пособий, изобретенных графом Ангальтом. Где только недоученным его питомцам предоставлялся случай к действию души, там с удивительной быстротой развивались понятия их. Встретясь с некоторыми из сотоварищей моих после заграничных их походов, начавщихся с 1799 года, я изумился основательному изъяснению их на языках иностранных и обильному богатству их познаний.

Были также и такие кадеты, которые, вышедши из корпуса с полным курсом классического учения и став наряду с обыкновенными офицерами, упадали под бременем учебным и, хватаясь в унынии духа за Бахусову чашу, исчезали прежде времени и для службы, и для света. Были и такие, которые, напитавшись свободой Рима и Афин, оставляли службу, сами не зная, для чего. Но если кому удавалось переломить себя и свыкнуться со шпагой, тот, исполнив обязанности мира существенного, переходил с новой бодростью духа в мир римский и греческий. В числе сих новых жильцов мира древности был Яков Петрович Кульнев. Услыша о его смерти, Сен-Женье пролил слезы и сказал: "В полках русских не стало героя человечества!" Итак, до последнего биения сердца своего Кульнев сохранил правила графа Ангальта, же-

[260] Версальский мирный договор, которым окончилась русско-шведская война 1788—1790 гг.

лавшего, чтобы все его питомцы были героями человечества и на поле битв, и на поприще гражданском.

Учение графа Ангальта можно назвать учением предварительным, которое, знакомя исподволь с различными предметами, не изнуряет способностей ума и сберегает полноту их к предлежащему учению. Деспотизм азиатский вреден и в делах человеческих, и в области учения.

Неуместное принуждение раздражает душу и нередко гасит и счастливейшие дарования. Нас в детстве с завязанными глазами вводят в область учения, оттого-то в ней детям и кажется все дико. Развяжите глаза ума, осветите пути, которыми ум должен идти, и питомец смело и радостно бросится в объятия наук. Так думал и действовал граф Федор Евтафьевич Ангальт. Воспитание, повторяю еще, называл он нежной матерью, которая, отдаляя тернии, ведет питомца своего по цветам.

Не теряя из вида и русского языка, гр. Ангальт пригласил и нашего актера Плавильщикова, который громким и ясным голосом читал нам оды и похвальные слова Ломоносова. При этих уроках граф всегда присутствовал. Кроме од Ломоносова Плавильщиков читал сам и рассуждение свое о тогдашней словесности, помещенное в "Зрителе" Крылова[261]. С жаром говорил он о Ломоносове; "Россиаду" называл венцом русской словесности, а "Душеньку" Богдановича неувядаемым цветком нашего Парнаса. Это было давно, в прошедшем столетии, а каждый век налагает свою печать и на дела людей, и на перья писателей, и не оглядываясь идет вперед, чтобы в свою очередь затеряться в будущем веке.

Желая приучить нас к основательному чтению, из первого, или высшего, класса граф выбрал в 1793 г. для слушания логики несколько учеников, в число которых, не знаю почему, попал и я. Профессор логики был у нас Христиан Иванович Безак, человек благодушный и ученый. Выводы логические объяснял он выкладками или формулами алгебраическими.

Престарелый наш профессор, шутя сам над способом своего преподавания, говорил: "Не бойтесь моих крючков, они не так страшны, как крючки подьяческие. Моими крючками можно ловить мышей". Ретивое мое воображение никак не поддавалось на эти крючки. Я слушал рассеянно, в тетрадь ничего не записывал, и, засунув книгу под стол, читал украдкой то Дидерота[262], то Буффлера[263], то Вольтера, то Ж.-Ж. Руссо. Профессор знал это и, не сердясь на меня, почти каждый класс вызывал на словесный бой. Не ведаю, как предлагал я доводы свои, a priori или a posteriori[264]; знаю только, что пылкая моя диалектика очень забавляла доброго профессора. Иногда спорили мы по получасу и более, и нередко открыто изъявлял я несогласие свое. Великодушный мой противник подлинно ли или в шутку уступал мне, приговаривая: "Вам надобно выдержать тридцать походов и тридцать сражений, а без этого у вас все будет в голове стихотворческий ветер". И почтенный профессор был прав. Ветреная моя голова чуть было не погубила меня еще в кадетском корпусе.

Офицером того отделения, в котором я был сержантом, был молодой человек, сын вышеупомянутого профессора логики. Он вместе со мной занимался описанием Петербурга, давно напечатанным и забытым. Мы были с ним приятели, но в неравенстве чинов и от малейшей искры может вспыхнуть пожар. И он вспыхнул от одного неосторожного слова. Летом обыкновенно стояли мы лагерем в саду, по три человека в палатке. Сержантскую кровать всегда ставили в середине. Пока разбивали лагерь, я забирал в библиотеке книги и с этим запасом беспечно бежал в сад, по привычке своей, подпрыгивая и напевая песню. Вдруг слышу голос одного из товарищей моих[265]: "Глинка, твою кровать поставили сбоку!" Вовсе не заботясь о почетности сержантской, я спросил у него: кто велел? Мой товарищ отвечал: "Безак". На это имя вырвалась у меня рифма, которой подчас величают и очень умных людей. Мой офицер-сотрудник был на беду в соседней палатке и в эту минуту забыл и нашу приязнь, и мою для него работу, выскочил и грозно вскричал: "Как ты смеешь меня бранить?" Я сказал очень хладнокровно: "Извините, я и не думал об этом, но мало ли что срывается с языка и что говорится заочно!" Слова мои разнес ветер, закипела сильная борьба, я выхватил у него шпагу, и что сделал я в запальчивости, право, и теперь не могу объяснить. На крик его сбежались офицеры и кадеты, запальчивость моя сделалась явной, и соперник мой поспешил с жалобой на меня к нашим начальникам. Сперва повели меня к нашему инспектору, майору Фромандье. Он приказывал мне просить прощения, я отвечал: "Умру, а не унижусь!" Отводят меня к полковнику Редингеру, кроткому и добрейшему человеку; и он убеждал меня, чтобы я просил прощения, но я отвечал по-прежнему. Около двух ча-

[261] Крылов И.А. (1769—1843) — поэт, драматург, журналист, баснописец. В 1792 г. издавал журнал "Зритель", в дальнейшем закрытый правительством.

[262] Дидро (Diderot) Дени (1713—1784) — французский философ, писатель, просветитель, глава энциклопедистов.

[263] Буффлер (Boufflers) Станислав (1738—1815) — французский поэт, работавший в легких жанрах.

[264] "Без основы на опыт" или "на основе опыта" (лат.).

[265] М.С. Щулепников.

сов продолжались начальницкие увещания, но тщетно. Изречен приговор. Нашему трагику, Владиславу Александровичу Озерову, служившему в корпусе поручиком, приказано было вести меня в тюрьму, с замечанием не допускать меня отдаляться от стен корпуса, опасаясь, чтобы я в тревоге духа не бросился в Неву. Я шел и ни в чем не противоречил Озерову. Тюрьма была на верху высокого каменного здания, называемого jeu de paume (т.е. место игры в мяч). Озеров простился со мной и ушел. С шумом захлопнулась за ним дверь тюремная, звонко грянули болты железные. Затих шум шагов сторожа, и все смолкло.

Подвиг Катона, поразившего себя кинжалом, когда Юлий Цезарь сковал его цепями, кружился у меня в голове, я готов был раздробить ее об стену, но и в корпусе и вне его я никогда не поникал под внезапными ударами судьбы, а быстро оправлялся и возвращался к привычной веселости моей. Не читал ли я в Ж.-Ж. Руссо, сказал я самому себе, что человек во всех случаях должен жить, как будто бы только что упал с облаков? Я здесь один, но мечты мои со мной. Я успокоился. У меня оставили чернильницу, перо и бумагу, предполагая, что я хотя письменно буду просить прощения. Вместо челобитной мне запало в голову послание к одному из моих товарищей. Вот начало:

Из горницы весьма чудесной,
О голых четырех стенах.
Невинный, где сидит и грешный,
Хочу писать к тебе в стихах;
О чем? Того еще не знаю,
А прежде музам поклонюсь, и проч.

Между тем опомнился мой соперник и в присутствии целого нашего возраста умолял графа Ангальта простить меня. Граф отвечал: "Теперь поздно! Говорящая стена, на которой я написал, что должно соблюдать законы и порядок, уличила бы меня, если б я потакал теперь упорному юноше, но и вы неправы. Сколько раз я говорил и для памяти поместил на стене: "Уважайте юношей; никто не знает, что из них выйдет". Вы признаетесь, что и вы разгорячились, это очень похвально; великодушие всегда готово извинять. Однажды шел я с прусским королем по берлинской площади; на столбе прибит был пасквиль на короля. Он приказал мне прочитать его и, выслушав спокойно, сказал: "Пусть прибьют эту бумагу пониже, чтобы всякий мог ее читать". Вслед почти за нами приехал в Сансуси один из жителей берлинских с доносом на пасквиль. В этот день я был дежурным и пошел доложить о нем королю. Он отвечал: "Скажите этому господину, что Фридрих забывает то в Sans-Souci, что молва разглашает о нем в городе. Пусть он едет к себе, а я в своем уголке займусь чем-нибудь полезным для блага

народного". "Будем подражать этому примеру, — прибавил граф, — в жизни много может случиться; но, любезные мои дети, кто забывает обиду и помнит добро, тот истинный герой!"

Через три дня со мной, неугомонным узником, начались переговоры и пересылки. Я упорствовал; мне угрожали, что отдадут в солдаты.

— А разве солдаты не люди, — возражал я, — да еще, может быть, и лучше нас!

Наконец, дней через десять посетил мою тюрьму Иван Алексеевич Цызырев. При входе его я лежал на голой скамье и читал Тита Ливия. От внезапного его посещения я вскочил и несколько смутился. Он, ласково подав мне руку, сказал, чтобы я сел, и сам сел подле меня. И.А. Цызырев был по корпусу старшим капитаном, а по армии полковником. Душа его отражалась в прекрасной наружности. В сердцах юношей есть живое чувство правоты: они по врожденному побуждению уважают высокую нравственность человека. Это чувство питали к нему кадеты. Его слова влетали в душу. Когда другие офицеры, унимая наше бушеванье, выбивались из сил, являлся Цызырев и говорил:

— Господа, как вам не стыдно!

Воцарялась тишина, и все приходило в порядок. Не принуждая меня просить прощения, И.А. Цызырев начал со мной разговор о необходимости повиновения.

— Если и палку поставят, — сказал он, — то, по обязанности службы, ей должно повиноваться.

— Позвольте мне этому не верить, — отвечал я, — палка будет молчать, и ссоры не будет, но вы знаете, впрочем, какого шуму наделала та шляпа, перед которой безумец Геслер велел кланяться?

Цызырев улыбнулся и продолжал:

— Но признайтесь, что вы виноваты пред Фромандье и пред почтенным директором Редингером в том, что отвергли дружеские их увещания.

— Признаюсь, — отвечал я, — в этом я чрезвычайно виноват. Я привык быть благодарным и за ласковое слово, и за ласковый взгляд, а при этом случае я до того онемел в исступлении, что не внимал и душевному убеждению.

— Припомните, — прибавил И.А. Цызырев, — припомните, что, когда второй раз батюшка ваш приезжал в корпус, граф Ангальт сказал ему: "Когда глава ваша покроется сединами, сын ваш будет вам утешением". Что скажет отец, что скажет добрая ваша мать, когда услышат о горестной вашей судьбе? Они не перенесут такого удара!

Слезы лились из глаз ручьями; я долго плакал и не мог промолвить ни слова; наконец сказал:

— Я готов написать к графу Ангальту письмо; но, говоря откровенно, я ни за что не изменю совести, а потому буду писать только в духе христианства.

Цызырев с радостью согласился на это, и я написал следующее письмо по-французски: "Блудный сын в порыве своеволия оставил родительский дом и на чужбине растратил все имущество свое. Но, веря нежности сердца отцовского, он возвратился к нему. Издали увидя преступника-сына, отец устремился к нему с распростертыми объятиями и прижал его к сердцу своему. Юный сын воскликнул: "Я согрешил пред небом и пред тобой. Я недостоин имени твоего сына". И вы, ваше сиятельство, и вы, нежный отец кадет, прострите ко мне объятия отца евангельского; а я — устремлюсь в них с умилением евангельского сына".

На другой день пришел за мной в тюрьму В.А. Озеров. В саду пред лагерем выстроен был кареем весь наш возраст, т.е. до ста двадцати кадет. Граф и все начальники в середине. Озеров ввел меня туда и громко с чувством прочитал мое письмо. Слезы брызнули у меня из глаз. Граф обнял меня и с прежней нежностью назвал своим сыном, своим другом.

Промчалась туча, и прошедшее кануло в бездну забвения. Прошло более пятидесяти лет, но этот случай, может быть, навсегда решивший мою судьбу, все еще живет в моем сердце.

Была у нас и собственная кадетская борьба мнений; и на нашем тесном небосклоне отражался дух XVIII столетия: были у нас и свои материалисты, и спиритуалисты. Я был в числе последних. Вождем первых был Г.А. Галахов. Страстно любил он Омира[266] и Тацита[267], но Гельвеций[268] был его законодателем. Сильно защищал он систему его вещественных ощущений, а я возражал, что побуждения нравственности и добродетели не могут быть окованы ощущениями вещественными. Сам Гельвеций говорил: "Я делами опровергнул могильную свою систему". Он был нежным другом и защитником человечества. Служа в молодости по соляному откупу и слыша ропот утесняемых покупателей, не он ли в порыве благородного негодования сказал:

"Убейте, убейте меня! Может быть, это уймет других от хищного разбоя!"

Жаркие наши споры иногда оканчивались ручной схваткой. Борьба везде борьба. Сопротивника моих юношеских мнений нет уже на свете. В чине майора отправился он в Корфу и своим каре отразил оттоманскую конницу. Он, верно, не думал тогда о Гельвеции. Забыли его теперь и во Франции. "Tous les systémes ont régné, et tous les systémes sont morts"[269], говорят французы.

[266] Гомер — легендарный древнегреческий поэт, автор "Илиады" и "Одиссеи".

[267] Тацит Публий Корнелий (ок. 56—ок. 117) — римский историк.

[268] Гельвеций Клод (1715—177) — французский философ-материалист.

В это самое время собиралось нас человек шесть для книжной спекуляции, или оборота. Мы затеяли скропать "Новый Жилблаз"; и, окончив две части, отправили мы их мимо нашего начальства к тогдашнему цензору-полицеймейстеру Жандру, а он препроводил книжную попытку нашу к директору нашему, Редингеру, добрейшему и честнейшему человеку. Нас пожурили, погоняли, а "Новый Жилблаз"[270] пошел в огонь. Не сооружайте костров инквизиционных на вздор: для него есть печки, очаги и камельки. [...]

В XVIII столетии уверяли, что воспитание не достигло своей цели оттого, что в училище надобно забывать занятое в свете, а в свете отбрасывать приобретенное в училище. Но учение графа Ангальта развивалось в понятиях его питомцев на всех путях жизни. [...] Но две памяти о графе Ангальте живут и теперь в душе моей: сердечная память о любви его к нам и умственная память, укрепленная его руководством и до сих пор еще помогающая мне в соображении моих мыслей. Он спас мою пылкую юность и в этом деле был единственным моим наставником. [...]

Неизвестность и ожидание всегда волнуют умы. Долго допытывались мы и наконец узнали, что к нам назначен начальником Михаил Илларионович Кутузов. Мы уже слышали о его чудесных ранах, о его подвигах под Измаилом, о его быстром движении за Дунаем на высотах Мачинских, которое решило победу и было первым шагом к заключению мира с Портой Оттоманской в исходе 1791 года. В половине 1794 года был он чрезвычайным послом в Константинополь, где ловкой политикой возбудил общее внимание послов европейских, а остроумием своим развеселял важный диван и султана. В блестящих лаврах вступил он к нам в корпус, и тут встретило его новое торжество, как будто нарочно приготовленное для него рукой графа Ангальта. Вошед в нашу залу, Кутузов остановился там, где была высокая статуя Марса, по одну сторону которой, как уже выше было сказано, начертана была выписка из тактики Фридриха II: "Будь в стане Фабием, а в поле Ганнибалом", а по другую сторону стоял бюст Юлия Кесаря. Если бы какая-нибудь волшебная сила вскрыла тогда звезду будущего, тот тут представилась бы живая летопись всех военных событий 1812 года. Но

[269] "Все системы господствовали, все системы мертвы" (фр.).

[270] "Жиль Блаз" — плутовской роман французского писателя Алена Рене Лесажа (1668—1747), чрезвычайно популярный в XVIII в.

тогда в нашей великой России никто об этом не думал; все в ней пировало и ликовало, только мы были в унынии. Кутузов молча стоял пред Марсом, и я чрез ряды моих товарищей подошел к нему и сказал: "Ваше высокопревосходительство! В лице графа Ангальта мы лишились нашего нежного отца, но мы надеемся, что и вы с отеческим чувством примете нас к своему сердцу. Душа и мысль графа Ангальта жила для нас, и благодарность запечатлела в душах наших любовь его к нам. На полях битв слава увенчала вас лаврами, а здесь любовь ваша к нам будет одушевлять нас такой же признательностью, какую питали мы и к прежнему нашему отцу". Когда я кончил, Кутузов, окинув нас грозным взглядом, возразил:

— Граф Ангальт обходился с вами, как с детьми, а я буду обходиться с вами, как с солдатами.

Мертвое молчание было единственным на это ответом. Он понял, что мы догадались, что слова его были посторонним внушением.

[...]

Опустела учебная область графа Ангальта; Кутузов переселился в корпус, но жил в нем невидимкой. Это было в исходе тринадцатого года бытности нашей в корпусе. Мы чувствовали, что нам настало время отворить из него ворота. Так и сбылось. [...]

[...] В корпус вступил он (Кутузов. — *О.К.*) во всем сиянии славы своей. Он жил в стенах корпуса, но не с нами. Незадолго до своей кончины граф Ангальт подарил мне полное издание Плутарха Амиотова перевода. Замечу здесь, что все то, что граф нам дарил, и все, что было в нашей увеселительной зале, он покупал на собственное иждивение и сверх того доставлял всевозможные льготы корпусным учителям. Граф Ангальт был мот и расточитель на добрые дела.

Беспечная веселость моя исчезла. Уныло бродя по саду, я то перечитывал изречения нашей стены, то читал "Юнговы ночи" Лаво, то проливал слезы вместе с Доддом, читая его размышления в темнице. [...]

После графа Ангальта забушевали у нас человек шесть силачей: они задирали и обижали слабых, в числе которых был и Толь[271]. Однажды забияки условились потешиться над ним. Для меня тогда была единственная отрада отстаивать тех, кому грозила беда. Я присоветовал Толю спрятаться, а сам не пошел ужинать, занялся переводом мессинских элегий из "Анахарзиса" Бартелеми. Не отыскав Толя, забияки налетели на меня и кричали: "Ты его запрятал, где он?" — "На что он вам, — возразил я, — и долго ли вы еще будете тешить свои кулаки?" Вместо ответа кулаки застучали на моей голове, кровь хлынула у меня из носа.

[271] Толь Карл Федорович, гр. (1777—1842) — генерал от инфантерии, в 1812 г. генерал-квартирмейстер русской армии.

Я хотел выскочить в окно и стеклами изранил себе правую руку. На ней и теперь еще остались эти следы. Мой товарищ Толь в чинах и почестях забыл об этом. Да я ему ни о чем не докучал, потому что никогда не искал милостивого внимания важных лиц. Дело кончилось тем, что я за разбитое стекло и за шум был посажен на сутки в карцер.

Скажу по совести, что из всех моих товарищей один только я был мечтателем и что часто воображение заполняло все способности моего ума. Увлекаясь порывом воображения, я сочинил стихи на тогдашние военные действия республиканского оружия, прибавя к тому и мысли мои о новой нашей борьбе в Польше. Трагик Озеров, все еще служивший в корпусе, показал мои стихи Державину, и лирик наш поручил ему сказать мне, чтобы я не давал волю воображению. Но в этом подействовал не он. Незадолго пред тем отец мой писал ко мне, что желает, чтобы я поступил в артиллерию, где служил наш родственник. Я отвечал, что всем наукам нельзя выучиться, что гнавшись за двумя зайцами — ни одного не поймаешь, и я к артиллерийской службе не способен.

В ответ отец мой писал, что до него дошел слух, будто я сочиняю стихи и советовал мне в изъявление благодарности за оказанные нам благодеяния написать послание к императрице, прибавляя, что об этом уже отнесся к Л.А. Нарышкину, и что он обещал довести мои стихи до сведения императрицы. Вот что было поводом к сочинению песни Великой Екатерине. Но об этом будет далее.

[...] Недавно еще слышал я, будто бы Кутузов обходился с нами сурово. Это неправда; правда только то, что между им и нами было какое-то безмолвное недоверие, но это недоверие рушилось и разрешилось случайно. Кутузов пожал тогда такие лавры, каких не пожинал ни на высотах Мачинских, ни под стенами Измаила, ни на поле Бородинском — он победил самого себя.

Два вечера прошли спокойно. На третий спрашивали у нас всемирную историю, которая как будто нарочно подоспела с великими своими превратностями к важнейшему обстоятельству нашей кадетской жизни. Мы начали шепотом разговаривать между собой, и голоса 120-ти кадет слились в один жужжащий гул. — "Тише, господа!" — сказал Кутузов. Мы смолкли и чрез несколько минут опять заговорили. "Тише, говорю вам!" — грозно повторил Михаил Илларионович. Мы замолчали, но ненадолго. "Тише!" — закричал он еще грознее и при этом третьем "тише" прибавил несколько слов, от которых мы замолчали. Ударило восемь часов; Кутузов вышел. Мы все пошли за ним. Каждый вечер Кутузов ездил к тогдашнему временщику[272]. Слуга сказал, куда ехать, а мы закричали:

[272] Зубов П.А. (1767—1822), с 1789 — фаворит Екатерины II, с 1796 — светлейший князь.

— Подлец, хвост Зубова!

В наше время о каждом экзамене начальник корпуса лично доносил императрице. На другой день Кутузов явился к ней.

— Каковы твои молодцы? — спросила Екатерина.

— Прекрасны, Ваше Величество, — отвечал он, — они слишком учены, им недостает только военной дисциплины. А потому, хотя они не дожили еще до срока двух лет, но позвольте их выпустить.

Екатерина согласилась и сказала:

— Постарайся отдать твоих молодцов на руки таких полковников, которые бы не застращали их службой. Юношей надобно беречь, они пригодятся.

Кутузов объявил нам решение Екатерины. При появлении его нынешний граф Толь и я, мы стояли возле него. Кутузов любил Толя за искусные чертежи и за охоту к военным наукам.

— Послушай, брат, — сказал он Толю, — чины не уйдут, науки не пропадут. Останься да поучись еще.

Толь остался, и Кутузов ознакомил его со своими военными правилами и познаниями.

Шесть человек выпущены были капитанами, а все прочие поручиками. Кутузов созвал к себе наших офицеров и сказал им: "Господа, разведайте, кто из кадет не в состоянии обмундироваться, да сделайте это под рукой. Наши юноши пресамолюбивые, они явно ничего от меня не возьмут". С мундиров недостаточных кадет мерки сняты были ночью: чрез три дня мундиры были готовы и отданы им, будто бы от имени их отцов и родных. Ударил час прощания. Мы составили круг. Кутузов вошел в него и сказал: "Господа, вы не полюбили меня за то, что я сказал вам, что буду обходиться с вами, как с солдатами. Но знаете ли вы, что такое солдат? Я получил и чины, и ленты, и раны; но лучшей наградой почитаю то, когда обо мне говорят: он настоящий русский солдат. Господа! Где бы вы ни были, вы всегда найдете во мне человека, искренно желающего вам счастья, и который совершенно награжден за любовь к вам вашей славой, вашей честью, вашей любовью к отечеству". За день до выхода из корпуса, когда надели мы мундиры, Кутузов поодиночке призывал нас к себе и предлагал нам тактические вопросы. Мне задал он вопрос о полевых укреплениях. Чуствуя, что по строгим правилам науки не могу отвечать, я спросил: как прикажете мне объясниться, тактически или исторически? Он взглянул на меня и сказал: "Ну, посмотрим, отвечай исторически". Я начал: "Полевые укрепления устраиваются для остановления первых напоров неприятеля. Известнейшие из таких укреплений устроены были Петром I на поле Полтавском, и граф Де Сакс в сочинении своем о военном искусстве

приписывает им победу русских над Карлом XII. В древние времена афинский полководец Ификрат при всяком случае укреплял свои войска и, когда его упрекали в излишней осторожности, он говорил: "В военное время неприятель везде. Он не там нападает, где его остерегаешься, но там, где его не ждут". Но никакие укрепления не могут устоять пред отважной решимостью войска. Граф Ангальт рассказывал нам о вашем движении на высотах Мачинских, споспешествовавшем к заключению мира с Портой Оттоманской 1791 года". Кутузов был доволен моим ответом. [...]

По выходе моем из корпуса я при первом шаге в большой свет увидел, что буду в нем пришельцем и гостем.

По приказанию милостивца нашего семейства Л.А. Нарышкина я напечатал в корпусной типографии упомянутую песнь Великой Екатерине, переплел в голубой атлас и представил ему первое мое печатное сочинение. В то же утро отправил он меня к князю П.А. Зубову с майором Петровым, служившим при дворцовой конюшне. В приемной князя было уже множество лиц и в мундирах, и во фраках. Нисколько не робея, но укрываясь от любопытных взоров, я стал в угол комнаты и закрыл шляпой мое сочинение, а мой услужливый путеводитель, как опытный знакомец с передними знатных, подбегал то к тому, то к другому с приветствиями и расспросами.

Я много уже читал о передних временщиках и думал: чего от них добиваются? Сегодня они все, а завтра вместе с их случайностью все исчезнет, и те самые раболепные поклонники, которые с такой жадностью ловили каждый его взгляд, первые забудут их. Кроме этого кружились в голове моей и Рим, и Спарта, и Афины, где не знали передних и где, по словам одного французского поэта, "не нужно было ждать приказа молвить слово".

Тут нечаянно оглянувшись, я увидел М.И. Кутузова, который стоял недалеко от дверей. В то время от князя вышел камердинер с подносом и с пустой шоколадной чашкой в руках. Кутузов поспешно подошел к нему и спросил по-французски: "Скоро ли выйдет князь?" — "Часа через два",— отвечал с важностью камердинер. А Кутузов, не отступавший от стен Очакова, ни от стен Измаила, смиренно стал на прежнее место. Досада закипела в моем юном сердце; я подошел к Петрову и сказал: "Я не стану более ждать!" Оторопев от этих слов, Петров спросил: "А что же я доложу Льву Александровичу?" — "Что вам угодно,— отвечал я,— Кутузов, герой Мачинский и Измаильский, здесь ждет и не дождется, а я что такое?" И я ушел. Часу в шестом вечера пришел я к Нарышкину. Он сидел на софе с каким-то незнакомым человеком: то был Державин. Увидя меня, Лев Александрович захохотал и сказал:

"Гаврило Романович! Посмотрите, вот этот Вольтеров Гурон, который убежал из приемной князя, он затеял там высчитывать послужной список Кутузова. Понатрется в свете — перестанет балагурить. Однако в песне его к Екатерине есть хорошие стихи"; и Лев Александрович прочитал наизусть следующее:

Ты отроком меня прияла,
Ты разум мой образовала,
Ты в сердце чувствия влила;
Благотворительной рукою
Ты правила моей душою,
Ты жизнь мне новую дала!

Державин похвалил эти стихи. Я был очень рад, и благодаря моей памяти с восторгом начал наизусть читать его Фелицу. Лев Александрович приговаривал: "Продолжай, продолжай, брат!" Лицо Державина дышало удовольствием, и слезы брызнули из глаз его при строфе:

Стремятся слез приятных реки
Из глубины души моей;
О, коль счастливы человеки
Там должны быть судьбой своей,
Где ангел кроткий, ангел мирный,
Сокрытый в светлости порфирной,
С небес ниспослан скипетр несть.

Державин поцеловал меня и сказал: "Питайте всегда эти чувства к государыне, это делает честь вам и вашему сердцу; но, — прибавил он, — передал ли вам В.А. Озеров мнение мое о ваших стихах?" Но, не дождавшись ответа, Лев Александрович спросил:

"А что он, видно, и там что-нибудь напроказил? Уж не ударился ли он в политику?" Державин отвечал, что стихи мои не предосудительны, но что я часто слишком неосторожно увлекаюсь порывом воображения. — "То-то, брат, — сказал Лев Александрович, — воображение бред; а до политики не касайся, это не твое дело. Наша политика в кабинете Екатерины. Она за нас думает и заботится. А наше дело пировать да веселиться!" Был я в нескольких домах так называемого большого света, но нигде не слыхал ни слова о делах европейских. Мысли и душа моя летели на родину.

[...]

В 1795 году, в половине января, по выходе из тогдашнего сухопутного кадетского корпуса, отправился я на родину, в Духовщинский уезд, со старшим братом моим, Василием, и с младшим, Николаем, корпусным моим сопитомцем. Из нас, трех братьев, один я остался на шатких колеях нашего мира, так часто и в таких различных объемах

кружащегося без мира. Мне было тогда девятнадцать лет. Зима роскошествовала во всем великолепии своем. В стенах нашего училища бегали мы по двору и в саду в легоньких курточках, без шляп и в башмаках, подчас с такими же подметками, какими отличались сапоги бедняка Наполеона Бонапарта до 1793 года, то есть до первого удачного его батарейного выстрела под Тулоном. На все время и все на время! Но бегая и по двору, и по саду, я видел снег, но не зиму. А за заставой, под ясным, голубым небосклоном, мелькнули в глазах моих и рощи, и поля, и луга, и долины, блиставшие и изумрудами, и яхонтами, и топазами, словом, — очаровательными отблесками всех тех цветов, которые Ньютон с таким усилием заманивал в окна своего кабинета, но которые слово Божие сотворило в одно быстрое мгновение.

Удивительная была картина зимы! То был блистательный праздник, которым она дарит глаза безденежно. [...]

Как бы то ни было теперь рассуждая, я в январе 1795 года с восторгом наслаждался полным разгулом зимы, которая блеском цветов своих не лелеяла глаз моих тринадцать лет. Мне и брату моему Николаю, нам душно было в кибитке. Новое зрелище земли и неба непрестанно заманивало нас к себе. Особенно мой сопитомец, как будто предчувствуя, что весна дней его померкнет с будущей весной, почти не заглядывал в повозку. На свободе, под открытым небом хотел он надышаться жизнью. А у него в этой жизни была и душа, и жаркое чувство, и ум, и мысль зоркая; все это было и все промелькнуло мгновенным лучом в апреле того же 1795 года. Ему удалось только взглянуть на мать, на отца, услышать слова их любви, услышать первую песнь весеннего соловья, помолиться в родном храме и лечь у стен его, подле праха наших праотцев.

Быстро на светлый небосклон налетает грозная туча! То же бывает и на небосклоне нашей жизни. Едва блеснет улыбка на устах, а в глазах сверкают слезы. Но тогда сквозь радужное сияние восхитительной надежды не проглядывала к нам ни одна черта туманная. Сердца наши ликовали и летели на родину. В таком расположении духа остановились на покормку наших лошадей в селе Чудове. Старший наш брат был в бекеше, а мы в военных зеленых курточках. Неподалеку от нас сидели на полатях два отставных солдата, обросшие уже бородами. В это время и в северной столице, и в окрестностях ее витала какая-то молва о новой войне. Поглядывая на нас, старые служивые (тогда слово "ветеран" не было еще в ходу) между собой говорили: "Вот и эту молодежь туда же отправят".

Тут вдруг один спросил товарища своего: "Да когда же кончится этот мятеж?" Другой, не запинаясь, наотрез отвечал: "Да как людей не

будет!" И теперь еще не надивлюсь этому быстрому, этому громоносному ответу. Сберите всех мыслителей нашего мира земного — они будут рассуждать о превратностях политических, о кипении страстей человеческих, о порывах духа завоевательного и так далее. Но человек безграмотный, простым смыслом, без всяких околичностей к укрощению мятежа и волнению страстей превращает нашу земную вселенную в пустыню безлюдную. Поэзия ужасная! [...]

Продолжаю свой рассказ.

Утреннее солнце блеснуло над Новгородом, когда мы к нему подъехали. Волшебное имя его было мне известно не из преданий исторических, но из трагедии "Вадим" Якова Борисовича Княжнина. Мысль моя залетела в даль веков, и я воскликнул с Вадимом: "О! Новгород, что ты был и что ты стал теперь!"

"Теперь", то есть, когда мнимый или подлинный Вадим вступил в борьбу с Рюриком[273]. А чем он был до Рюрика? Ничем. Ибо он еще и не существовал. Повторяю, мне было тогда девятнадцать лет, а я о летописце Несторе и слухом не слыхал. Была у нас какая-то краткая русская история, сочиненная Вегеленом с вопросами и ответами на русском и французском языках. Эти сухие, краткие, так сказать, выжимки из историй истомляют только память, а душе ничего не передают. История отечественная — новый мир для каждого юного сына отечества. Из нее переходит в жизнь его бытие жизни вековой. Мне неоткуда было усвоить себе эту жизнь; зато какой был разгул юному моему воображению!

Но простите мне, и дом Ярослава, и дом Марфы Посадницы! Мне тогда в ум не приходило спросить: где вы? Русская старина была от меня тогда, говоря русским словом, "за тридевять земель". Да и теперь мы все еще выкликиваем ее из дали туманной. Когда же блеснет солнце над полным объемом отечественной истории, откуда ждем самобытной ее жизни!

Мы приехали в Новгород в воскресенье и, помолясь в первом храме Божьем, пустились через Ильмень за Ильмень. [...]

Между тем час от часу более приближались мы к родине нашей. 8-го февраля 1795 года мы увидели с окрестной высоты нашу родину. Светилось прекраснейшее зимнее утро. После тринадцатилетней разлуки с

[273] В основу трагедии Княжнина "Вадим Новгородский" было положено сообщение летописи (под 863 г.), что новгородцы были недовольны князем Рюриком, и Рюрик убил Вадима Храброго и других новгородцев, чтобы предотвратить мятеж. Вадим был представлен в трагедии как республиканец, боровшийся против деспотизма. Екатерина II распорядилась публично сжечь все экземпляры изданной в 1793 г. пьесы.

родным пепелищем завидеть над кровлей отцовской струящийся дым в отблеске багряном — это можно чувствовать, а не описывать. Вот мы уже спускаемся с горы, и на звон колокольчика сбегаются и из деревни, и люди дворовые. Гремит общий голос: "Едут! Едут!" В ожидании нас, тринадцатилетних птенцов, слетевших с гнезда родного, съехались родные и родственницы. У крыльца быстрее молнии вылетел я из кибитки. В волнении душевном бегу в комнату. Никто не указал мне на родительницу мою. А каким образом очутился я у ног ее, и теперь не мог этого объяснить. Думаю только, что сердце мое угадало бы и среди тысячи женщин, хотя глаза мои простились с нею на шестом году жизни моей. С того восхитительного мгновения прошли десятки лет, но и теперь еще вполне живет оно в душе моей. Ни корпусная жизнь, ни смерть моих родителей не истребили их из моей памяти. Среди различных превратностей судьбы я счастлив в тот день, когда они мелькнут мне в сновидении. После первых восторгов свидания, когда я вышел в другую комнату, меня окружили прежние мои дворовые-сверстники, с которыми в ребячестве моем делил я игры и все, что у меня было. Тут же бросилась обнимать меня моя кормилица и, указывая на своего сына, сказала: "Вот, батюшка, твой братец". И тогда же я породнился с ним этим чувством. И мне, и ему нужна была взаимная любовь, но я не мог так безусловно сблизиться с моим родным братом.

Я дышал новою жизнию, жизнию родственною. Небосклон родной был пределом и мыслей, и желаний моих. Видеть отца, мать, сестру, любоваться семилетним братом Федором, который, вытвердя многие места из "Владимира", трагедии Ф.П. Ключарева, читал их с жаром и с размашкой детских рук: вот что было тогда радостью обновленных моих дней.

"Где лучше, как в семье своей!", — сказал И. И. Дмитриев. Я вполне это тогда чувствовал. Не заботился ни о службе, ни о будущем жребии моей жизни, ни о почестях, которые служа можно заслужить. Не так думали добрые родители мои: они предполагали, что сын их, девятнадцатилетний поручик, выйдет, как говорилось, в люди и будет чем-нибудь в свете. Так они думали, а эта мысль даже и мимоходом не западала в мой юношеский, в мой романический ум. Душа моя, так сказать, поглощена была одним родственным чувством: ничто другое не примешивалось к нему. Иногда мной забавлялись, как ребенком; я походил на выходца из какого-то другого света, откуда появился, не ведая и не зная, что делают и как живут в подлинном свете.

Сердце, полное жизни и любви, дорожит каждою лаской, каждым словом радушным. Однажды шел я по деревне. Кормилица моя бросилась ко мне из избы, запросила к себе и усердно потчевала блинами,

приправляя потчеванье веселостию и приветною речью. Убедила она меня завернуть к ней и на другой, и на третий день. Родительница моя узнала об этом и, смеясь, сказала:

"Ведь ты этим отобьешь от дела и работы". Рубль серебряный был наградою кормилице за блины.

В первый раз познакомился с большим светом в Смоленске и там же в первый раз увидел у коменданта бал. Зрелищем волшебным показался он мне, и я написал следующие стихи:

Великолепием прославлен град Петров,
Москва веселия жилищем учинилась,
А обладающа сердцами всех любовь
С прелестной красотой — в Смоленске поселилась.

Этот привет в один вечер ознакомил меня со всеми. В стихах моих не было лжи! Смоленск, действительно, величался тогда красотой жительниц своих. [...]

Быстро прошло двадцать дней со времени приезда нашего на родину и на второй неделе Великого поста попечительный мой отец со мною и братом, моим корпусным сопитомцем, решился ехать в Москву, чтобы выпросить нас в отпуск! [...]

В первых числах марта 1795 года в первый раз въехал я в Москву, но в какую? Не ехал Христофор Колумб по наклонению магнитной стрелки: сперва мысленно отыскал Новый Свет, потом открыл его. Ни по какому наклонению мыслей моих не мог я тогда отыскать Москвы в Москве. Прочитал я в корпусе в "Наталье боярской дочери" о граде престольном. Но это чтение быстро промелькнуло в памяти моей, загроможденной памятниками Рима и Афин. Счастливая звезда, которая сопровождала меня от Петербурга до родины, встретила меня и при первом шаге моем в Москве. Если бы я в отроческих летах наслышался о Кремле, о Красной площади, если бы слышал, что в Москве почти каждая улица есть страница историческая, то, верно, порывался бы взглянуть на нее с Поклонной еще горы, откуда представляется она в обширном объеме своем. Но я преспокойно сидел в углу кибитки и думал о родине. Ни большой колокол, ни исполинская пушка, ни колокольня Ивана Великого, ничто не возбуждало и не занимало моего любопытства. Несмотря на пустынное отношение памяти и мыслей моих к старинной и заветной матушке-Москве, сердце мое породнилось с ее гостеприимством. Приближаясь к церкви Смоленской Божьей Матери, мы вышли из кибитки; отец наш остановился у наружной иконы Николая Чудотворца и осенился крестом; мы также перекрестились и вслед за ним пошли на Смоленский рынок осведомиться, где можно остановиться. Тут к нам подошел незнакомец в большой медвежьей шубе и сказал, обращаясь к отцу нашему:

— Вы, конечно, приезжие, вам нужна квартира?

— Точно так,— отвечал мой отец.

— Милости просим ко мне,— продолжал незнакомец,— у меня как будто бы нарочно для вашего приезда теперь опростались комнаты.

И радушный незнакомец взял отца под руку и повел к себе. Имя его Д.П. Беклемишев. [...]

Как сон, как сладкая мечта,
Исчезла и моя уж младость.

Но она некогда была. Итак, продолжаю об ней рассказ. К счастью, безостановочно дали нам отпуск, и мы выехали из Москвы. Но несчастный ушиб, принудивший отца открыть кровь, задержал нас несколько под Вязьмой у одного из родных наших, от которого мы выехали на Страстной неделе. Дорога была несносная; по утру, в самое Светлое Воскресение мы не приехали, а по непроходимой почти ростепели шагом черепашьим притащились в деревню нашу Пологи, бывшую верстах в двадцати от Суток. Тринадцать лет не встречали мы этого дня с матерью, а потому и просили отца нашего, чтобы поспешить в родные Сутоки. Он не мог удовлетворить нашей просьбы и по слабости здоровья, и по причине ужасной дороги. Но мы говорили, что пойдем пешком, что пролетим двадцать верст, чтобы только похристосоваться с матушкой.

Видя неотступную нашу просьбу, родитель мой сказал мне:

— Сергей! Я заказал в Москве чугунную доску для памятника, который хочу поставить на том месте, где императрица удостоила нас посещением своим, и где она соблаговолила собственною рукою записать в корпус тебя и брата твоего.

Быстро схватил я перо и написал следующее:

Дражайший памятник благополучных дней,
Когда монархиня, достойна алтарей,
Родителей моих жилище посетила
И благости на них несметные излила!
Ты будешь возвещать грядущим временам,
Сколь снисходительна была царица к нам.

Мечта! Мечта! И этот памятник при пожарных заревах 1812 года [превратился] в прах земной. Но и тридцать четыре года не изгладили из души моей того восторга, когда мы с братом не пошли, а полетели на крыльях любви торопливой. На топких лугах мы увязали по колени; порыв сердечный все преодолевал. В полверсте от дома нашего кровь

брызнула у меня из горла. Я остановился, обмылся из ручья, и мы, так сказать, перелетным взмахом влетели в комнаты и воскликнули:

— Христос воскрес, матушка!

Не требуйте от пера того, чего и сердце не может высказать!

Напрасно многие уверяют, что порывы душевные — бред и мечта. В глазах моих в зале корпусной умер один отец, обнимая сына своего после десятилетней разлуки.

Не знаю, как я не умер от радости, празднуя великий день на родине. Я тогда так был счастлив!..

На возвратном нашем пути на родину у брата Николая оказалось какое-то неодолимое влечение к воде. На Днепре, переходя по льду, он едва не утонул. В тот год весна была ранняя, и брат мой, отправляясь в гости к кому-нибудь из родных, всегда спрашивал: есть ли там речка? Наступил весенний праздник Георгия, храмовой праздник в нашем селе. Погода была ясная, хотя веял холодный ветерок. Мать наша, по слабости здоровья, легла после обеда отдохнуть. Отец мой ходил по двору и курил трубку. А я, гуляя под горой, на берегу ручья, мечтал со Стерном[274]. Вдруг среди общего безмолвия раздался страшный крик: "Утонул, утонул! Николай Николаевич утонул!" Сестра моя гуляла в саду: ее несли в обмороке. Родитель мой молнией полетел к озеру, в отчаянии душевном бросился в него и был уже в нем по грудь. Насилу могли его удержать. "Где он? Где он?" — вопиял горестный наш отец. Служитель мой, Иван Яковлев, которому впоследствии дал я свободу и определил к московскому театру, объяснил мне, что погибший брат мой зазвал его купаться и, едва спустился с берега, пошел ко дну, и что он несколько раз нырял за ним, но тщетно. Раскинули невод, принесли багры, достали тело. Между тем от шума и смятения мать наша выбежала на крыльцо, и что же увидела она? Мертвое тело юного сына ее, несомое на руках, того сына, который после тринадцати лет разлуки для того возвратился на родину, чтобы взглянуть на мать, на отца и умереть! Приехал врач, но было уже поздно. Не было и искры жизни.

Я окаменел от глубокой скорби, слезы замерли у меня в груди. Врач отворил мне кровь, которая едва струилась.

Разнеслась плачевная молва по соседству, съехались родные. Положено было предать тело земле на другой день. Мать наша лежала полумертвой; по временам туманно поглядывала и с тяжелым стоном вопияла: "Где он! Где он! Жив ли он?" И опять смыкала очи. Скрытно от нее, рано по утру повезли тленные останки в церковь. Я остался при матери, остались и некоторые родные. Несколько раз, приходя в себя,

[274] См. сн. 141 на с. 174.

порывалась она в столовую, предполагая, что там тело покойника. Ее удерживали и говорили, что она еще успеет проститься. Ударил час по полудни. Лицо ее покрылось ярким румянцем. "Вы обманываете меня! — сказала она.— Вы обманываете меня! Николая погребают!" Она повергласъ стремительно на колени, положила три земных поклона и прочитала "Отче наш"! Я слышал голос сердца, голос души! Я слышал моление матери. Я упал на колени, молился, рыдал, и мне казалось, что камень оторвался от стесненной груди моей. Кто сказал матери, что в тот самый миг сына ее опускали в могилу? Кто сказал ей о том? Сердце матери! Милый брат и сопитомец! Не стану оплакивать ранней твоей кончины; ты много не испытал, не боролся ни с собственным своим сердцем, ни с превратностями судьбы; не испытал ты и горестного гонения страстей человеческих. Брат мой был моложе меня годом и питал в душе чувствительность добродетели. Никогда не огорчал он меня, но я в стенах корпуса огорчал его иногда упреками за пренебрежение французского языка. Читая одни русские книги, он ознакомился с душой родного слова. Я мечтал, а он рассуждал. Постоянное чтение истории сблизило с ним предварительный опыт. Я смотрел на все сквозь лучи радужные; взгляд его на общество был верный, но не порицательный. [...]

Публ. по: *Глинка С.Н.* Записки // Золотой век Екатерины Великой: Воспоминания / Сост. В.М. Бокова, Н.М. Цимбаев. М., 1991.

РИБОПЬЕР Александр Иванович, гр. (1781—1865)

Отец А.И. Рибопьера — швейцарец, приехал в Россию по рекомендации Вольтера, служил адъютантом кн. Г.А. Потемкина. Погиб при взятии Измаила. А.И. Рибопьер был пожалован в офицеры в четыре года. В 17 лет стал флигель-адъютантом Павла I. В 1798 г. пожалован в действительные камергеры, но вскоре за отказ жениться по воле императора был им отправлен в Вену в качестве кавалера посольства. По возвращении был заключен в крепость за дуэль, разжалован, семья подверглась репрессиям. Александр I реабилитировал Рибопьера, но тот предпочел вернуться в венское посольство и заниматься дипломатической деятельностью, чем служить при дворе. В 1806—1807 гг. находился при главнокомандующем русской армией в звании дипломатического комиссара. Был женат на внучке Потемкина. В 1810 г. — министр финансов, в 1817 г. — управляющий государственным коммерческим банком. В 1818 г. — тайный советник. Дважды (в 1824 и 1826 г.) был чрезвычайным посланником и полномочным министром в Константинополе, участвовал в заключении мирных договоров с Турцией. В 1830 г. — действительный тайный советник, отозван из Константи-

нополя и назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром в Берлин, где находился до 1839 г. С 1841 г. — обершенк, а с 1844 г. — обер-камергер. С этого времени Рибопьер становится одним из самых приближенных персон к императорской семье. В 1856 г. возведен в графское достоинство.

Из множества записок, сделанных А.И. Рибопьером, сохранилось только две тетради. Они подготовлены к печати А.А. Васильчиковым, который перевел их с французского языка и придал им "исторический порядок", а также дополнил собственными записями устных рассказов гр. А.И. Рибопьера.

ЗАПИСКИ

[...] Государыня[275] много про меня слышала и пожелала меня видеть. Меня к ней привели обманом. Мне было всего четыре года, и я страшно ее боялся. Мамонов[276], постоянно меня ласкавший, не раз предлагал свести меня к Государыне. Я этого страх боялся. Не знаю почему, мне представлялось, что как только меня приведут к Государыне, она сейчас же велит мне отрубить голову. Мамонов решился употребить хитрость; он подозвал Зотова[277] и сказал ему: "Сведи его туда и скажи: вот вам игрушка от меня". Я сейчас же догадался, в чем дело, и когда Зотов понес меня по витой внутренней лестнице, соединявшей комнаты Мамонова с покоями Императрицы, то я стал делать ему страшные гримасы в надежде его напугать и вырваться из рук его. Меня внесли в уборную государыни; она сидела в большом белом пеньюаре, перед зеркалом. Увидав меня, она подозвала меня, но я ни за что не захотел подойти. Государыня встала и засыпала меня ласками. Она вскоре так ко мне привыкла, что беспрестанно за мною посылала. Я был у нее совершенно как дома, потому что полюбил ее всею душою. Она тоже ко мне привязалась, игрывала со мною, вырезывала для меня из бумаги разные фигуры. Так, помню, что раз она мне вырезала сани с лошадьми и кучером; под рукою у нее не было веревочки для вожжей, и она оторвала тесемку от своего воротника. Я долго хранил вырезку эту как святыню. Государыня даривала мне богатые игрушки, между прочим помню охоту за оленями. Это была механическая игрушка; когда ее заводили, то олень бегал, собаки лаяли и гнались за ним, егеря скакали на лошадях, а один трубил в рог. Помню также великолепную качающуюся большую лошадь; седло и сбруя были малиновые, бар-

[275] Императрица Екатерина II.

[276] Дмитриев-Мамонов А.М. (1758—1803) — граф, фаворит Екатерины II, друг отца А.И. Рибопьера.

[277] Зотов З.К. — грек, камердинер и доверенное лицо Екатерины II.

хатные, шитые золотом. Государыня подолгу со мною разговаривала; никто лучше ее не умел заняться ребенком. Приходил ли кто с докладом, она меня отправляла играть к великим княжнам, а потом опять за мною посылала. Мне пошел пятый год, когда она меня пожаловала офицером в конную гвардию, что мне по армии давало чин ротмистра. Эту милость осуждали, хотя во все славное ее царствование только десять мальчиков ею воспользовались. [...] Государыня не только меня любила и забавлялась моими наивными ответами, но даже следила с материнским попечением за моим воспитанием. Мне минуло 9 лет; стали думать о гувернере. Выбор матушки остановился на некоем Лёбо, старом французе, которого ей очень рекомендовали. Императрица об этом узнала и через дядю Бибикова велела сказать матушке, что она не одобряет выбора француза. Это было в полный разгар революции. Матушка поспешила отвечать, что Лёбо уже давно живет в России, что он только что окончил с успехом чье-то воспитание и что он вовсе не разделяет убеждений революционеров. "Все это прекрасно, — отвечала Государыня, — но я не хочу, чтобы Саша (так она меня всегда называла) был воспитан французом. Пускай Аграфена Александровна обратится к другу покойного ее мужа Лагарпу[278]: он ей выпишет хорошего швейцарца, которому она может вполне безопасно поручить сына своего". Лагарпа из Швейцарии, по желанию Екатерины, выписал отец мой, и он навсегда остался нам предан.

Как-то осенью, возвращаясь из деревни в карете, я растравил себе висок. Государыня была очень гадлива, и матушка не решалась посылать меня во дворец с болячкой на лбу. Императрица настоятельно того потребовала, и меня отправили, перевязав голову розовой лентой. Увидав перевязку и узнав в чем дело, государыня посоветовала мне потереть лоб французской водкой (eau de vie de France). В то время одеколон не был еще изобретен; вместо его употребляли французскую водку и eau de la reine de Hongrie (воду Венгерской королевы). Приехав домой, я передал матушке совет Государыни; мне потерли лоб, который до того этим растравили, что я долгое время был болен.

Однажды, перед отъездом в деревню, я отправлен был проститься с Государыней; она мне приказала писать ей. Мне было тогда лет 10 или 11. Легко вообразить, в каком я был затруднении, когда пришлось взяться за перо. Матушка однако настаивала на том, чтобы я писал, отказываясь при этом помогать мне. Я много намарал бумаги прежде чем удалось начертить несколько плохих фраз; к счастью, мне пришла в голо-

[278] Лагарп Фредерик Сезар (1754—1838) — швейцарец, был приглашен в Россию в качестве воспитателя внука Екатерины II — будущего императора Александра I.

ву мысль, которая спасла меня: я написал, что я желаю быть достоин милостей ко мне Государыни и что мне бы очень хотелось служить ей, но что матушка находит, что я еще слишком молод. Письмо мое имело большой успех. Государыня соблаговолила собственноручно мне отвечать, но приказала Попову списать ответ этот.

Государыня, ничего не делавшая необдуманно, рассудила, что собственноручное письмо будет слишком большой честью для мальчишки. Много лет после В.С. Попов подарил мне черновую этого письма; она писана рукой Императрицы и со многими помарками и поправками: до того заботлива была Екатерина касательно всего, что от нее исходило. Отвечая на выражение моего сожаления касательно того, что не могу еще служить, государыня привела стихи Вольтера: "Dans les ames bien nées la valeur n'attend pas le nombre des années!"[279] Я нежно привязался к Государыне. Чтобы дать понятие о том почтении, которое она всем внушала и которое сумела она внушить мне, 8- или 9-летнему мальчишке, приведу следующий случай. "Есть ли у тебя мой портрет?" — спросила она однажды у меня. "Нет, Государыня", — отвечал я. "А ты еще уверяешь, что меня любишь", — заметила Императрица. "Маменька мне не дала, — продолжал я, и потом, подумав немного: В большой гостиной у нас есть ваш портрет". — "Портрет этот принадлежит твоей матери, я его знаю, я сама заказывала его для герцога Виртембергского; но у тебя портрета нет". Государыня позвонила; вошел Зотов. "Пойди в Эрмитаж и принеси один из моих портретов: я хочу подарить его Саше". Зотов вернулся и доложил, что он нашел в Эрмитаже одни только огромные масляные портреты во весь рост, которые очень трудно передвигать. "Ну так пойди к Марье Савишне, попроси ее, чтобы она мне один из портретов моих уступила". Зотов вскоре явился с портретом, писанным во время Крымского путешествия, под которым Сегюр[280] подписал прелестные стихи. Стихи эти для всякого другого были бы лестью. Под портретом же Екатерины они были сущей правдой: — Reconnais vers le Nord и проч.[281]. Я с восторгом принял подарок и перед отъездом осыпал руки Государыни поцелуями.

[279] "Для душ благородных возраст не имеет значения" (фр.).

[280] Де Сегюр Луи Филипп (1784—1789) — граф, дипломат и литератор, французский посол в России.

[281] Этот портрет писан был в Киеве в 1787 г. Шебановым, крепостным живописцем князя Потемкина. Стихи Сегюра были переведены Павлом Ивановичем Сумароковым.

Чудесну силу здесь магнита,
Влекущу к северной стране
Героя, мужа именита,
Познай в премудрой сей жене.

На этот раз Государыня меня у себя задержала гораздо долее обыкновенного. Садясь в карету, я поставил портрет на заднее место, а сам сел на передке: до того проникнут я был почтением к изображению возлюбленной Монархини. Матушка очень беспокоилась долгим моим отсутствием и, поджидая меня, ходила по балкону. Вот она видит, подъезжает карета, но напрасно ищет меня глазами на заднем месте. Она заботливо выбегает на лестницу, разузнать у лакея, что со мной стало. "Да я здесь , — отвечал я на расспросы матушки. — Зачем вышли вы меня встречать?" — "А ты зачем не сидел на своем месте?" — "Потому что я ехал не один", — отвечал я, указывая на портрет Государыни, который нес за мною лакей. Ответ этот, довольно удачный для ребенка, понравился матушке; она рассказала его друзьям нашим, те передали его Государыне, которая была им очень довольна и сама мне о том говорила.

Быть приглашенным в эрмитаж считалось в те времена великой честью. Это было преимущество, которым пользовались самые приближенные из придворных; но Государыня допускала иногда на эрмитажные собрания, в виде редкого исключения, и посторонних. [...] Ужинали всегда по картам с номерами, которые раздавал гофмаршал или камер-фуриер. С одного блюда брали номера дамы, а с другого кавалеры. Когда все номера были разобраны, их громко выкликали; равные номера выходили и подавали друг другу руки. Однажды я вынул тот же номер, как и великая княжна Мария Павловна и повел ее ужинать. За великой княжной присматривала Моно (m-elle Monaud), но за мною никто не наблюдал, и я вдоволь наелся пирогов и конфект. Когда я возвращался на бал, мне вдруг стало тошно. Я присел в уголке около стола. Ко мне подбежали великие князья и спросили, что со мною. "Мне тошно", — отвечал я. "Под стол его, под стол", — закричал Константин Павлович, хватая меня за плечи; Александр же Павлович с трудом вырвал меня из рук своего брата и велел подать мне воды. Это характеризует обоих братьев. На малых эрмитажах бывали только самые приближенные. Я помню, что раз нас было всего 12 или 13. По неисчерпаемой ко мне милости, Государыня однажды спросила, какую

Дает уставы, чистит нравы,
Искусна царствовать, писать.
Полна вселенна ея славы,
Велела зависти молчать.
Когда б судьба определила
Ей быть без скипетра в руках,
Умом бы, кротостью пленила,
Свой трон воздвигла бы в сердцах.

пьесу я хочу, чтобы сыграли вечером. Мне было тогда 7 или 8 лет. Я не имел, разумеется, ни малейшего понятия о русском репертуаре, но слыхал о кое-каких комедиях и совершенно случайно сказал: "Мельника". Случай помог мне: это была опера, сочиненная самою Императрицею. Сам того не предполагая, я выказался ловким придворным. [...]

Публ. по: Записки графа А.И. Рибопьера // Русский архив. 1877. Кн. 2. Вып. 4 (Публ. А.А. Васильчикова).

Послесловие

Итак, дети прошлых веков сказали о себе свое слово. Они посчитали, что в личной истории детства много поучительного, опасного и удивительного, много просто забавного, и поэтому она достойна быть записанной для себя и для потомков.

Мы же, их далекие потомки, дети XX века, пытаемся их услышать и понять. Многое из того, о чем рассказали о себе наши автобиографы, стало не свойственно детству последующих времен, но еще больше в нем знакомых и понятных нам проблем, хотя и решаются они зачастую по-другому. Так и наше детство скоро уйдет в далекое прошлое и станет одновременно и чуждым, и интересным другим поколениям. Подумайте, не взяться ли и вам, читатель, за перо и не поразмышлять ли о собственном детстве?

Вопросы и задания

Методические указания. Вопросы и задания требуют самостоятельной работы с текстами. Поэтому желательно с ними ознакомиться еще до прочтения текстов и в процессе чтения делать пометки, относящиеся к тому или иному вопросу. Ответ на каждый вопрос должен быть выполнен в письменной форме в виде небольшого сочинения. Для того чтобы успешно выполнить работу, рекомендуем обращаться к предложенной литературе.

1. Сформулируйте, что вы видите общего и различного в воспоминаниях о детстве XVIII в. по сравнению с воспоминаниями XIX—XX вв. (Используйте книгу "Природа ребенка в зеркале автобиографии: Учебное пособие по педагогической антропологии" / Под ред. Б.М. Бим-Бада, О.Е. Кошелевой. М., 1998).
2. Какие эпизоды в воспоминаниях XVIII в., на ваш взгляд, звучат современно, какие факты представляются невозможными в наше время?
3. Проведите сравнение текстов Б.И. Куракина и И.М. Долгорукого; А.Е. Лабзиной и Н.Б. Долгорукой; Г.С. Винского и М.В. Данилова. Что вы нашли в них общего (по стилю, содержанию, авторской позиции и пр.)?
4. Проследите отличия воспоминаний, написанных мужчинами и женщинами.
5. Сравните образы отцов и матерей, присутствующие в текстах.
6. Найдите фрагменты текстов, посвященных отношениям между детьми одной семьи (братьями и сестрами). Проанализируйте их.
7. Какие возрастные этапы проходил ребенок в XVIII в. и чем они отличались друг от друга?
8. Опишите на основе текстов жизнь "младенческую" (до 7 лет).
9. Дайте примеры выхода из детского возраста и вступления во взрослость.
10. Какие события из детской жизни мемуаристы выделяют особенно часто? Почему?
11. Какие качества, свойственные детям, выделяются различными авторами?
12. Кто из авторов и как описывает себя? Проанализируйте эти тексты.
13. Выберите тексты, наиболее полно описывающие домашнее и школьное обучение в XVIII в. Обоснуйте, используя примеры из этих текстов, какие положительные и отрицательные стороны имело каждое из них.
14. Какие методы воспитания применялись к детям в XVIII в.? Что в них общего и отличного от современных?
15. Выделите в текстах размышления о правильном и неверном воспитании. Проанализируйте их.
16. Сравните образы хороших и плохих учителей, представленные в тексте.
17. Составьте перечень изучаемых детьми предметов, упомянутых в воспоминаниях.

Литература

Антология педагогической мысли России XVIII в. М., 1985.

Елизаветина Г.Г. Становление жанров автобиографии и мемуаров // Русский и западноевропейский классицизм: Проза. М.,1982.

Кантемир А.Д. Сатира VII. О воспитании. К князю Никите Юрьевичу Трубецкому // Русская литература XVIII века (1700—1775): Хрестоматия / Сост. В.А. Западов. М., 1979.

Квитко-Основьяненко Г.Ф. Пан Халявский. М., 1978.

Ключевский В.О. Два воспитания // *Его же.* Сочинения: В 9 т. М., 1990. Т. 9.

Ключевский В.О. Недоросль Фонвизина (опыт исторического объяснения учебной пьесы) // Там же.

Ключевский В.О. Характеристика царя Ивана Грозного // *Его же.* Исторические портреты. М., 1990.

Коменский Я.А. Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. М., 1989 (Сер. Педагогическое наследие).

Кошелева О.Е. У истоков женского образования в России // Педагогика. 1993. № 2.

Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII века. М., 1972.

Муравьева О.С. Как воспитывали русского дворянина. М., 1998.

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. XVIII—первая половина XIX века. М., 1973. Т. 2.

Природа ребенка в зеркале автобиографии: Учебное пособие по педагогической антропологии / Под ред. Б.М. Бим-Бада и О.Е. Кошелевой. М., 1998.

Пушкарева Н.Л. Мать и дитя в русской семье XVIII—начала XIX в. // Социальная история. Ежегодник. 1997. М., 1998.

Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII—первой половины XIX вв. М., 1991.

Фонвизин Д.И. Недоросль. (Любое издание.)

Чекунова А.Е. Русское мемуарное наследие второй половины XVII—XVIII вв. Опыт источниковедческого анализа. М., 1995.

Summary

The book "One's Own Childhood" related to the period of ancient Russia and that of Enlightenment in Russia (XVI—XVIII centuries) is devoted to reminiscences about childhood dating back to the first stage of formation of the autobiographical genre in Russia.

In the first chapter "The childhood theme and it's reflection in the ancient Russian texts" we find an examination of the texts related to XVI—XVIII centuries. It was not admitted in ancient Russian writing to narrate about one's own self, but still we come across certain autobiographical elements with a few fragments concern childhood. Nevertheless they are of considerable interest. References about early years of life were included into special "serfdom registers" ("cabalnii kingi"), they were written down by the verbal evidence of those who were registered to serve as bondmen. The Life of Philip Irapskii (born 1492), "Chronicle of my life" by Iona Solovetski (born 1561), the Lives of old believers Avvakum (1620—1682) and Yepiphaniy (1638—1682), contain autobiographical data about birth dates, parents and first years of life. The tzar Ivan the Terrible (1532—1584) recalled at greater length about his childhood in his epistle to the prince Andrei Kurbski.

In the second chapter "One's self-portrait in childhood. The XVIII century" you'll find the analysis of childhood reminiscences dated back to the epoch of Enlightenment. It was a period when the autobiographical genre itself developed in Russia on the background of westernization of Russian culture. At that time the authors of memoirs were writing not for the printing purposes, but for themselves and their children. Serious attention in the XVIII century autobiographies starts being paid to the child's period of life. Special significance was attached to the stories about childhood in the context of better comprehension of upbringing and educational problems put forward by the epoch of Enlightenment in Russia. Following themes are underlined in the analysis of these reminiscences: infancy years, home education and upbringing, school education, relationships with parents, bodily image and character, leisure and games, children sicknesses, the brightest recollections of childhood.

The third chapter contains published fragments about childhood singled out from autobiographical texts, they are supplemented with biographical and text comments. Altogether you will find reminiscences of 21 author quoted in the book, whose childhood took place in the XVIII century.

The edition can be applied as a reading book for such courses as: "Pedagogical Anthropology", "History of Education in Russia", "History of Childhood". It is supplemented with questions and tasks for students, as well as with the list of supplementary literature.

Содержание

Введение 5
Раздел 1. Тема детства и ее отражение в древнерусских текстах о себе 7
"Я был мал и бесприютен" 7
Раздел 2. Автопортрет в детстве. Век восемнадцатый 17
"Я хочу писать мою жизнь и какие мне памятны важнейшие, случившиеся в течение оной происшествия" 17
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь" 24
"Начали меня учить грамоте..." 27
"Познал я первое основание словесности иностранной и наук математических" 29
"Я послан был в училище один..." 33
"Тут отец обратил внимание на воспитание мое" 39
"Людскость", или светское поведение 49
"Должно чрез воспитание добрые склонности в юноше посеять" 51
"Скуку заменял я в праздное время приятнейшими для меня упражнениями" 58
"Освободился я от свирепства болезни, которая множество детей пожирает" 61
"Никогда не забуду я, сколь детские мои чувства поражены были..." 62
"Вот чем хотелось бы мне завершить повествование мое..." 64
Раздел 3. Восемнадцатый век вспоминает о детстве. Тексты и комментарии 67
Куракин Б.И., кн. "Жизнь князя Бориса Куракина" 67
Турчиновский И.М. "Житие и страдание свое в память детям своим, и внукам, и всему потомству" 72
Нащокин В.А. Записки 78
Муравьев М.А. "Журнал от начала рождения моего..." 81
Долгорукая Н.Б., кн. "Своеручные записки" 85
Данилов М.В. Записки 88
Березин А.П. Сокращенная жизнь... 97
Левшин П.Г. Автобиография 101
Болотов А.Т. "Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков " 108
Державин Г.Р. "Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина" 169

Винский Г.С." Мое время" 172
Добрынин Г.И. "Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина, им самим описанная в Могилеве и Витебске" 191
Хвостов В.С. "Описание жизни тайного советника..." 205
Лабзина А.Е. "Описание жизни одной благородной женщины" 207
Тревогин И.И. "История Ивана Тревоги" 216
Долгоруков (Долгорукий) И.М., кн. "Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни" 223
Головина В.Н., гр. Мемуары 245
Тучков С.А. Воспоминания 251
Печерин Ф.П. Записки 258
Глинка С.Н. Записки 263
Рибопьер А.И., гр. Записки 307
Послесловие 313
Вопросы и задания 314
Литература 315
Summary 316

Contents

Introduction 5
Chapter 1. The childhood theme and it's reflection in the medieval Russian texts about one's own self 7
"I was a homeless kid" 7
Chapter 2. One's self-portrait in childhood. The eighteenth century 17
"I want to write about my own life and about all the most important adventures of it, kept by my memory" 17
"We've all been trying to learn something and somehow" 24
"They started to teach me reading and writing..." 27
"I've overcome the first steps of knowledge in foreign literature and in mathematics" 29
"I've been sent out of home for classes quite along..." 33
"At that very moment my father paid his attention at my upbringing" 39
Civilized manners in behavior 49
"The seeds of good inclinations must be sown into youth's soul by upbringing" 51
"In idleness instead of being bored I was busy with pleasant exercises" ... 58
"I've got rid of fierce disease, devouring so many children" 61
"I'll never forget how my childish feelings have been greatly impressed..." 62
"That is the point, by which I would like to finish my narrating..." . 64
Chapter 3. The eighteenth century reminiscences on childhood. Texts and comments 67
prince Boris Kurakin. "Vita" of prince Boris Kurakin 67
Ilia Turchinovskii. "My life and my sufferings to remember by my children, grandchildren and all descendants" 72
Vasilii Nashokin. Memoirs 78
Matvei Murav'ev. Journal, beginning from my birth 81
princess Natalia Dolgorukaia. Memoirs, written by own hand 85
Mikhail Danilov. Memoirs 88
Aleksandr Berezin. Life in short... 97
Platon Levshin. Autobiography 101
Andrei Bolotov. "Life and adventures of Andrei Bolotov, described by himself" 108
Gavrila Derzhavin. "Memoirs on well-known events and true deeds which composed the life of Gavrila Romanovich Derzhavin" 169
Grigorii Vinsky. "My time" 172

Gavriil Dobrynin. "True narrative, of life of Gavriil Dobrynin, written by himself in Mogilev and Vitebsk" 191
Vasilii Khvostov. The description of "tainyi sovetnik's" life 205
Anna Labzina. "The description of one noble woman's life" 207
Ivan Trevogin. History of Ivan Trevoga 216
prince Ivan Dolgorukov (Dolgorukii). "The tale of my birth, origin and my life" 223
countess Varvara Golovina. Memoirs 245
Sergei Tuchkov. Reminiscences 251
Fedor Pecherin. Memoirs 258
Sergei Glinka. Memoirs 263
count Aleksandr Ribop'er. Memoirs 307
Epilogue 313
Questions and tasks 314
Recommended reading 315
Summary 316

ISBN 5-204-00201-4
9 785204 002012